

ЗВЕЗДА

ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

1941

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

№ 3

172/31.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| <i>Николай Чуковский. Лето. Роман</i> | 3 |
| <i>Михаил Дудин. Карельский перешеек. Стихи</i> | 53 |
| <i>Л. Раковский. Генералиссимус Суворов.</i> | 56 |
| <i>Вадим Шефнер. Валаамские монахи. Стихотворение</i> | 116 |
| <i>И. Молчанов. И-ский Краснознаменный</i> | 117 |
| <i>Илья Авраменко. Николай Набоко Стихотворение</i> | 140 |
| <i>И. Кратт. Пограничные очерки</i> | 142 |
| <i>А. Голиков. Непомнящий. Рассказ</i> | 147 |
| — | |
| <i>Р. Мессер. Истины и предубеждения</i> | 151 |
| <i>Б. Реизов. Спорные вопросы бальзаководения</i> | 160 |

БИБЛИОГРАФИЯ

| | |
|---|-----|
| <i>Н. Васильев. Н. Григорьев и Н. Чуковский. «Зрылатая Балтика»</i> | 171 |
| <i>С. Спасский. Маргарита Алигер. «Камни и травы»</i> | 175 |
| <i>Н. Н. С. Нагорный «Седов»</i> | 176 |
| <i>В. Азаров, Алексей Лебедев. «Лирика моря»</i> | 177 |

| | |
|---|-----|
| Б. Томашевский. Мирер. «Ахмет-Ахай Озенбашский» | 178 |
| Л. Борисов. Иван Евдокимов. «Левитан» | 179 |
| С. Спасский. Александр Коваленков. «Прощание» | 180 |
| Л. Степанов. Семен Гордеев. «Лирика» | 182 |
| Л. Борисов. Николай Вагнер. «Голубые земли» | 183 |
| И. Эвентов. Алексей Толстой. «Русские сказки» | 184 |
| Б. Казанский. И. Воронин. «Новые данные о Полежаеве» | 185 |
| Б. Бухштаб. К. Случевский. «Стихотворения» | 187 |
| Проф. В. М. Жирмунский. Л. Тимофеев. «Теория стиха» | 189 |

ЛЕТО

РОМАН

Глава первая

КИСЕЛЬ

1

Весной дети стали умирать каждый день.

Каждый день из барачков на кладбище отправлялась кучка женщин, таща новый гробик.

Есть было нечего.

И вдруг Данила Звягин, заведующий продовольственным отделом фабкома, нашел, бродя по подвалам фабрики, десять тысяч пудов картофельной муки.

Звягин был еще не стар, но сильно лысел и зачесывал свои редкие светлые волосы от одного уха к другому, чтобы прикрыть плешь. У него с детства остались кривые ноги, и насмешливая ткачиха Устинья Горячова в глаза, не стесняясь, называла его «колесом». Ревматизм сводил ему пальцы рук и не давал спать по ночам. Из-за ревматизма его не взяли на фронт, и теперь, когда прошла последняя мобилизация, он остался единственным мужчиной на фабрике.

Картофельная мука лежала в ларях — белая, хрустящая. Звягин простоял перед ней несколько мгновений, потом, часто дыша, перебирая кривыми ногами, побежал вверх, в фабком. В комнате фабкома, озаренной керосиновой лампой, он застал только двоих — Устинью Горячову и Авдотью Борисову. Они выслушали его, не сказали ни слова и сразу же побежали в

подвал. Звягин бежал впереди, а женщины с трудом поспевали за ним; особенно отставала Борисиха — она была уже немолода и так похудела за последнюю зиму, что кожа висела на ней мешками. Наконец, добежали. Мука лежала в ларях.

Устинья Горячова вызвалась сбегать за главным инженером, товарищем Никифоровым, чтобы узнать у него, что это за мука. Главный инженер, товарищ Никифоров работал на фабрике еще при хозяине. Сухонький, прямой, чистенький, с подстриженной седой бородкой, с мягкими, голубоватыми усами, он пришел в подвал. Он очень удивился, что фабком не знал раньше о существовании этой муки. Он объяснил, что мука эта припасена несколько лет назад для шлихтовки. Звягин спросил его, не годится ли эта мука для еды. Но главный инженер, товарищ Никифоров засмеялся и ответил, что к муке этой примешано много посторонних веществ, в том числе купорос, и что одной ложки этой муки вполне достаточно, чтобы отправиться на тот свет.

По желтой, отвислой щеке Борисихи побежала слеза: у нее было пять человек детей, и она не знала, чем их кормить. Устинья Горячова рассмеялась, блеснув зубами. Она была круглая, темноволосая вдовушка лет тридцати пяти, очень смешливая.

— Наш колченогий, как крыса, все по подвалам рыщет, — посмеялась она над Звягиным.

Звягин и сам над собой посмеялся.

Однако ночью он встал с постели, взял с собой чистый холщевый мешочек и пошел на фабрику. Он спустился в подвал и вынес оттуда в холщевом мешке три фунта картофельной муки. Он принес муку домой и растопил плитку. Жил он не в бараках, а в маленьком деревянном домике, хозяева которого сбежали куда-то на Урал. Он был холост, ревматизм крочил ему пальцы; все товарищи его, вместе с которыми он прежде работал на фабрике, были на фронте, и каждую минуту их могли убить. И он сварил полный котелок киселя из картофельной муки, киселя без ягод, похожего на клейстер. Вначале он собирался съесть только одну ложку, но он был голоден и, съев одну ложку, решил, что теперь уж все равно, и ел до тех пор, пока не выскреб в котелке дно. Это был лучший способ проверить, есть ли в муке купорос.

Он выскреб в котелке дно и тихонько открыл дверь в соседнюю комнату, где спала его племянница Катя. Она спала на спине, раскинув по одеялу голые крупные руки, и ровно дышала. Он посмотрел на нее, потом осторожно закрыл дверь, вернулся к себе, лег на кровать и заснул, убежденный, что никогда уже больше не проснется.

Однако утром он проснулся как ни в чем не бывало. Несколько минут он лежал в постели, прислушиваясь к себе: не происходит ли в нем чего-нибудь необычного? Но ничего необычного в нем не происходило.

А через час во всех бараках, построенных фабрикантом Карзинкиным для рабочих, варили кисель. Старшая дочка Борисихи, Манька, которой было уже шестнадцать лет, но из-за худобы и малого роста никак нельзя было дать больше тринадцати, беленькая, с синими жилками на висках, просвечивающими сквозь тонкую кожу, пристально смотрела бледноглазыми глазами, как булькает, закипая, кисель в закопченной кастрюле. У ног ее стояли сестры и братья, притихшие, и жадно вдыхали горячий пар.

2

Данила Звягин приходился Кате дальней родней — троюродный брат ее покойной матери, но близких родственников у Кати не осталось, и она звала его «дядей». В Ярославле он был человек новый — всего года два назад он перебрал-

ся сюда из Иванова-Вознесенска. До рождества Катя жила вдвоем с теткой, которая тоже работала на фабрике, но на рождестве старуха-тетка умерла, не выдержав голодной зимы, и Катя перебралась к дяде Даниле. Он дал ей комнату с маленьким окошком. Она принесла туда свою кровать, сундучок, оставшийся от тетки, и разложила на подоконнике свои книжки.

Звягин спал за дверью. Он жил бобылем, и комната его была завалена всяким мужским хламом: молотками, стамесками, обломками столярного клея, обрывками драгты, кривыми ножиками, винтами, гвоздями, гайками, обрезками кожи. В свободные часы, если ревматизм не слишком мучил его руки, Звягин помаленьку столарничал и сапожничал, так, для себя. От всех его вещей исходил особый запах, которым полна была его комната и который он повсюду носил с собой, куда бы ни шел. Для Кати запах этот скоро стал привычен и приятен. Под потолком у Звягина висела клетка, в которой жил ке-нар, когда-то резвый и голосистый, а теперь растрепанный, вялый и молчаливый не то от дряхлости, не то от бескормицы.

Катя была рослая, неуклюжая девушка, большерукая, со светлыми ресницами, с плотно сжатым ртом. Звягин называл ее «девка-грузчик». Переехав к Звягину, она прежде всего взяла веник и попыталась навести порядок во всем доме. Но Звягину это не понравилось. Он всю жизнь сам за собой убирал, сам себе готовил, сам смотрел за своим хозяйством. Он вообще любил все делать сам, и всегда ему казалось, что другие сделают не так, хуже.

— Ты только стол повалишь, — сказал он, отнимая у Кати веник.

Фабрика после рождества работала два дня в неделю, потому что топливо подходило к концу, и Катя почти всегда сидела дома. Так как вести хозяйство дядя Данила ей не давал, она опять принялась за свои книжки. Был у нее потрепанный том Некрасова, были разрозненные выпуски сочинений Жаколио и Майн-Рида. Она любила книги, в которых много ездят и много стреляют. Ей нравилось читать о далеком, о не похожем на то, что было кругом. Звягин однажды посмотрел ей через плечо и увидел картинку, где изображены были какие-то китайские пираты. Кривые мечи мелькали в воздухе, длинные косы извивались, как черные змеи,

на долгополых халатах нарисованы были драконы. Звягин принял китайцев за женщин.

— Вот бы и тебя в солдаты сдать! — сказал он, насмешливо щури глаза. — Только о драках и мечтаешь. Здоровенный вышел бы солдат! Солдат Яшка, медная пружка.

Сам он любил в книгах читать о чем-нибудь близком и знакомом — о мужиках или о мастеровых. Такую книгу читал он долго, усердно и то и дело прерывал чтение, говоря: «А вот у нас тоже был поп», или «А вот у нас тоже налима в полпуда поймали», или «А вот у нас тоже булочник драл ребят, так они ему гвоздей в тесто насыпали», и подробно рассказывал Кате о поле, или о налиме, или о булочнике. В печальных местах он вздыхал, на злодеев громко сердился. Читал также газеты. После подавления прошлогоднего белогвардейского мятежа в городе он вступил в большевистскую партию и с тех пор стал читать политические брошюрки. Читал он их иначе, чем обыкновенные книги, — молча, с особо важным видом.

Зимой образовался на фабрике союз молодежи, и Катя ходила туда на собрания.

На собраниях она сидела рядом с маленькой Манькой Борисовой. Эту Маньку Катя знала давно и любила ее за то, что Манька умела слушать. Оставаясь с Манькой наедине, Катя рассказывала ей все, что приходило в голову: и о китайских пиратах, про которых читала; и о том, как жила она маленькой в деревне, давным-давно, до смерти матери; и о том, как, живя уже у тетки, мечтала поступить в гимназию, и как брала у знакомой гимназистки учебники, и как, приходя с фабрики, где уже работала ученицей, читала их, хотя знала, что в гимназию поступить не удастся, потому что нужно ходить на фабрику; и о том, как хотела украсть лодку и поплыть вниз по течению, чтобы быть совсем одной, и чтобы леса, и деревни, и поля, и города проходили мимо, и чтобы небо текло над головой. Манька сама ничего не могла рассказать, она ничего не знала и не видела кроме барачков да фабрики, и на ее покорном, бледном лице с бесцветными от малокровия губами появлялось выражение тихого восторга, когда она слушала Катю.

Но на собраниях Катя была так же молчалива, как Манька. Сначала мальчишек

в союзе молодежи было гораздо больше, чем девчонок. Но Колчак шел с Урала к Волге, и союз всю весну проводил мобилизации. После третьей мобилизации мальчишек совсем не стало, даже четырнадцатилетние — и те ушли на фронт. Остались одни девчонки, и Катя вдруг сделалась у них самой главной. Она и сама не могла бы объяснить, как это получилось. Началось с того, что на субботниках, где они пилили старые баржи, чтобы дать фабрике хотя немного топлива, она стала указывать, что кому делать, и девчонки ее слушались. А там и привыкли.

— Ты, говорят, девчонками командуешь, — сказал ей однажды дядя Данила. — Смотри, как бы сраму не вышло! Все-таки ты у меня в доме живешь.

После того как нашел он десять тысяч пудов муки и накормил всю фабрику киселем, стал он удивительно гордым.

3

Гордился он не тем, что попробовал кисель из муки, которая, по словам главного инженера, была отравлена купоросом, — об этом он как-то позабыл, да и все позабыли, — а тем, что вот никто не знал, как накормить людей, а он, Звягин, только в подвал сходил — и сразу всех накормил. Словно колдун какой-то, словно палочкой волшебной взмахнул. У него даже походка переменялась: ходить он стал медленно, вперевалку, и все щурился, загадочно и хитровато.

Фабрика с мая не работала совсем, — не было ни топлива, ни сырья, — и некуда стало ходить, и дни казались бесконечными, пустыми. Каждый день в предобеденный час Звягин брел к барачкам. Встречая детей, он подзывал их и спрашивал, что они ели утром. Дети отвечали, что ели кисель. Звягин одобрительно кивал головой и шел дальше.

Входя в барак, он с удовольствием вдыхал горячий запах киселя. Ткачихи стояли вокруг плиты, на которой готовился обед для всего барака. Кисель подымался и булькал во всех кастрюлях, пар плыл под потолок.

Звягин останавливался перед плитой.

— Мешай, мешай! — кричал он то одной ткачихе, то другой. — Как ты мешаешь? Разве так мешают?

Он хватал деревянную ложку и мешал сам. Ему предлагали поесть киселя, но он

отказывался, благодарил. И шел в другой барак, где тоже варили кисель.

Сначала казалось, что картофельной муки очень много, что ей не будет конца. На общефабричном собрании вынесли даже резолюцию уделить несколько сот пудов городским больницам и одной воинской части, проходившей через город на фронт. Горсовету тоже дали немало.

Но с каждой неделей муки становилось все меньше, и к первым жарким дням появилась тревога: что же будет, когда она кончится?

Один только Звягин не тревожился ни сколько. Попрежнему ходил он с важным и довольным видом по баракам и смотрел, как варят кисель. И если его спрашивали, что же будет, когда мука кончится, он отвечал загадочно:

— Что-нибудь выдумаем.

И ткачихи верили ему, верили, что есть у него какой-то секрет и что он еще раз спасет их детей от голода.

4

И только Катя, видевшая его дома, догадывалась, что никакого секрета у него нет.

Дома он сутулился, поглядывая в окна, молчал, постукивая молотком по башмаку, надетому на колодку, и лицо у него было растерянное, беспокойное. Кате он не говорил ничего, но кисель стал варить гораздо жиже. Он берег муку и этим выдал себя. Когда за столом Катя нечаянно слишком пристально вглядывалась в его лицо, он отворачивался.

Колчак так до Волги и не дошел — его отогнали, и он отступал к Уралу. Жара стояла над городом, и Катя каждое утро, проснувшись, шла прежде всего на Волгу купаться. В бараках ткачихи давно уже варили кисель не чаще одного раза в день, и кисель у них получался жидкий, как суп. Потом не стало и жидкого киселя. Те, у кого в деревнях была хоть какая-нибудь родня, забирали детей и разъезжались по деревням, — там все-таки было сытее. Но очень многим ехать было некуда. В бараках опять умирали дети.

От Звягина не ждали уже ничего. Ткачихи больше не заговаривали с ним о киселе. И он начал понимать, что найти нечаянно десять тысяч пудов муки можно только один раз в жизни.

И, когда понял, стал избегать людей, потому что человек он был гордый.

5

В бараки Звягин больше не ходил. Не ходил и на заседания фабкома. Встречая ткачих на улицах, он отворачивался. Дома тоже сидел мало. Уходил на всю ночь к реке с удочкой, возвращался с мелкой рыбешкой, варил уху, кормил Катю, спал до вечера, а вечером опять уходил. С Катей почти не разговаривал, а если и скажет ей что-нибудь, так только не про фабричных, будто фабрики и на свете не было. Когда Катя говорила ему о ком-нибудь из знакомых, он молчал, словно не слышал, и норовил поскорее уйти. Ходил он, пожалуй, не только на рыбную ловлю, потому что однажды, когда он вернулся, Катя почуяла, что из-под усов его пахнет самогоном.

В фабкоме, видимо, о нем забеспокоились. Как-то в сумерки, глянув в окно, Катя увидела члена фабкома Устинью Горячову, которая шла напрямик через улицу прямо к их крыльцу, уверенно шлепая по пыли босыми ногами, маленькими и толстыми. Катя даже обрадовалась, что дядя Данилы нет дома, так как Устинья была злоязычна и всегда над ним насмеялась. Открыв дверь, Катя вышла на крыльцо.

— Колесо дома? — спросила Устинья, останавливаясь перед крыльцом.

— Нету, — сказала Катя.

— Картофельную муку ищет?

— Нет, рыбу удит, — ответила Катя, словно не замечая насмешки.

— Уж не зазноба ли у него завелась? Он за последнее время больно хорош собой стал!

Устинья громко засмеялась, блеснув зубами. Зубы у нее были удивительно белые и ровные.

«А тебе что за дело? — подумала Катя со злостью. — Тоже красавица нашлась!» Она не любила, когда смеялись над тем, что дядя Данила был не очень красив.

Но Устинье, видно, было дело до этого. Потому что вдруг, без всякого смеха, тихонько и даже робко она спросила Катю:

— А может, он и впрямь к какой зазнобе ходит? Уж ты-то знаешь. А? Скажи правду!

Катя удивилась. До того удивилась, что даже попятилась и спиной открыла дверь, ведущую в сени.

— Да ты что? — сказала она. — Какая у него зазноба?

Но Устинья уже спохватилась. Глаза ее метнулись в испуге. И сразу же она захотала, очень громко, еще громче, чем раньше.

Так, хохоча, она и пошла прочь.

Но, отойдя на несколько шагов, остановилась, обернулась и сказала грубо, почти басом:

— Ты ему передай, чтобы он дурака-то не валял... чтобы он приходил... — И ушла.

Катя рассказала Звягину о приходе Устиньи. Передала, что его зовут в фабком. Звягин выслушал, но ничего не сказал. И в фабком не пошел.

6

Дома он появлялся все реже. И даже не ночевал. Катя скоро привыкла ночевать одна.

Но как-то раз среди ночи дверь ее комнаты скрипнула. Катя приоткрыла глаза. Дядя Данила, еле видный во мраке, стоял на пороге.

— Ты не спишь? — поспешно спросил он, вглядываясь в ее лицо.

Он был в сапогах и в картузе, вероятно только что вернулся. Он вошел в ее комнату, сел на кровать у ее ног и сразу заговорил.

Говорил он сбивчиво, торопливо, и она спросонья долго не могла его понять. Все хлеб да хлеб, а какой хлеб, откуда?

Где-то стоит брошенный кем-то хлеб, и жать его некому. В Самарской губернии, за Волгой, где-то возле Бузулука.

Белые недавно выбиты оттуда, богатые казаки ушли вместе с белыми, а хлеб казачий стоит, скоро уж осыпаться начнет...

Хлеб в степи рано зреет, не то что здесь, на севере. Он уж скоро осыпаться начнет, а хозяева удрали, и убирать его некому. Миллионы десятин пшеницы, всю Красную Армию можно было бы накормить, не только фабрику...

— Взять две баржи из-под дров или хоть из-под соли, — сказал дядя Данила, понизив голос до шопота, — и по течению, по течению... А то можно даже буксир достать, чтобы быстрее...

Он нагнулся над катиным лицом, и она почувствовала горячее его дыхание.

— Какие баржи? — спросила Катя.

Но тут она вдруг сразу все поняла. Дядя

Данила задумал отправить ткачих на баржах в Самарскую губернию, убраться с ними брошенный хлеб, часть сдать для фронта, а часть привезти сюда.

— Дядя Данила, это ты сам выдумал? — спросила она.

Отправить всю фабрику за хлебом на другой конец страны! Огромность и странность такого замысла удивили ее.

Дядя Данила ничего ей не ответил, быть может даже не понял, о чем она спросила. Он уловил однако, что в голосе ее звучит уважение к нему, и не мог усидеть и вскочил.

Он молча бегал в темноте вперед и назад по крохотному пространству между окном и дверью.

Катя тоже молчала, ей не хотелось ему мешать.

Внезапно он остановился, словно в испуге, и снова взглянул на нее.

— Поверят мне? — спросил он робко.

Тревога была в его голосе.

Катя подумала.

Он ждал, пристально смотря ей в лицо.

— Тебе поверят, — сказала она.

Он двинулся к двери.

— Ну, спи, спи! — проговорил он и вышел, осторожно ступая.

Он прикрыл за собой дверь. Она слышала, как он похаживал и покашливал у себя в комнате. Ложиться он, видимо, не собирался.

Она тоже не могла заснуть и лежала, ожидая рассвета. Когда она закрывала глаза, то видела волжскую воду, рябую от ветра.

Глава вторая

СТУДЕНТ

7

Неизвестно, поверили Звягину или нет. Но всем ясно было, что хлеба больше достать негде и что, сидя здесь, дома, ничего кроме смерти не дождешься. И сразу же, едва Звягин объявил, что где-то, на другом конце страны, стоит в поле брошенная пшеница, женщины в бараках стали собирать, чинить, перетряхивать старые мешки и готовиться к отъезду.

Данила Звягин уже больше не сторонился людей. Напротив, он дни напролет проводил с людьми. Минуло то время, когда он отворачивался, встретив на улице какую-нибудь знакомую ткачиху. Теперь

он каждый день заседал в фабкоме, теперь он не вылезал из барачков, созывал митинги, собрания, произносил речи. Голос у него стал резким, звонким, говорил он отрывисто и повелительно. И все ему повиновались.

Уверенный, даже надменный, он побывал во всех учреждениях и организациях города и все взбаламутил. Сведения о пшенице у него были самые достоверные — их сообщил ему один крупный самарский работник, только что приехавший из Самары. Во всех учреждениях Звягин сердился, что ему не помогают, но он был неправ — всюду шли ему навстречу. В партийных организациях знали о походах за хлебом, которые совершали продовольственные отряды петроградских и московских рабочих. Правда, отряды эти, насколько было известно, только заготавливали хлеб, а не убирали его, и ни разу не было такого случая, чтобы в отряд записалась вся фабрика целиком. Однако это никого не смутило, и с помощью городского комитета партии Звягин добыл две еще прочные баржи и вполне работоспособный буксир и даже дров для буксира. Продовольствие на дорогу обещал ему губпрофсовет; впрочем, обещание это было, как выразились в губпрофсовете, «только принципиальное», так как сам губпрофсовет не вполне ясно представлял себе, где достать это продовольствие.

Само собой разумеется, что Звягин сразу же попытался установить непосредственную связь с самарскими организациями. Это оказалось труднее всего, потому что почта не работала, а поезда ходили едва-едва. Однако Звягин связался с Самарой по телеграфу и, несмотря на свойственную телеграммам краткость, добился полнейшего успеха. В Самаре, видимо, и в самом деле не знали, как убрать брошенный в степи хлеб, и были этим чрезвычайно встревожены. Самарские организации каждый день присылали Звягину телеграммы, торопя его, а того самарца, от которого Звягин узнал о брошенном хлебе, назначили своим уполномоченным, приказав ему всячески содействовать Звягину. Каждую новую телеграмму из Самары Звягин показывал вссм. По вечерам перед сном он раскладывал все самарские телеграммы у себя на столе среди гвоздей и гаек. Разложив, он глядел на них хмуро и озабоченно. Но Катя видела, что глаза у него счастливые.

В эти дни перед отъездом Катя больше всего беспокоилась о том, поедет ли с ними Маня Борисова. Мать Мани собралась ехать, но не знала, куда деть своих малышей, и получалось, что Маня должна остаться дома смотреть за детьми. Впрочем, дело это было еще не вполне решенное, и Катя ждала решения со дня на день.

С давних пор, всякий раз, когда Катю что-нибудь волновало, когда ей хотелось поговорить, посмеяться, поплакать, она накидывала платок на голову и бежала к барачку, в котором жила Манька Борисова. В эти дни перед отъездом бегала она туда особенно часто. Прибежит и остановится на тропинке как раз против окна Борисовых — к самому окну подойти невозможно, потому что под окном крапива. В открытом окне то появляются, то исчезают белые головы манькиных сестер и братьев. Слышно, как покрикивает на Маньку старая Борисиха:

— Шевелись! Заснула! Ну, чего рот-то разинула?

А Манька что-то моет, что-то чистит, что-то стирает, что-то шьет и беззвучно, одними губами, говорит Кате в окошко:

— Сейчас!

Борисиха бросает через окно на Катю угрюмые взоры, но скоро не выдерживает и сердито кричит Маньке:

— Ну, ступай, ступай!

И Манька, накинув платок, сразу выбегает на двор, боясь, как бы мать не раздумала и не задержала ее.

И бегут, бегут они мимо барачков, домишек, заборов, мимо помойных ям и заброшенных огородов, по пустырям и по заросшим лопухом переулкам к длинному, низкому, пустому сараю. Этот сарай они называют «наш сарай». Прежде, при хозяине, сарай этот принадлежал управляющему фабрикой, и хранилось в нем, по слухам, много добра. Но ничего в нем теперь не осталось, кроме никому не нужногохлама — поломанных железных кроватей, каких-то столов, длинных столярных верстаков, водопроводных труб. Две ласточки прилепили гнездо к потолку; то и дело они ныряют в квадратное окошко с осколками стекол по краям, за которым виден клочок синего неба. В сарай этот никто никогда не заглядывает, он теперь ничей,

Вот почему Катя с Маней могут считать своим.

Войдя в сарай, полный таинственного мрака, Катя и Маня осторожно прикрывают за собой высокую, тяжелую дверь с удовольствием вдыхают в себя знакомый запах пыли, прели, кожи, рассыпавшихся дерева. Они садятся рядком на верстак, как раз против квадратного окошка, и только тогда, чувствуя себя отгороженными от всего мира, начинают разговор.

— Ну, как? — спросила Катя.

Завтра баржи, которыми командует Данила Звягин, тронутся в путь. Последний раз Катя и Маня вместе сидят на верстаке в своем сарае.

— Еду, — сказала Манька.

Катя схватила ее за плечи, на мгновение прижала к себе и оттолкнула.

Только сегодня, наконец, выяснилось, что манькиных братьев можно поместить до осени в детский дом, где «каждый день суп дают», а сестер возьмет один родственник, которому пообещали привезти на всю зиму хлеба. Манька едет! Они едут вместе! Они долго молчали, громко дыша в тишине. Потом Катя сказала:

— Говорят, под Самарой Волга такой ширины, что другого берега не видно. Как ты думаешь, правда это или врут?

Спрашивая Маньку, Катя никогда не ожидала ответа. Манька только слушала, а говорила одна Катя. Так уж было у них заведено. Катя сама отвечала на свои вопросы.

— А я думаю, что врут, — продолжала Катя. — Не может река быть такой ширины, что другого берега не видно. Хоть чуточку, а видно. На реке всегда другой берег виден. Вот на море ничего не видно кроме воды. Жаль, что мы ни до какого моря не доедем. Хотела бы ты, Маня, повидать море? Я хотела бы. День плывешь, два плывешь, три плывешь, — и только волны кругом, и ветер свищет. Доплывешь до какого-нибудь острова, погуляешь там, посмотришь — и дальше... Жаль, Маня, что женщин не берут в матросы! Как ты думаешь, будут женщины брать в моряки? Я вот думаю, что когда белых прогонят, так будут. Я бы справилась. Я бы с самой тяжелой мужской работой справилась, честное слово!

Тут ей стало немного совестно, что она расхвасталась перед Манькой своей силой.

— И ты бы справилась, — утешила она ее.

Но, видя, что Манька явно не справилась бы, прибавила:

— Если бы, конечно, тебя как следует покормить.

На дворе уже начались сумерки, и в сарае быстро темнело. Но Катя ясно различала белый платок на голове у Маньки и блеск ее глаз, внимательных, широко раскрытых.

— Ничего, что до моря мы не доедем, — сказала Катя. — Мы зато, быть может, войну увидим. От тех мест война совсем близко. Хочешь повидать войну?

Маня, как всегда, ничего не ответила, но глаза ее нерешительно мигнули. Она не знала наверно, хочет ли повидать войну. Она уже видела один раз войну — здесь, в прошлом году, во время подавления белогвардейского мятежа, разрушившего весь город. С нее довольно. Катя заметила ее нерешительность и оттого стала еще жарче уверять, что хочет непременно повидать войну снова.

— Вот погоди, — сказала она, — придется нам там и верхом скакать. Ты скакала когда-нибудь верхом? А я, когда жила в деревне, скакала. Я как мальчишка скакала — без седла, без узды. Влезу на спину, держусь за холку и скачу. Я тогда совсем другая была: маленькая, тоненькая, легонькая, — прибавила она застенчиво, боясь, что Манька ей не поверит. — Теперь не знаю, как и влезу бы. Но научусь, я скоро научусь, вот увидишь, я хоть тяжелая, зато сильная. Ка-ак возьму шашку в руку!..

Она вскочила, завертелась, замахала рукой. Но вдруг опомнилась и засмеялась.

— Дядя Данила говорит, что мне вредно про войну читать, — сказала она. — А что тут вредного? В помещичьих усадьбах, рассказывают, бывала такая комната, все стены которой заставлены книгами. Одна стена — книги, другая — книги, третья — книги, четвертая — книги, клочка обоев не видно. Ты видала, Маня, помещичью усадьбу? Я тоже не видала. Помещику делать было нечего, вот он и читал. Если бы я попала в помещичью усадьбу, я бы прежде всего в ту комнату, где книги. И читала бы, уж я читала бы!

— Только про войну и читала бы? — спросила вдруг Маня.

— Нет, не только про войну, — ответила Катя. — И про море.

— А еще про что?
— Ну, про все, — сказала Катя.
— А про любовь читала бы? — спросила Маня.
— И про любовь читала бы, — сказала Катя.
— А я бы, если бы мне столько книг, только про любовь и читала бы, — сказала Маня медленно. — Почему ты со мной никогда про любовь не говоришь? Про все говоришь, а про любовь не говоришь?
— А что говорить про то, чего нет? — сказала Катя угрюмо.
— А будет?
— Не знаю.

Маня сидела на верстаке, Катя стояла перед нею, опустив лицо. Они едва видели друг дружку.

— Как тебе кажется, полюбишь ты кого-нибудь? — спросила Маня и тронула Катю за руку.

— Не знаю.

— А тебя кто-нибудь полюбит?

— Нет, пожалуй.

— А ты об этом думала?

— Думала.

— И я думала, — сказала Маня. — И вот что я тебе скажу: тебя полюбят, а меня нет.

— Вот вздор! — сказала Катя.

— Меня не за что любить.

— Врешь! Врешь! — закричала Катя. — Тебя только и любить, а меня, корявую, никто не полюбит.

— Нет, — сказала Маня, — тебя непременно кто-нибудь полюбит. Я думала об этом. Я очень хочу, чтобы тебя полюбил кто-нибудь и чтобы ты его полюбила. А ты хочешь? Хочешь?

— Хочу, — сказала Катя.

Маня взяла ее за руку и усадила рядом с собой на верстак. Они молчали. Ласточки, то влетая, то вылетая, на мгновение возникали в светлом пятне окна.

9

Поздно вечером накануне отъезда к Даниле Звягину кто-то приехал из Москвы. Катя уже спала и сквозь сон слышала за дверью незнакомый мужской голос, неуверенно рассказывающий что-то о Москве и о железной дороге, и недовольный, но сдержанный голос дяди Данилы.

На другой день Катя проснулась, как всегда, в шестом часу утра и поспешно оделась, чтобы пойти на Волгу купаться.

Сегодня в последний раз будет она купаться у берегов родного своего города. Проходя потихоньку через комнату Данилы, она увидела, что Данила спит на полу, а на его кровати, закутавшись с головой в одеяло, лежит чужой человек. В кухне на столе она заметила синюю студенческую фуражку. Студент! Никогда еще Катя не разговаривала ни с одним студентом.

Она вышла на улицу.

В этот ранний час город был мертв и беззвучен. Только издали, с Волги, доносилось частое, дробное постукивание — там бабы стирали белье.

Церкви подымали к ясному летнему небу разрушенные купола, от которых остались только черные железные прутья измятых каркасов, похожих на огромные вороньи гнезда; дома, разбитые артиллерией год назад, при подавлении белогвардейского мятежа, со снесенными крышами, с провалившимися полами, с потрескавшимися стенами, глядели пустыми впадинами окон на заваленные щебнем, перерытые окопами и воронками улицы. Каждый камень, каждый кирпич, каждый осколок стекла лежал там, где упал год назад, во время мятежа. Все было мертво кругом; о жизни напоминали только желтые бабочки, бесшумно перелетавшие с одного цветка куриной слепоты на другой, да эти мелкие, звонкие постукивания, доносившиеся с Волги.

И через мертвый, ярко озаренный солнцем город, крупно шагая босыми ногами по остывшей за ночь пыли, думая о синей студенческой фуражке, Катя пошла навстречу стуку.

Она прошла несколько шагов и вдруг на мостовой, саженьях в тридцати от себя, увидела женщину, лежавшую в пыли.

Сначала Кате показалось, что это груда старых тряпок. Но, пройдя еще несколько шагов, она в этой груде тряпок разглядела согнутую голую руку, на которой лежала голова, повязанная голубым платком.

Женщина валялась посреди улицы, озаренная ясным утренним солнцем.

Мертва?

Катя побежала, но не успела добежать, как женщина вдруг шевельнулась, поджала под себя босые ноги, приподнялась и села. Тонкие белые руки медленно поплыли над головой — она зевала, потягиваясь. Неторопливо и равнодушно она посмотрела по сторонам, и Катя увидела ее лицо, незнакомое и совсем молодое. Пятна пыли

мещали вокруг рта и вокруг глаз. С полным безразличием скользнула она взглядом по Кате. Потом встала на ноги, повернулась к Кате спиной и неторопливо пошла перед ней навстречу стучу, доносившемуся с Волги.

Катя смотрела на ее узкие плечи и старалась отгадать, кто она такая. Она нездешняя: если бы она была здешняя, Катя хотя раз видела бы ее. Из деревни? Нет, не из деревни: грязное и порванное ее платье шито не по-деревенски. Сколько ей лет? Сзади она казалась совсем девочкой.

Она шла ленивой походкой, не оборачиваясь, слегка наклонив голову и глядя себе под ноги. В этой походке ее было то же равнодушие ко всему на свете, что и во взгляде. Но внезапно она остановилась, стремительно нагнулась, коснулась пальцами мостовой и сразу выпрямилась, что-то зажав в руке.

Она поднесла пальцы ко рту, сдула пыль, и Катя, уже почти догнавшая ее, увидела, сеledочную голову с черными дырками глаз. Женщина сунула сеledочную голову в рот и стала жевать ее, поплеывая. Катя так ясно представила себе горький, гниловатый вкус этой сеledочной головы, что тоже сплонула. Кате очень хотелось есть, ей всегда хотелось есть, и все-таки Катя не подняла бы эту сеledочную голову. «Она гораздо голоднее меня», — подумала Катя.

Чем ближе они подходили к набережной, тем громче становился стук. Наконец, Волга открылась перед ними, просторная, голубоватая, подернутая прозрачным туманом, оставшимся с ночи. Внизу, под самым откосом, возле берега, среди разбитых и полузатопленных барж, стоял плот. Там, на плоту, бабы полоскали белье. Их было не меньше двадцати; отсюда, с откоса, они казались крошечными; разноцветные платки, юбки и кофты ярко пестрели. Бабы свертывали мокрое белье в длинные жгуты и с размаху били жгутами по воде. И каждый удар, суховатый и звонкий как выстрел, далеко разносился в неподвижном воздухе.

Женщина, жевавшая сеledочную голову, по длинной, крутой деревянной лестнице, между поломанных ступенек которой росла трава, двинулась вниз с откоса, к плоту. Катя пошла за ней, и, по мере того как они спускались, все слышнее становились голоса баб, полоскавших белье. Там, на плоту, не было ни одной работ-

ницы с фабрики, сплошь городские мещанки, и Катя, сойдя вниз, свернула в сторону, к баржам, возле которых купалась каждое утро.

Разбитые снарядами, полузатонувшие баржи скрывали ее от набережной; здесь она могла спокойно раздеться. Отсюда был виден только плот да берег возле самого плота. На берегу у воды стояла женщина, съевшая сеledочную голову. Она спокойно смотрела вдаль, не обращая никакого внимания на баб, которые, смеясь и переругиваясь, полоскали белье рядом с ней. Катя, глядя на нее, опять стала гадать: сколько ей лет? Что-то детское было в ее лице и в то же время что-то очень недетское. Несвежая кожа на впалых щеках.

Женщина шагнула вперед, в воду. Нагнулась, зачерпнула ладонью воды и стала пить. Рука у нее была маленькая, совсем не такая, как у Кати. Пила она долго и много. Потом выпрямилась, сняла через голову платье и кинула его на берег. Под платьем у нее не оказалось ничего, кроме почерневшего медного крестика, болтавшегося между грудей. Она стояла голая, по щиколотку в воде, с полным безразличием относясь к тому, что сверху, с набережной, ее могут увидеть. На тощих ее боках выступали ребра. Легким движением она нагнулась над водой и стала мыть себе лицо, шею, плечи. Глядя на нее, Катя чувствовала себя громоздкой и неуклюжей.

Катя осторожно разделась и прыгнула в воду. Вода сомкнулась над ее головой. Она долго опускалась, с наслаждением ощущая, как течением мягко несет ее и кружит. Вот, наконец, ее ноги легонько коснулись песка, и она начала подыматься. Она увидела небо сквозь воду и вынырнула на поверхность. Голоса баб на плоту звучали уже издалека. Впереди перед собой видела она песчаную косу Нижнего острова и поплыла к ней через Волгу.

Она плыла, а сзади, над откосом, малопомалу появлялись разбитые купола церквей, трубы домов, вершины деревьев. Весь разрушенный город постепенно возникал за ее спиной. Но она не оглядывалась, она плыла все вперед и вперед. Она наполняла легкие воздухом и погружала лицо в воду, чтобы плыть быстрее. Голоса баб смолкли совсем. Ничего не было слышно кроме плеска воды. И она забыла о странной женщине, съевшей сеledочную голову.

Она забыла о женщине и вспомнила о студенте, прнехавшем из Москвы. Еще

несколько дней назад они получили телеграмму, что им посылают человека, который будет руководить их продотрядом. Но вот уж никак Катя не думала, что придет студент. До сих пор она видела студентов только издали и никогда еще ни с одним не разговаривала.

Она доплыла почти до середины реки и почувствовала, что течение сильно сносит ее вниз. Тогда она свернула и поплыла против течения, глядя на далекие арки железнодорожного моста. Мало-помалу она начала слегка задыхаться и уставать. Она повернула к берегу, проплыла немного и позволила течению нести себя. Плата она не видела, он был заслонен от нее большой черной баржой, полузатопленной и глубоко ушедшей днищем в речной ил. Но она каждый день купалась здесь и хорошо знала, что течение пронесет ее мимо баржи и вынесет к самому плоту.

Купола скрывались за откосом, который все рос и рос. Возле баржи ее начало крутить, здесь течение было сильнее всего. Она кружилась, не сопротивлялась, и оба берега, близкий и дальний, вертелись вокруг нее. Еще поворот, еще — и она оказалась как раз против плата.

Грохот голосов оглушил ее, вырвавшуюся из речной тишины. Все бабы, сбившись в кучу, стояли посреди плата, держа в жилистых голых руках мокрые жгуты белья. Над ними возвышалась голова Варвары Петровны Козиной, рослой и прямой как жердь старухи с маленьким пучком седоватых волос на затылке, еще полтора года назад торговавшей оладьями у фабричных ворот. Варвара Петровна держала за руку ту самую женщину, которая съела селедочную голову, а бабы кричали вокруг.

Женщина эта уже успела одеться и, плотно сжав губы, стояла среди баб с прежним видом безучастия ко всему на свете, как будто все здесь происходившее несколько ее не касалось. Она не изменила выражения лица даже тогда, когда ее с такой силой толкнули сзади, что она чуть не упала. Ей удалось выпрямиться и удержаться на ногах, но затем Варвара Петровна дернула ее за руку, и она рухнула лицом вниз на доски плата. Подоткнутые юбки и босые ноги с красными икрами заслонили ее от Кати. Бабы умолкли и несколько мгновений топтались на месте, как бы не зная, что делать дальше. Потом один мокрый жгут под-

нялся в воздух и опустился с глухим стуком; за ним другой, третий, четвертый. В полном молчании они били жгутами лежащую на плоту женщину и только пытели от напряжения, протискиваясь вперед и толкая друг дружку.

Женщина не вскрикнула ни разу.

Когда Катя, торопливо одевшись, слезла с баржи на берег, бабы уже снова стирали белье. Избитая лежала на берегу. Ее сволокли с плата за руки, и она так и осталась лежать, уткнувшись лицом в песок и подняв голые руки над головой.

Катя опустилась возле нее на колени и дотронулась до ее плеча. Женщина шевельнулась, приподнялась на локтях и взглянула Кате в глаза. Лоб у нее был рассечен, и кровь текла между носом и глазом к синеватым, стиснутым губам. Потом губы разжались и произнесли Кате в лицо длинное, замысловатое ругательство.

— Встань! — сказала Катя. — Ты можешь встать?

Чья-то тень упала на Катю, и, приподняв голову, Катя увидела над собой желтое, постное лицо Варвары Петровны.

— Срам тебе, девушка, с ней разговаривать, — сказала Варвара Петровна. — Она гулевая, я ее еще вчера приметила. Приехала мужчин ловить да белье воровать. Оставь ее! Срам!

— Встань! — повторила Катя, отвернувшись от Варвары Петровны. — Ты можешь идти? Пойдем со мной!

— Самого Данилы Звягина племянница, а с такой дрянью возится! — сказала Варвара Петровна, плюнула в пыль и пошла на плот.

Катя глянула ей вслед с удивлением: с каких это пор бывшие торговки стали такого высокого мнения о Даниле Звягине?

Побитая вдруг поднялась на ноги и, повернувшись к Кате спиной, неторопливо пошла прочь, к лестнице.

10

Кате удалось догнать ее только наверху, на набережной. Они пошли рядом.

Солнце уже начинало припекать. Редкие прохожие бродили возле разрушенных домов, ребяташки играли на пустырях. На лбу у странной женщины запеклась бурой коркой кровь, ее тело под платьем, вероятно, было в синяках, однако с лица ее

не сходило все то же выражение спокойствия и равнодушия, словно это вовсе не все только что били жгутами.

— Как тебя звать? — спросила Катя.

— Таисия, — сказала женщина.

Голос у нее был сиповатый, почти мужской. «Хорошо, что хоть ответила», — подумала Катя.

И опять спросила:

— Тася?

Женщина молча кивнула.

— Дай хлеба! — сказала она.

— Нету, — ответила Катя.

И решила: «Ну, теперь, верно, ни слова больше не скажет». Однако ошиблась.

— Небось, тоже думаешь, что я хотела бельё воровать? — спросила вдруг Тася, впервые взглянув на нее краешком глаза.

— Нет, не думаю, — ответила Катя.

Она действительно этого не думала.

— Они думают, — сказала Тася. — А мне их бельё не надо. Вот еще! Мне ничего не надо.

— И хлеба не надо? — спросила Катя.

— Хлеба, вот, и у тебя нету. И не будет, — ответила Тася вызывающе и несколько даже высокомерно. — А у меня будет. Вот еще! Хлеб-то у меня всегда будет!

Они замолчали и пошли дальше, не глядя друг на дружку. Потом Катя спросила:

— Ты так всю ночь и спала на улице?

— Никто на ночь не взял, — сказала Тася просто. — А что? Тепло. Вот еще!

— А эту ночь куда спать пойдешь?

— Найду! Кто-нибудь пригреет. Одна спать не буду.

«Что она, дразнит меня или всерьез? — подумала Катя. — Нет, лицо спокойное. Кажется, всерьез». И спросила:

— Что ж ты есть будешь?

— Угостят, — ответила Тася.

— А до ночи?

— А мы тут еще с одной записались ехать в Самарскую губернию на хлебоуборку. Велено прийти в три часа к пристани. Там выдадут паек на дорогу.

— Я тоже записалась, — сказала Катя.

— Ну? — недоверчиво спросила Тася и взглянула на Катю краешком глаза.

— Поедем, значит, вместе, — сказала Катя.

— Вот еще! Очень мне надо ехать!

— Почему? Будешь убирать, привезешь себе хлеба на всю зиму.

— Вот еще! На других спину ломать.

— Не на других, на себя.

— Знаю я!

— Ничего ты не знаешь.

Тася презрительно промолчала.

Катя рассердилась.

— Как же ты придешь на пристань паек получать, если не поедешь? — спросила она.

— А так, — ответила Тася.

— А я скажу, чтоб тебе не давали.

— Ну и скажи! — со злым равнодушием проговорила Тася. — Мне и не надо. Они вышли на перекресток. Тася свернула в сторону и пошла прочь.

Катя долго смотрела ей вслед. Нет, Тася не обернулась.

И Катя пошла одна.

Но не дошла она и до следующего угла, как вдруг услышала сзади торопливые шаги.

Она обернулась.

Тася бежала ей вдогонку.

— Послушай... — крикнула Тася еще издали, но запыхалась от быстрого бега и не могла ничего больше сказать.

Катя пошла ей навстречу.

— Послушай, — глухо и торопливо проговорила Тася, когда они встретились, — ты вправду не думаешь, что я хотела бельё воровать?

На ее желтоватых щеках от бега и волнения появились розовые пятна. С жадностью и тревогой смотрела она Катю в лицо.

— Ясно, не думаю, — сказала Катя.

Они молчали, не находя слов, охваченные внезапным чувством близости.

— Пойдем со мной! — сказала Катя. —

Пойдем к дяде Даниле. У нас уха есть.

Но розовые пятна на щеках у Таси уже потухли.

— Не надо мне, — сказала она.

И ушла.

— А, девка-грузчик пришла! — сказал дядя Данила, когда Катя вошла в кухню.

Катя смутилась. Она привыкла к шуткам дяди Данилы, но сейчас, она знала, в доме был осторожный человек. Однако дядя Данила не заметил ее смущения или не хотел заметить. Сегодня он был как-то преувеличенно и неестественно оживлен. Весело прищурясь, он прибавил еще громче прежнего:

— Стол не повали!

В кухне все еще лежала синяя студенческая фуражка с побуревшим верхом и поломавшим козырьком. Катя взглянула на фуражку, и дядя Данила сразу подметил этот взгляд.

— Начальничек приехал, — сказал он, понизив голос, и подмигнул. — Пошел на двор умываться.

И Катя поняла, что приезжий не понравился дяде Даниле.

Катя вошла в дядину комнату и села за стол под канареечной клеткой. Кенарь сдох неделю назад, но дядя Даниле все почему-то жаль было снять клетку, и она висела пустая. Гайки и гвозди лежали на столе, и Катя перебирала их пальцами. Посреди стола увидела она сероватую бумажонку, на которой пишущей машинкой было настукано: «Мандат». Она слегка пододвинула бумажонку к себе. «Дано сие Иванову Виктору в том, — прочитала она, — что он направляется Московским Коммунистическим Союзом Молодежи в г. Ярославль в качестве особого комиссара для организации продовольственных отрядов из рабочих». Далее следовал призыв ко всем советским учреждениям оказывать Иванову Виктору всемерное содействие.

Никогда еще Катя не видела ни одного члена союза молодежи, который был бы студентом. Студент! Образованный человек, с которым обо всем можно поговорить. Но дядя Данила, конечно, этого не понимает. Дядя Данила любит быть первым. Он сам все придумал, сам все устроил, а тут вдруг присылают какого-то студента из Москвы. Дядя Данила, быть может, отчасти прав, но...

В кухне стукнула дверь, загремели мужские шаги — не шаги дяди Данилы. И Катя услышала, как дядя Данила спросил неестественным, слащавым голосом:

— А ваш папаша кем будет?

«Проверяет его, — подумала Катя. — Вы ему говорит».

— Зубной техник, — услышала она ответ.

— Что же, он зубы вставляет? — спросил дядя Данила.

— Не вставляет, а делает. Вставляет зубной врач, — объяснил приезжий.

Говор у него был московский, мягкий, тягучий, не тот жесткий, окающий говор, к которому привыкла Катя.

— Зайдите в комнату, я сейчас уху принесу, — сказал дядя Данила.

И Катя увидела Иванова Виктора.

Он был довольно высок ростом, очертанок, слегка сутуловат. Лицо его она глядела не сразу, потому что потупилась на все же заметила светлые глаза и темные ресницы. Одет он был в военную настерку и в черные штатские брюки сильно потрепанные внизу. На поясе ест как-то нелепо болтаясь, висел в кобуре наган.

Он никого не ожидал встретить в комнате. Увидев Катю, он растерянно оставался в дверях, слегка покачиваясь. Потом подошел к столу, взял стул, повертел его и отставил. Потом кивнул Кате и шаркнул ногой.

— Садитесь! — сказала Катя.

Он сел.

Они молча сидели за столом друг против друга, перебирая пальцами гайки и гвозди. «Нужно же сказать что-нибудь», — подумала Катя.

— Вы ночью приехали? — спросила она, хотя отлично знала, что он приехал ночью.

— Ночью.

Они замолчали. «О чем бы его еще спросить?» — думала Катя.

— Вы в Ярославле первый раз?

Она тоже говорила ему «вы», как и дядя Данила. Но иначе не получалось.

— Первый. Я из Москвы никуда еще не ездил.

— Я тоже, — сказала Катя. — Я, то есть, из Ярославля, никуда не ездила, — поправилась она.

Теперь она рассмотрела его лицо. Ему было никак не больше девятнадцати; пожалуй, и девятнадцати не было. Темный редкий пух на круглом подбородке, очень мягкий. Крупный нос, формой похожий на башмак. Очень добрые глаза.

Она изобретала, о чем бы еще заговорить, но тут, к счастью, вошел дядя Данила и поставил на стол кастрюлю с ухой. Он сам удит для этой ухи рыбу. Но рыбка попадалась все мелкая, а так как дяде Даниле хотелось, чтобы ухи получилось побольше, и так как заправить уху было нечем, он лил в нее воду не жалея.

За ухой он рассказал Виктору Иванову о подготовке к путешествию. Сделано, конечно, не так уж много, другой на его месте, может быть, сделал бы больше, но все же кое-что сделано. На фабрике записались шестьсот рабочих. Да с мелких фабрик набралось человек полтора. Еще биржа труда хочет подбросить каких-то безработных женщин, но это уже хуже:

...т их знает, что они за народ. Губпроф-...т обещал снабдить на всю дорогу хле-... из расчета осьмушка в день на чело-...а. Все разместятся на двух баржах. Бук-... исправный. Так до Самары вниз по Волге и доберемся. А там видно будет, что делать дальше.

— Это уж вам решать, — слащаво и...ство сказал дядя Данила Виктору Ива-...ову. — Вас из Москвы прислали, вам и...решать.

Виктор Иванов уронил ложку на стол. Сквозь темный редкий пух на щеках стало видно, как он краснеет. Он робко пробормотал дяде Даниле в ответ, что у него нет никакого опыта, что он хотел бы только помочь, и покраснел еще гуще. И сразу же в прищуренных глазах дяди Данилы появился едва заметный, но Кате хорошо знакомый, насмешливый, брезгливый огонек.

Впрочем, оказалось, что о будущем дядя Данила тоже уже позаботился. Он показал телеграммы, полученные из Самары. Как видите, там ярославских рабочих ждут с нетерпением. Самарцы даже прислали сюда, в Ярославль, своего представителя, товарища Козина, чтобы обо всем договориться заранее. Этот Козин выезжает сегодня особым воинским поездом, случайно подвернувшимся, обратно в Самару. Он приедет туда, по крайней мере, на сутки раньше продотряда и все подготовит.

— Он нашей Козиной не родственник? — спросила Катя.

— Какой Козиной? Варвары Петровны? — переспросил дядя Данила. — У Варвары Петровны родственников нет, — сказал он с уверенностью. — И разве это такой Козин? Это фронтовой Козин. При его имени колчаковским генералам плохо делается. Он прошлым летом в Симбирске полковника Муравьева брал. Он чехов из Самары выгонял. Вот какой это Козин!

Дядя Данила из-за своего ревматизма никогда на фронтах не бывал и потому благоговел перед фронтовыми людьми.

Катя умолкла и больше до самого конца не произнесла ни слова. Она ела уху, стараясь поменьше смотреть на Виктора Иванова, и все-таки смотрела на него все время. Виктор Иванов тоже молчал, слушал дядю Данилу и ел очень много. Дядя Данила кормил его с преувеличенным усердием: все время подливал ему ухи в тарелку. Виктор Иванов ел много, но, видимо, даже не замечал того, что ест. Он сидел на краешке стула и мучился. Кате

было ясно, что он мучится. Однако всякий раз, когда дядя Данила улыбался, он улыбался тоже. «Ведь он видит, что дядя Данила его ни в копейку не ставит, — думала Катя, — зачем же он улыбается? Зачем он ему не покажет?»

Катя обрадовалась, когда дядя Данила сказал наконец, что пора идти. Она первая вскочила со стула и нечаянно качнула стол. Гайки, гвозди посыпались на пол, а кастрюля с остатками ухи, перевернувшись, упала Виктору Иванову на брюки. Катя вскрикнула, а Виктор Иванов, вскочив, отпрянул от стола.

— Это она всегда так! — сказал дядя Данила.

Он опустил на колени и принялся тереть ноги Виктора Иванова тряпкой.

— Ничего... я сам... — бормотал Виктор Иванов, беспомощно стараясь вырвать тряпку из руки дяди Данилы.

А Катя стояла, расставив большие руки, и чувствовала себя несчастной.

Глава третья

ОТЪЕЗД

12

Тася, расставшись с Катей, еще долго бродила по разрушенным улицам города. Она сворачивала на углах, пересекала пустыри, кружила, много раз возвращаясь на одни и те же места. Мальчишки среди обвалившихся, закопченных кирпичных труб стреляли из рогаток в редких ворон; ей попадались навстречу женщины в рваных платках и мужчины в заношенных солдатских папахах, из которых торчали ключья грязной ваты; но она ни разу не повернула головы и безучастно проходила мимо, равнодушная к этому городу, который был для нее чужим, как и все на свете.

До приезда в Ярославль Тася года полтора прожила в Перми, в заведении мадам Бурденко. Когда, несколько недель назад, красные подошли к Перми, мадам Бурденко решила перевезти свое заведение в Екатеринбург. Но поезда на Екатеринбург были забиты, достать билеты для всего заведения оказалось невозможным, и мадам Бурденко бросила часть своих девиц в Перми. Тася была в их числе, а вместе с ней еще одна девица по прозвищу Шиша, выдававшая себя за цыганку. Тася и Шиша вдвоем слонялись по улицам Перми в первые дни после прихода крас-

ных. Есть было нечего, и они приставали к мужчинам; но им не повезло — во время облавы их захватили. Двое суток они просидали взаперти вместе с не успевшими ударить спекулянтами, а потом их выпустили. Выпуская их на волю, им прочитали нечто вроде наставления о том, как должна жить женщина в свободной стране. Но на воле есть попрежнему было нечего; Пермь голодала, вещами не дорожил никто, один только хлеб имел цену. И они обменяли у заезжей крестьянки все свое белье на несколько кусков хлеба, которые съели сразу же.

Наконец, им удалось втиснуться в теплушку и покинуть Пермь. Они не знали, куда едут, но им было все равно, куда бы ни ехать. Когда поезд доползал до какой-нибудь большой станции, они вылезали из теплушки и шли бродить. В некоторых городах они провели по два, по три дня. Но всюду был такой же голод, как в Перми. Они снова шли на вокзал, подстерегали поезд, забивались в теплушку и ехали дальше.

В Ярославль они приехали вчера утром. Случайная баба на вокзале рассказала им, что биржа труда записывает женщин, желающих ехать на уборку, и что записавшимся дают хлеб. Они пошли на биржу труда, их там долго морочили, но, в конце концов, записали. Однако хлеба не выдали, а пообещали выдать только через сутки, на пристани, перед самым отъездом. Они до вечера бродили по улицам. Вечером на одной из улиц Вспольенского предместья мужчина, коротенький, в серой толстовке, подмигнул им. Он завел путанный разговор насчет того, что он приехал из Самары и что у него есть чем угостить. Голосок у него был тоненький, тенорок.

— Я такой человек! — говорил он многозначительно.

И зорко разглядывал Тасю и Шишу. Шиша была черненькая и ему больше понравилась. Он повел Шишу, а Тася пошла за ними следом и проводила их до ворот дома.

Ночь она проспала на улице.

Солнце поднималось все выше, тени, падавшие от разбитых стен, все уменьшались, духота стояла над камнями, и Тася решила: пора! Все той же неторопливой походкой двинулась она из города к Вспольенскому предместью. Дома здесь были деревянные, маленькие, но зато разрушенных попадалось гораздо меньше.

Только все заборы были сожжены за забором в печах, и дворы стояли пустые, открытые со всех сторон.

Она искала дом, в котором ночевала Шиша, и скоро нашла его. Тремя закрытыми окнами глядел он на улицу. Белые занавески висели за стеклами, и окна зашлись подслеповатыми. Вдруг занавеска на крайнем окошке слегка шевельнулась, отодвинулась, и Тася на мгновение увидела светлую сережку и черную бусину Шиши. Шиша едва заметно кивнула ей, и занавеска задвинулась снова.

Тася осторожно подошла к воротам.

Забора и здесь уже не было, но ворота еще стояли — два высоких столба, в одном из которых сохранилась дощечка с надписью: «Дом В. П. Козиной». По среди двора росла кривая ива; между ивой и крыльцом, выходящим во двор, натянута была веревка, на которой висело мокрое белье. Перед бельем стояла Варвара Петровна, прямая, с высоко поднятой головой. Она щупала, хорошо ли сохнет белье, ярко озаренное солнцем. Иногда она складывала свое длинное, тощее тело по полам, стремительно ныряла под веревку и там, за бельем, выпрямлялась. Тогда из-под белья видны были только ее башмаки с пуговицами, да над бельем торчал пучок седоватых волос. Но через мгновение она ныряла обратно и снова вся целиком появлялась перед веревкой.

Увидев Варвару Петровну, Тася шагнула назад и, спрятавшись за углом дома, остановилась, поджидая Шишу. Когда минуты через три, она осторожно выглянула из-за угла и опять осмотрела двор. Варвара Петровна уже сидела на корточках перед крыльцом и чистила медную посуду. Она окунала мокрую тряпку в совок с золой и терла бока кастрюль, чайника, самовара. Образ Николая-чудотворца, тускло блестящий оправой, лежал перед крыльцом в траве и ждал своей очереди.

Тася опять отступила за угол, но, внезапно услышав скрип двери, снова выглянула. Дверь чуть-чуть приотворилась, и из нее, боком вперед, медленно вышел тот самый человек, который увел вчера Шишу. Солнце блеснуло в его примасленных желтых волосах, в начищенных сапогах с высокими каблуками. Он прищурился от слишком яркого света. На мгновение Тася показала, что там, за дверью, она видит Шишу, но ничего как следует рассмотреть ей не удалось, потому что он сейчас же

...своей спиной и остановился посреди как раз над Варварой Петровной. — Что это вы, тетечка, чистить собрались? — спросил он своим тенорком, обтянувшись на себе толстовку. — Ведь все равно не уезжаете!

Варвара Петровна даже головы на него не подняла. Только плотнее сжала тонкие губы.

Однако это ничуть его не обескуражило. Облизываясь по сторонам с добродушно-настойчивым видом и ни на вершок не отступая от двери, он заметил лежавшую на полу икону.

— И святого почистить собираетесь? — спросил он насмешливо. — Святые, тетечка, давно из моды. До вас еще, тетечка, прошение не дошло.

Варвара Петровна точно не слышала. Когда он двинул ногой, будто собираясь наступить на икону, она отставила кастрюлю, которую чистила, и посмотрела вниз на лицо.

— Тебе, видно, все можно, пакостник! — сказала она.

— Мне, тетечка, все можно, — ответил он уверенно. — Я такой человек. Другому нельзя, а мне можно. Я себе, тетечка, многое могу позволить.

— То-то ты грязных девок с улицы заводишь! — сказала Варвара Петровна. — Не успел приехать...

— Пс! — свистнул он, еще крепче прижав дверь спиной. — Вон вы куда, тетечка, гнете!

— Я вчера их обеих заметила, — прошептала Варвара Петровна. — Сегодня первая мне попала, так я ей рожу разбила. Вторая попадется — и второй разобью.

Но эта угроза несколько его, видимо, огорчила, а напротив даже понравилась.

— Уж мне-то, тетечка, весь ваш характер хорошо известен, — сказал он восхищенно и льстиво.

Она была этим тронута и несколько смягчилась.

— И никакого мне от тебя уважения, — сказала она горько. — Перед войной в Ивове в Вознесенске ты куда почтительней был! Приезжал, беленький, погостить и себе кланялся. А теперь мне от Даниила Звягина больше уважения, чем от тебя.

При имени Даниила Звягина он чрезвычайно обиделся.

— Вот уж не думал я, тетечка, что вы меня с Даниилом Звягиным равнять будете, — сказал он с надутым и чванным видом. — Данила Звягин вам даже картофельной муки не дал, а Василий Козин вам целое царство отдаст, потому что Василий Козин такой человек и может понимать, что значит благодарность. А про каких вы девок, тетечка, говорите, так я даже и не знаю.

Но он напрасно упомянул про девок, потому что Варвара Петровна сразу же снова разгневалась.

— Врешь! — сказала она. — Раскомиссарился! Женился бы, жил бы, как бог велел! Забыл, что честных родителей сын!

— Нынче на родителей смотреть нечего, — ответил он рассудительно. — Родители наши не в такое время жили. Они в тихое время жили. Да разве в такое время, как наше, да такой человек, как я... Эх, тетечка!

Варвара Петровна промолчала и снова взялась за кастрюлю. Лицо ее все еще было сурово, но, тем не менее, она, видимо, слушала его с удовольствием.

— Ничего-то вы, тетечка, не понимаете и понимать не можете, — продолжал он, вертя небольшим своим личиком. — Вот видел я парня в Самаре: двадцать два года, а дивизией командует. По-старому генерал-лейтенант, а всего-то только четырехклассное училище окончил.

— Как же, дадут тебе дивизию! — сказала Варвара Петровна.

— А не дадут — сам возьму. Я такой человек. Прошлый год наши оренбуржцы с турецкого фронта отступали. Все на Тифлис тянут, а я говорю: «Казачи, идем на Персию!» Немного только не сговорил, скучно стало с ними разговаривать. А то взяли бы Тегеран, и был бы я шах-иншах персидский Василий Козин. Эх, тетечка!

Он болтал, не останавливаясь, произнося первые попавшиеся слова без всякого разбора, а сам все поглядывал по сторонам. Тася отлично понимала, что Шиша стоит за дверью и не может выйти, так как Варвара Петровна сидит у самого крыльца, и что он только о том и думает, как бы отвести куда-нибудь Варвару Петровну. Продолжая болтать, он, словно невзначай, сошел с крыльца и медленно двинулся к веревке с бельем.

— А ты говоришь: дивизию не дадут!

По правде сказать, дивизию мне давно уже должны были дать. Да знаешь, какой теперь народ окаянный,— обошли. Обошли и рожи от меня воротят. А мне что! Им же, дуракам, дорожке станет. Найдем и почище. Эти не дали—другие дадут. Не дадут, так надо взять. Надо только уметь взять. Персию не дадут, мы другое царство найдем. Мы себе поближе царство поищем,— без умолку говорил он, внимательно разглядывая рубашки и нижние юбки Варвары Петровны.— Мое от меня не уйдет. Я такой человек. Никто еще не знает, какой я человек.— Он нырнул под веревку и исчез весь кроме сапог.— Что это, тетечка, у вас с этой стороны белье пылью забросало?

— Где? — спросила Варвара Петровна.

Она выпрямилась во весь рост, торопливо двинулась к белью и тоже нырнула под веревку. Башмаки на пуговицах остановились рядом с высокими сапогами.

Тут дверь тихонько отворилась, и на порог вышла Шиша. Потряхивая сережками, она спокойно шагнула за ворота и вместе с Тасей пошла прочь по улице.

У Шиши была желтоватая кожа, и она действительно напоминала цыганку. По вечерам она казалась красивой, но сейчас, при ярком дневном свете, лицо ее было поблекшим и несвежим. Глаза, черные и большие, с желтоватыми белками, смотрели прямо и твердо, а две складки возле уголков губ придавали лицу брезгливое и недоброе выражение. Ростом она была немного ниже Таси, а годами старше.

Они свернули на пустырь и уселись там в тени среди лопухов, крапивы и кирпичей. Шиша засунула руку в карман юбки и вытащила полную горсть гречневой каши. Она переложила кашу Тасе на ладонь, и Тася принялась есть, хватая ртом мяткую, слипшуюся, холодную крупу.

— Купец? — спросила Тася.

— Нет, дрянь, — сказала Шиша. — Комиссарик из Самары. Сам шпит ест, а меня кашей кормит.

Она порылась в кармане и дала Тасе еще полную горсть каши.

— Кто тебе лоб разбил? — спросила она Тасю.

— А ну их! — ответила Тася равнодушно.

— Морду надо беречь, — сказала Шиша строго и назидательно.

— Вот еще! — ответила Тася.

Из низких барачков, построенных фабрикантом Карзинкиным для рабочих, вышла толпа людей, собрались на вытоптанном, рыжем бугре перед фабричными корпусами и оттуда медленно двинулись на город мимо белых, изъеденных пулями стен монастыря.

За последние два с половиной года так начиналось все.

Так шли они на город и в феврале семнадцатого, и в октябре, так шли они в июле восемнадцатого, когда нужно было выгнать офицеров, поднявших в городе мятеж, так шли они потом много раз, провозжая мобилизованных на Казанский фронт и на Самарский, на Южный, на Западный и на Восточный. Бараки постепенно пустели; и все же, когда зеленые банды появлялись в соседних волостях, когда Колчак приближался к Волге, когда англичане от Белого моря двигались к Вологде, из барачков выходили новые люди и, растянувшись по мостовой, шагали к вокзалу или к пристани. Наконец, ушли даже отцы замужних дочерей, даже пятнадцатилетние мальчики. В бараках остались только женщины.

Теперь шли женщины.

Пожилые ткачихи, давно не видавшие своих уехавших на фронт мужей, распихавшие детей по соседкам и родственникам, молча тащили пустые мешки для зерна, кастрюли, чайники. Солнце жгло им головы, пот тек из-под платков по жестким щекам. Они шли впереди, а сзади шли фабричные девчонки, голодные, низкорослые, заморенные, выросшие в бараках, где в каждой каморке жило несколько семейств, с двенадцатилетнего возраста ежедневно стоявшие за станками в душных и влажных цехах. Голубенькие сережки торчали в мочках ушей, голубые и карие глаза испуганно смотрели из-под низко наведенных на лбы платков.

Над рядами женщин качались знамена, выцветшие и вылинявшие, с расплывшимися от времени буквами. Эти знамена остались с прошлого года и с позапрошлого, они побывали во всех битвах и демонстрациях, их берегли, потому что не из чего было сделать новые. Впрочем, было и одно новое знамя; Данила Звягин и Устинья Горячова несли его впереди, держа за две палки; на нем было написано: «Ни одного фунта хлеба разбойникам капитала».

Маня Борисова отстала от своей матери

и все жалась к Кате. Она сбоку робко заглядывала Кате в лицо, надеясь, что Катя заговорит.

Но Катя молчала.

Кате было грустно, и она сама не знала отчего.

Сколько раз за последние годы мечтала Катя об отъезде; сколько раз, сидя вечером на волжском откосе и глядя, как большой пароход, сияющий всеми окнами и похожий на золотую брошь, уходил вниз по реке, она жалела себя за то, что нет ее на этом пароходе; сколько раз по ночам в своей комнате, при желтом свете пятилучевой лампочки (тогда еще был керосин), она торопливо перелистывала бурые страницы какой-нибудь книжки, прошедшей уже через сотни рук, и старалась запомнить названия городов и улиц, в которых никогда не бывала. В последние дни она с нетерпением считала часы, остающиеся до отъезда, но сейчас ей было грустно.

Виктор Иванов шел прямо перед нею, и она смотрела на его длинную, узкую спину. Все его видели, потому что он был выше всех в этой женской толпе. Его обтрепанная студенческая фуражка плыла над платочками женщин. Он шел вместе со всеми, но ни на кого не глядел, ни с кем не разговаривал, всем чужой и незнакомый. Никто не подходил к нему слишком близко, и вокруг него все время оставалось пустое пространство. Нелепый его наган раскачивался на ходу и бил его по бедру. Ткачихи поглядывали на него искоса, и он словно ежился под их взглядами.

Ткачихи не знали, как относиться к этому чужому человеку, и сначала как будто даже побаивались его. Но неподалеку от набережной Данила Звягин и Устинья Горячова передали знамя другим, а сами потстали и пошли рядом с Катей. Взяв Катю под руку, Устинья взглянула на качающуюся впереди спину Виктора Иванова и вдруг рассмеялась. Она прижала свой кулак ко рту, колыхаясь от беззвучного смеха. И глядя на нее, ткачихи засмеялись все, даже пожилые: одни потихоньку, другие громко.

Виктор Иванов слышал этот смех, но не обернулся. Только спина его вздрогнула.

Увидев, как вздрогнула спина Виктора Иванова, Данила Звягин нагнулся к катиному уху и, весело блестя прищуренными глазами, прошептал:

— Здорово ты его ухой облила!

Последние дома расступились перед ними, и они с откоса увидели Волгу.

Волга была привычно пустынна, из края в край. Уже много месяцев на огромном мертвом ее просторе не появлялось ничего кроме синих полос дождя, кроме клочьев тумана, кроме отражения облаков, кроме движущихся солнечных бликов. Но в этот день под самым откосом, у берега, возле кривой, полузатопленной пловучей пристани, копошился маленький колесный буксир, наполняя своим мирным пытением все пространство между землей и небом. Две черные баржи были привязаны гуськом к его низкой корме.

Женщины, присланные биржей труда, уже стояли внизу возле пристани, на самом солнцепеке. Без знамен, ничем не объединенные, никого не знающие, они уныло ждали обещанной выдачи хлеба. Одеты они были разно: одни — по-деревенски, другие — по-городски, нарядно; некоторые явились даже в шляпках.

Среди них Катя прежде всего заметила Варвару Петровну. Варвара Петровна стояла в стороне от всех, брезгливо и надменно поджав тонкие губы. У ног ее лежали сундучки и корзинки — она единственная захватила с собой багаж. На холодном, желтом лице ее было ясно написано, что она не имеет никакого отношения к этому сброду, присланному вместе с нею биржей труда. Шагах в пяти от нее, среди толпы, стояла Тася с кровавой ссадиной на лбу. Всякий раз, когда тасины равнодушные глаза останавливались на Варваре Петровне, Варвара Петровна, подняв подбородок, отворачивалась.

Хлеб должны были привезти представители губпрофсовета. Звягин удивился, что хлеб до сих пор не привезен, — был уже четвертый час. Он чуть-чуть нахмурился, но не сказал ничего. Чтобы занять чем-нибудь женщин в ожидании хлеба, он устроил переключку. Глядя в большой лист, он медленно, намеренно не торопясь выкликал фамилии. Прошло полчаса. Все записавшиеся оказались налицо. А хлеба все еще не было!

Звягин снял фуражку, вытер лысину ладонью и принялся разбивать женщин на отделения. Это тоже займет некоторое время. Он разбил их на двадцать отделений, примерно по сорок человек в каждом. Каждое отделение должно выбрать себе

нечто вроде старшей — сороковую. Звягин объявил, что все продукты для скорости будут распределяться по сороковым, а уж те раздадут их женщинам своих отделений.

Катя попала в отделение, состоявшее сплошь из девчонок, и девчонки выбрали ее сороковой. Катя этому не удивилась, за последнее время на фабрике девчонки вечно ее выбирали куда-нибудь. В других отделениях выборы тоже прошли без споров, быстро. Только у женщин, присланных биржей труда, ничего не получалось. Звягин собрал их всех в особое отделение, но оказалось, что они не умеют выбирать. Тогда Звягин объявил, что для начала он сам назначит им сороковую. Он подошел, торопливо оглядел их и, к некоторому удивлению Кати, назначил сороковой Варвару Петровну. Варвара Петровна приняла свое назначение спокойно, как должное, — она, видимо, не сомневалась, что Звягин назначит именно ее.

Но вот, наконец, загремели по булыжникам колеса, и из-за угла появились представители губпрофсовета с духовым оркестром, с большим знаменем и с маленькой ручной тележкой, которую катили двое мужчин. Звягин сразу бросил все и побежал им навстречу. Он сказал им что-то, они ответили, и он побежал назад, к женщинам. Лицо его стало белым и мокрым.

— Товарищи, — закричал он на бегу, — хлеба только по четверть фунта на человека! А в дорогу — ничего!

Он испуганно заглядывал женщинам в лица. До Самары плыть, по крайней мере, семь суток, а то и все десять. Десять суток — и ничего в дорогу! Неужели весь план его рухнул? Глаза его стали жалкими, умоляющими. Поедут они или не поедут?

Женщины молчали.

— Мы послали телеграмму в Кинешму, — неуверенно проговорил один из представителей губпрофсовета. — Может, в Кинешме вам что-нибудь выдадут.

Женщины молчали.

Тем временем с ручной тележки сдернули брезент. Вся толпа разом почувствовала сытный, теплый запах хлеба. Только что избранные сороковые вышли вперед, к тележке. Им выдали по десять фунтов на каждое отделение. Через несколько минут весь хлеб был раскрошен на четвертушки и съеден.

Звягин влез на пустую тележку.

— Кто не хочет ехать, — закричал он, — пусть остается! Мы никого силком не тащим.

Он опять оглядел всех женщин. Ни одна не двинулась с места, ни одна не сказала ни слова.

— Кто хочет остаться? — настойчиво повторил он.

Глаза его перебежали с одного лица на другое. Он чувствовал, что решается его судьба.

Женщины молчали.

Катя искала глазами Тасю. Здесь ли она еще? Тася была здесь. Она стояла рядом со своей чернобровой подругой, у которой такое злое, желтое лицо и такие блестящие, длинные серьги, и дожевывала полученный хлеб. Отчего же она не уходит?

— Пусть Звягин сам остается детей качать! — крикнула из толпы Устинья Горькова. — А мы поедем!

Девчонки засмеялись.

Звягин слез с тележки, вытер лицо, надел картуз. Судьба его решилась. Он победил.

— На посадку! — заорал он так яростно и громко, что шея его побагровела.

15

И посадка началась.

Солнце уже светило косо. Оркестр губпрофсовета заиграл «Интернационал». Через пловучую пристань по деревянным сходням женщины двинулись на баржи. Сходни были узкие, итти приходилось медленно, гуськом. Десять отделений направились на переднюю баржу, десять — на заднюю. Варвара Петровна подозвала к себе двух самых оборванных девчонок из присланных биржей труда, нагрузила их своими сундучками и корзинками и пошла вслед за ними, высоко подняв голову.

Катя повела свое отделение на заднюю баржу. По сходням она шла рядом с Тасей.

— Что ж ты не осталась? — спросила Катя. — Ведь ты собиралась остаться.

— Очень надо, — сказала Тася. — Вылезти я всегда успею. В Кинешме, может, еще хлеба дадут.

Баржа была крытая, с палубой. Посреди палубы было широкое отверстие, ведущее вниз, в трюм, в темноту. Но в

труп никто не спешил, всем хотелось остаться на палубе и посмотреть, как будут отваливать от пристани.

Буксир шлепнул по воде лопастями колес, подняв радугу брызг, канат натянулся, и первая баржа медленно, как бы нехотя, двинулась с места. Вот шевельнулась и вторая баржа; поползла мимо кривая пристань, поползла рыжая глина откоса. Буксир, потянувший сначала против течения, стал круто забирать вправо, и длинный железнодорожный мост начал выползать из-за поворота, пролет за пролетом, описав широкую дугу, которая так и осталась лежать светлой подковой на плотной воде. Буксир пошел вниз по течению, и опять проползла мимо баржи деревянная пристань, но уже с другой стороны, маленькая, далекая.

Город открылся на откосе, церкви отразились в воде. Солнце опускалось, и красивые лучи его сияли на медных трубах оркестра за пристанью. Они уже едва были видны, эти трубы, а «Интернационал» все еще отчетливо звучал над тихой водой.

Старухи крестились и кланялись, глядя на удалявшиеся колокольни родного города. Крестилась Авдотья Борисова, манькина мама, крестилась и кланялась всем телом, когда-то большим и грузным, а теперь похожим на пустой мешок. Устинья Горячова посмотрела на нее и тоже перекрестилась.

Звягин толкнул ее локтем.

— А ты с чего крестишься? — спросил он сердито.

Устинья повернула к нему лицо. В глазах ее были слезы, но рот улыбался.

— Крест хлеба не ест, — сказала она.

Глава четвертая

КИНЕШМА

16

Умом Виктор понимал все.

Он был единственный сын у папы и мамы, в детстве много болел, сидел дома и читал книги. За два последних года — семнадцатый и восемнадцатый — у него трижды было воспаление легких. Боялись чахотки, его никуда не пускали, он сидел в комнате с открытыми окнами и читал. Он читал, прислушиваясь к выстрелам во время октябрьских боев в Москве, во вре-

мя брестских переговоров, во время левоэсеровского мятежа. Человечество всегда жило в рабстве, только формы рабства менялись. Теперь начался бой за уничтожение рабства во веки веков. Он ненавидел несправедливость, больше всего на свете он хотел, чтобы весь мир был справедливым. Он понимал, что большевики правы. Папа и мама этого не понимали.

Осенью восемнадцатого года здоровье его несколько окрепло, и он поступил на первый курс Московского университета. Папа купил ему студенческую фуражку. Он ходил на все сходки. Он часами стоял в толпе на собраниях, где большевики, которых в университете было совсем мало, спорили с эсерами, меньшевиками и кадетами, которых было очень много.

После собраний, возвращаясь домой, он по дороге сочинял грозные и остроумные речи, которые могли бы разом уничтожить все доводы эсеров, меньшевиков и кадетов. Он умел разобраться во всем, мир был прозрачен для него, как стекло. Но ни разу не выступил он на собрании, потому что был очень самолюбив и нестерпимо застенчив.

Он вырос без людей, не привык к людям и боялся их. Боялся их и любил. У себя в комнате он часто мечтал о дружбе. Он мечтал принять участие в событиях, делать что-нибудь для людей. Одиночество тяготило его; он мечтал, засыпая, о товарищах, ради которых мог бы пожертвовать жизнью. Много видел он людей, с которыми хотел бы подружиться, но проклятая робость мешала ему. Он терялся, когда его спрашивали о самых простых вещах. Он был мнителен. Иногда на улице он внезапно вспоминал, как дней десять назад на него кто-нибудь посмотрел насмешливо или невнимательно, и пот выступил у него на лбу при этом воспоминании, и он останавливался посреди тротуара. Он свободно разговаривал только с отцом, но за последнее время все их разговоры кончались ссорами.

В середине зимы он записался в Коммунистический союз молодежи.

В союзе молодежи на него долго не обращали никакого внимания, потому что он всегда молчал. Но мало-помалу к нему привыкли, и он привык. Когда наступила весна, он уже осмеливался порой сказать два-три слова. Однажды он, увлеченный, произнес нечаянно целую речь о советской

власти в Венгрии и вдруг заметил, что его слушают очень внимательно. Это его ободрило. Два дня спустя он выступил на общестуденческом собрании против студента, который, к восторгу большинства присутствовавших, заявил, что Советы грабят крестьян. Ровным, высоким, чуть-чуть подрагивающим голосом Виктор объяснил, что для спасения революции необходим хлеб; что рабочий класс дал крестьянству землю, и за это крестьянство должно дать рабочему классу хлеб; что трудящиеся крестьяне понимают это и сдают излишки, и что только кулаки против, потому что они вообще против революции, но революция возьмет хлеб у кулаков силой. Слушатели были от ненависти; в тот год в университете эсеры и даже кадеты существовали еще совершенно открыто, горланили громче всех и все держали в своих руках. Кругом были от ненависти, а он стоял среди этого воя, прямой и тонкий, и говорил отчетливыми, твердыми фразами, потому что мир был для него прозрачен, как стекло, и разум его с легкостью рассекал злобный туман предрассудков и клевет, за которым прятались враги революции. После этой речи его объявили в союзе молодежи теоретиком и, как это ни странно, стали считать знатоком продовольственного вопроса.

Через несколько недель началась мобилизация членов союза молодежи на колчаковский фронт.

Он сразу решил пойти. Но на медицинском осмотре врач заявил ему, что идти на фронт он не может, так как у него еще не закончился процесс в легких. Это было ужасно. Положение казалось ему безвыходным: он должен был ехать на фронт хотя бы потому, что не мог уже оставаться в Москве. Дело в том, что он жестоко поссорился с отцом.

Он поссорился с отцом, так как узнал, что отец спекулирует золотыми коронками. Он со всей беспощадностью сказал отцу, что презирает его и что позорно занимается спекуляцией в такие времена. Отец побледнел и, тряся бородкой, закричал, что если он и продал три раза золото на сторону, так только для того, чтобы прокормить Виктора, которому прописано усиленное питание. Виктор знал, что отец говорит правду; он знал, что отца всю жизнь грабил и мучил зубной врач Вайнерман, которому отец поставлял зубы. Виктору было жаль отца, но он не мог

удержаться и наговорил ему множество слов совершенно непоправимых. После непоправимых этих слов ничего не оставалось, как только уехать, а тут вдруг выяснилось, что на фронт его не берут.

Он пошел в ячейку и попросил, чтобы его отправили на фронт, несмотря на процесс в легких. Но в ячейке ему сказали, что гораздо больше пользы он может принести на продовольственной работе. Ведь он прекрасно разбирается в продовольственном вопросе, а продовольственный вопрос сейчас так же важен для республики, как вопрос военный. Куда-то позвонили, с кем-то согласовали, и к вечеру Виктор имел мандат, наган и железнодорожный билет.

Он пришел на вокзал рано, первым вошел в вагон и занял отличное место на полке возле окна. Но скоро в вагон набилось множество людей, и какой-то рыжебородый мужик, тащивший два огромных мешка, прогнал Виктора с полки.

— Извините, — сказал Виктор и сел на пол.

Он отлично понимал, что мужик не имеет никакого права стогнать его с полки, и был зол на мужика. Еще больше он был зол на себя самого за то, что сказал мужику: «Извините». Прошло много часов, а он не мог успокоиться и все представлял себе на разные лады, как струсил бы мужик, если бы он, вместо того чтобы сказать ему: «Извините», направил на него наган. Но мужик давно уже спал, обложенный своими мешками, а Виктор сидел на полу, и поезд, гремя, тащился, и ночь была кругом.

Он ехал целые сутки и прибыл в Ярославль только на другой день к вечеру. С тоской бродил он по темным, незнакомым улицам пустынного, разрушенного города и дико озирался, глядя на поваленные колокольни, на бесконечные пустыри, на закоптелые кирпичные стены и трубы. После долгих хождений и расспросов понял он, что явиться ему следует к Звягину, и очень обрадовался, когда нашел, наконец, его домик.

Звягин понравился ему с первого взгляда; он и сам не мог бы объяснить, почему; быть может, просто потому, что Звягин сразу впустил его в дом, уложил в постель. Наутро ему тоже все понравилось: и пустая клетка, и ржавые гвозди на столе, и странный какой-то запах, напол-

живший комнату, рукомо́йник во дворе, и уха, и неуклюжая девушка с круглым, добрым лицом, которая облила его ухой.

Конечно, он очень скоро понял, что Звягин вовсе не рад его приезду, что Звягин, который сам затеял весь этот поход за хлебом, уязвлен и обижен тем, что теперь, когда все готово, ему на шею посадили какого-то начальника. Поняв это, Виктор почувствовал себя виноватым, хотя отлично знал, что ровно ни в чем не виноват. Он решил при случае объяснить Звягину, что он совсем не собирается быть начальником, что он сам знает, как мал его жизненный опыт, что он хочет только помочь чем-нибудь. Нет, Виктор мечтал не о власти, а о дружбе, о близости.

Он обрадовался, что попал к женщинам, а не к мужчинам, — женщины добрей и мягче. Но когда ему пришлось итти одному в незнакомой женской толпе, он оробел; он был выше всех ростом, его разглядывали отовсюду, и он чувствовал себя очень скверно. Впрочем, он крепился и утешал себя, что скоро привыкнет. Но вдруг чей-то смех раздался у него за спиной, и все кругом засмеялись. Он понял, что смеются над ним, и вздрогнул от стыда и горя.

Ему захотелось исчезнуть, провалиться сквозь мостовую. Чего бы только ни отдал он, лишь бы оказаться опять в своей московской комнате, лечь на кровать и закрыть лицо подушкой, чтобы никто его не видел!

Но нужно было итти вместе со всеми, нужно было два часа стоять на виду у всех, на солнцепеке, возле пристани, пока Звягин производил переключку и распределял ткачих по отделениям, пока делили хлеб.

После посадки ткачихи остались на палубе: им хотелось посмотреть, как будут отчаливать от родного города, а Виктор Иванов сразу спустился по наклонной доске, колеблющейся при каждом шаге, в темный трюм баржи. В просторном трюме было сыро и пусто. Он пошел наугад в темноту, стараясь как можно дальше уйти от столба света, падавшего сквозь отверстие, служившее входом. Наконец, деревянная стена преградила ему дорогу, и он сел прямо на пол, вытянув перед собой ноги.

Здесь его никто не видел.

Он сидел в огромном, пустынном трюме баржи, прижавшись к одному из ее изогнутых деревянных ребер, и вспоминал на разные лады, как над ним посмеялись. Кровь стучала у него в голове. Воображение не давало ему покоя, и он с удивительной отчетливостью представлял себе все новые смеющиеся женские лица и смеющееся лицо Звягина. Он был убежден, что Звягин смеялся тоже; ему теперь казалось, будто в общем смехе он различал и его отдельный смешок, короткий, надтреснутый. Да, да, Звягин сперва прошептал что-то насмешливое, вероятно той девушке Кате, а потом засмеялся.

Виктору следовало тогда обернуться и показать им, что он отлично слышал их смех. Им стало бы стыдно, они присмирели бы, а он потребовал бы у них объяснений. Вот он всегда так: только спустя несколько часов начинает понимать, как ему следовало поступить. А может быть, еще не поздно? Что, если он сейчас подымет на палубу, разыщет Звягина и в присутствии всех потребует у него объяснений? Нет, никогда он этого не сделает. Да и какие там объяснения? Получится только еще глупее, еще постыднее!

Что же делать? Удрать? Пойти куда глаза глядят, чтобы никогда больше не видеть этих людей? Пускай они думают о нем что хотят, все равно он их никогда не увидит... Но поздно, поздно! Куда уйдешь, когда баржа уже плывет? Впрочем, завтра в Кинешме можно будет потихоньку сойти на берег, а там добраться как-нибудь до Москвы...

Эта мысль подкралась к нему незаметно, и, когда он обнаружил ее, ему стало противно до тошноты. Вернуться в Москву, ничего не сделав! Если он до сих пор мучится при воспоминании о мужике, которому он позволил согнать себя с полки, так как он будет мучиться всю жизнь при воспоминании о таком постыдном бегстве! А почему бы им не посмеяться над ним и не презирать его, раз он смешон и презретен? Он рассердился на себя, и ему сразу стало легче. Нет, делайте что хотите, а он не сбежит! И объясняться он тоже не будет. Ему решительно все равно, что они о нем думают. Обойдется он и без их дружбы. Ему никого не надо. Он найдет себе какое-нибудь дело. Лишь бы найти

себе какое-нибудь дело! Спокойно и не торопясь, он найдет себе нужное дело. И тогда посмотрим!

В трюме он был не один. Сразу же вслед за ним туда спустились две девушки: одна — беленькая, с голубым платком на голове, другая — черноволосая, смуглая, с очень большими серьгами, поблескивавшими в полумраке. Он довольно хорошо видел этих девушек, так как они уселись недалеко от столба света, падавшего сверху через вход. У них не было ни корзин, ни мешков, ни узлов. Они сидели шагах в десяти от него, одинокие, молчаливые, посторонние всему на свете. На лбу у беленькой был кровоподтек. Возможно, они заметили Виктора, но отнесли к его присутствию с полным безразличием, ни разу даже не взглянули на него.

Потом в трюме появилось еще несколько женщин. Они легли рядком на пол, даже под голову ничего не положив, и, казалось, сразу заснули. Они лежали так неподвижно, что, когда стемнело, Виктор забыл о них.

В трюме было зябко и сыро, и Виктор был уверен, что ему не удастся уснуть ни на минуту; он уснул, так и не заметив, что засыпает, и спал сидя, низко свесив голову.

Во сне причудилось ему, что кто-то стонет; он слышал стон, полный тоски и тревоги. Он дергал головой, чтобы отвязаться от этого стопа, но стон был неотвязный; он понимал, что спит, старался проснуться, однако проснуться не мог.

— Эй, длинноногий! — услышал он хриплый и недобрый голос.

Босая нога пихнула его в бок, и он открыл глаза.

В трюме стоял плотный мрак, как в подземелье. Виктор поднял голову, взглядываясь в тьму, и вдруг опять услышал тот самый стон, который мучил его во сне. Значит, стон этот вовсе не приснился ему. А когда стон стихал, раздавался напряженный, прерывистый шопот еще мучительнее стопа.

— Слышишь? — сказал хриплый голос.

Длинная серьга блеснула во тьме, и Виктор узнал ту черненькую девушку, которую заметил с вечера. Это она разбудила его.

Он встал и побрел сквозь тьму туда, откуда доносился стон. Девушка с серьгами шла рядом. Он споткнулся обо что-то

живое и мягкое. А, это те женщины. которые давеча заснули, чуть прищелкнув трюм! Одна из них громко стонала; другие металась во сне, бормоча. От беззвучного этого бормотания Виктору было жутко.

— Сходи наверх, позови кого-нибудь! — сказала девушка с серьгами.

Виктор нагнулся и взял одну из женщин за руку. Рука была сухая и горячая.

— Не хочешь идти — не надо, — сказала девушка с серьгами. — Уж мне-то все равно, уж я-то не пойду.

Она отвернулась.

Он ошупью добрал до качавшейся доски и вышел по ней на палубу.

Теплый, легкий ветер дохнул ему в лицо, наполнил его грудь, шевельнул его волосы. Прозрачная летняя ночь охватила его со всех сторон. Июльские звезды сияли вверху и отражались, качаясь, в воде. Сбоку чернела узкая полоска — не то берег, не то остров. Далеко впереди, за первой баржой, над трубой еле видного буксира крутился летучий столб искр.

На палубе спали женщины. Осторожно шагая, стараясь не наступить на раскинутые руки и ноги, Виктор побрел наугад к корме, взглядываясь в неясно белешие лица. Он искал среди спящих Звягина.

Вдруг он увидел его. Звягин не спал: он стоял на корме, держа обеими руками длинное бревно, служившее штурвалом, и смотрел в пенящуюся за кормой воду.

Виктор легонько дотронулся до его плеча. Звягин обернулся.

— Это вы? — спросил он и, щурясь, взглянул Виктору в лицо. — А я вас по обеим баржам искал. Решил, что вы сбежали.

«Опять издевается», — подумал Виктор. Но сейчас ему было все равно. Он даже сам удивился, до какой степени ему было все равно.

— Беда! — сказал он. — Пойдемте в трюм!

Звягин вздрогнул. По голосу Виктора он, видимо, понял, что действительно беда.

— Что? Что? — спросил он, охваченный тревогой.

Но Виктор уже шагнул прочь, осторожно обходя спящих. Звягин едва поспедал за ним на своих кривых ногах.

Они спустились в трюм по шатучей доске. Звягина окружил непроглядный мрак, полный стонов и бреда. Он остановился и срывающимся голосом спросил:

— Что здесь такое?

— Не видишь, фрайер? Больные! — крипло сказала ему из темноты девушка с серьгами.

— Какой я тебе, к чорту, фрайер? — заорал вдруг Звягин в бешенстве. — Нагнали тут всякой сволочи!

Он сунул руку в карман, вытащил зажигалку, сделанную из винтовочного патрона, и повернул колесико. Вспыхнул фитилек и, прыгая в дрожащей руке Звягина, озарил мечущихся в бреду женщин. Желтое пламя зажигалки отразилось в раскрытых, невидящих глазах.

Звягин отшатнулся. Тиф? Незнакомые лица... Тут ни одной ткачихи. Что будет? Что делать?

— Не кричи, меня криком не возьмешь! — спокойно сказала ему девушка с серьгами. — Чем кричать, принес бы им лучше воды!

И, увидев, что оторопевший Звягин не движется с места, прибавила:

— А не хочешь, не надо. Мне что? Не моя грусть!

— Как? Воды? — воскликнул Звягин, очнувшись. — Да, да, воды! Я сейчас принесу воды!

Он чрезвычайно обрадовался, что для него нашлось дело, пстудил зажигалку и побежал наверх. Через минуту он вернулся с фонарем, в котором горела свеча, и ведром воды. В ведре плавала жестяная кружка. Он поставил фонарь и ведро на пол, поймал кружку и нерешительно взглянул на девушку с серьгами, словно ожидая от нее дальнейших распоряжений.

— Погоди поить! — сказала она ему. — Прежде надо уложить их, а то тут пол сырой. Нет ли у тебя соломы?

— Нет, соломы нету, — ответил Звягин виновато.

— Ну, так мешки какие-нибудь собери!

— Мешки соберу сейчас, — воскликнул Звягин с готовностью и послушно побежал за мешками.

Он приволок целую грудку стиранных белых мешков, предназначенных для муки, и девушка с серьгами стала поспешно мастерить из них постели.

— Может быть, баб разбудить, чтобы тебе помогли? — спросил Звягин.

Голос у него стал совсем покорный и робкий.

— Не надо, — сказала девушка с серьгами. — Никого сюда не пускай, а то разнесут заразу по всей барже!

Звягину впервые пришла в голову мысль о заразе. Он долго молчал, глядя в пол.

— А ты останешься? — еле слышно спросил он девушку с серьгами и с надеждой взглянул на нее.

— Мне что? — сказала она. — Меня зараза не берет. А сдохну — ты плакать не будешь. Ступай!

Но он не уходил.

— Если что нужно будет, позови меня! — сказал он. — Я все устрою.

Он еще постоял немного и негромко позвал:

— Товарищ Иванов!

Нет, теперь в его голосе не было насмешки. Он напряженно вглядывался в тьму, стараясь найти Виктора глазами, но не находил: слабый свет фонаря замирал в нескольких шагах.

— Пойдемте, товарищ Иванов! — сказал он робко.

Но Виктор не отозвался.

Звягин потоптался еще немного, потом повернулся и пошел наверх.

— Эй! — крикнула Виктору девушка с серьгами. — Пойди, помоги мне их уложить!

И Виктор послушно побрел к ней.

18

Кострому проспали, но перед Кинешмой проснулись все. Катю разбудил громкий голос Устиньи Горячовой:

— Ярославцы — все красавцы, вот хоть на нашего Звягина поглядеть!

Устинья, видимо, старалась рассмешить женщин, но женщинам было не до смеха.

Солнце стояло над лесом. Волга блестела из края в край, теплый ветер был полон запахом травы, листьев, пригретой земли. Начинаясь долгий, горячий летний день, и вместе с днем начинался голод.

Манька Борисова, лежавшая рядом с Катей, тоже проснулась, но молчала и, не двигаясь, смотрела в небо.

— Очень хочешь есть? — спросила ее Катя.

— Нет, как всегда, — ответила Маня.

Но Катя по себе знала, что это неправда и что сегодня гораздо больше хочется есть, чем вчера. Хорошо бы не вставать, а лежать, как Манька, до тех пор, пока не появится эта Кинешма, которую все ждут, потому что там должны выдать хлеб. Но лежать она не могла. Ей хотелось знать, где Виктор Иванов.

Вчера при посадке ей показалось, будто он тоже пошел на заднюю баржу. Подымаясь по сходням, она на мгновение обернулась и увидела его в толпе, идущей через пристань вслед за нею. Он был выше всех ростом, и увидеть его было очень легко, хотя она сразу отвернулась, чтобы не заметили, как она на него смотрит. Она боялась, как бы девчонки не догадались, что ей очень хочется посмотреть на него, и больше не оборачивалась. Но потом, когда они отчалили от пристани, она несколько раз обошла всю палубу, ища его. Однако нигде его не нашла. Так она и заснула, не повидав его.

Проснувшись, она не могла лежать, как Манька. Она встала и обошла всю баржу вокруг. Нет, на палубе его не было. Неужели он на передней барже, а не на задней? Это казалось ей маловероятным, так как вчера она сама видела, что он шел за ней, а она шла на заднюю баржу. Однако теперь она остановилась и начала разглядывать переднюю баржу.

До передней баржи было не больше двух сажен; туго натянутый канат, соединивший обе баржи, висел над бурлящей водой цвета бутылочного стекла. Всю корму передней баржи Катя видела отлично. Сидевшие там ткачихи заметили ее и замахали ей. Но на середине передней баржи возвышалась какая-то широкая дощатая будка, из крыши которой торчала самоварная труба; эта будка заслоняла от Кати половину палубы. Неужели он там, за этой будкой?

Конечно, можно было бы крикнуть, можно было бы спросить ткачих, нет ли у них на барже приезжего московского студента; но Катя не смела и думать об этом. Впрочем, она была почти убеждена, что на передней барже его нет. Верней всего, он в самую последнюю минуту раздумал и совсем не поехал. Дошел через пристань до сходен, но на баржу не поднялся, а постоял, посмотрел и тихонько ушел. И очень просто! Катя не забыла, как вздрогнула его спина, когда Устинья Горячова помялась над ним.

Она тоскливо озиралась. Его здесь нет, она никогда его больше не увидит, и ничего у нее не осталось кроме голода, да вот этих жестких палубных досок, да воды кругом, да пустого синего неба. Озираясь, она внезапно заметила отверстие, ведущее в трюм. Ни разу не видела она человека, который спускался бы в трюм или выхо-

дил из трюма. А вдруг все-таки в трюме кто-нибудь есть?

Она подошла к широкому отверстию посреди палубы и заглянула в него.

Там было темно, даже дна не видно. Она прислушалась, и ей показалось, что из трюма доносится какой-то отрывистый повторяющийся звук, но был ли то человеческий голос или плеск воды—она разобрать не могла. В первое мгновение она подумала: голос, но потом решила: вода. Катающаяся доска уходила вниз, в темноту. Катя ступила на эту доску.

— Куда ты? Туда нельзя!

Она обернулась. Дядя Данила стоял перед нею.

— Почему нельзя?

— Там нет никого, — сказал он хмуро.

Он посмотрел на нее подозрительно: верит она или не верит? И прибавил:

— Там вода.

И едва он сказал: «Там вода», как из трюма опять донесся тот звук, который она приняла за плеск воды. И теперь ей было ясно, что это не плеск воды, а голос. Дядя Данила тоже, несомненно, услышал этот звук и, рассердясь, крикнул:

— Говорят тебе, нельзя!

Повернулся и пошел прочь.

Катя шагнула за ним: ей хотелось догнать его и спросить напрямик, где Виктор Иванов. Но, вспомнив, как он похвалил ее за то, что она вылила уху Виктору Иванову на брюки, она заколебалась, замешкалась. А там уже поздно было спрашивать: из-за поворота Волги выплывал озаренный солнцем город с белыми домиками на косогоре и высокими фабричными трубами, над которыми не вилось ни одного дымка.

Это и была долгожданная Кинешма.

Женщины на обеих баржах вскочили и стоя разглядывали длинные пловучие пристани. На пристанях не было ни одного человека, и многие решили, что это дурной знак: раз никто не пришел встретить, значит и хлеба не будет. Однако дядя Данила, услышав подобные рассуждения, рассмеялся: что за встречи в седьмом часу утра, в такую рань! У него был очень уверенный и бодрый вид, у дяди Данилы. Кате даже показалось, что чересчур уверенный и бодрый. Он чувствовал, что в эту минуту на него смотрят все.

Причаливали долго, хлопотливо — про-

шли вниз вдоль всего города, потом вернулись против течения. Было удивительно тихо. Наконец, баржа прильнула боком к пустынной товарной пристани, согнав одинокого рыбака с длинной удочкой, и остановилась.

— Я сейчас! — крикнул Звягин. — Я сию минутку!

Он соскочил с баржи на пристань и вбежал в дверь, на которой было написано: «Контора».

Катя через пристань прошла на переднюю баржу. Она окончательно убедилась, что Виктора там нет, и пожалела, что пришла туда; но уйти оттуда оказалось нелегко. Она была племянницей Звягина, и все спрашивали ее, скоро ли привезут хлеб. Ей пришлось много раз повторять слова дяди Данилы, что в такую рань не до встречи и что нужно немножко подождать. Она разговаривала и даже старалась быть бодрой и уверенной, как дядя Данила, хотя ей очень трудно было говорить, так как теперь уже стало ясно, что Виктора Иванова нет нигде.

Она была испугана своей тоской, она вовсе не подозревала, что он так ей нужен. Знакомые девчонки окружили ее, уговаривали купаться, а ей хотелось остаться одной, забиться куда-нибудь в щель, чтобы никого не видеть и ни с кем не разговаривать. От купанья она отказалась. Кто-то предложил пойти поглядеть рынок, который, по слухам, находился совсем близко, как раз за пристанями, и она согласилась, лишь бы поскорее уйти с передней баржи. Но, как на зло, за ней на рынок потянулась целая гурьба женщин.

Никакого рынка, в сущности, не было, а просто за пристанями возле заколоченных досками ларьков толкались какие-то людишки, предлагавшие спички, рогожи, гуталин. Был тут и хлеб — по шестидесяти тысяч за фунт. Ткачихи жадно оглядывали его, взвешивали куски на ладонях, но ни одна не купила — денег таких и не видывали.

Пыль висела над мостовой, вся золотая и слоистая от косых утренних лучей, только что брызнувших сюда из-за косого-гора. Катя остановилась, хмурясь. Зачем она сюда пришла? Ей ничего тут не было нужно. Значит, он остался в Ярославле, не поехал, и она никогда его больше не увидит.

Она хотела знать это наверняка. Нужно пойти и спросить. Спросить можно было только у дяди Данилы. И она побежала искать дядю Данилу.

Она взбежала на пристань и совсем близко услышала громкий, надорванный голос дяди Данилы. Она прислушалась и толкнула дверь с надписью: «Контора». Дядя Данила стоял у телефона и кричал в трубку. Устинья Горячова сидела за столом.

Катя хотела сразу же уйти. Она вовсе не собиралась разговаривать с дядей Данилой о Викторе при Устинье Горячовой, которая непременно все обсмеет и обдурит. Но те слова, что дядя Данила кричал в телефонную трубку, поразили ее, и она осталась.

— Пришлите санитарную карету! — хрипел он (телефон уже довел его до изнеможения). — Восемьсот женщин на моей личной ответственности!

Санитарную карету ему, видимо, обещали.

— Подъезжайте к пристани! — кричал он. — Нет, секрета мы не делаем, но лишнего шума, конечно, не нужно.

Устинья Горячова махала Кате рукой, чтобы она ушла. Но Катя не уходила. Дядя Данила повесил трубку.

— Кто болен? — спросила его Катя.

Но дядя Данила ничего не ответил, он опять уже крутил ручку телефона.

— Алё! алё! — надсаживаясь, орал он в трубку. — Союз текстильщиков?

«Это Виктор болен», — думала Катя. Ей уж больше не казалось, что он остался в Ярославле. «Его где-то прячут! — думала она. — Его, больного, оставят в Кинешме!» .

— Кто болен? — спросила она Устинью Горячову.

— Никто, — сказала Устинья недовольно. — С нашей фабрики все здоровы. Ступай отсюда!

Ясно, что болен Виктор, ведь он не с фабрики! Его оставят в Кинешме, и Катя останется с ним в Кинешме. Она приняла это решение сразу, без колебаний.

— Да, да, да, это опять я, да, Звягин, да, с ярославских барж! — кричал дядя Данила. — Что? Ваш представитель выехал на пристань? Нет здесь никакого представителя! Сейчас будет? Мне не представитель нужен, а хлеб! Да что мне с ним

разговаривать, вы мне прямо скажите: есть хлеб или нет? Что? Алё! алё!

Катя слушала, понимая и не понимая. Виктора повезут в больницу, и она пойдет в больницу. Много лет назад катина мать умирала в больнице, и тетка однажды привела Катю ее навесити. Катя запомнила белую комнату в каменном доме, кровати, байковые одеяла, странный запах, холодный свет из окна.

Дядя Данила кричал, крутил ручку, опять кричал, но больше докричатся не мог. Тут дверь отворилась, и в контору вошел небольшой человек чахоточного вида в синей рубашке с косым воротом, с темными, повисшими усами на тощем лице.

— Товарищ Звягин? — спросил он.

Дядя Данила оторвался от телефона, строго оглядел вошедшего кинешемца с головы до ног и, видимо, не одобрил.

— Из союза?

Кинешемец кивнул.

— Телеграмму из Ярославля имеете? — начальственно спросил дядя Данила.

— Телеграмму имеем, а хлеба нет, — сказал кинешемец.

— Окончательно? — спросил дядя Данила.

— Окончательно, — ответил кинешемец.

Дядя Данила с холодной ненавистью смотрел на этого узкоплечего, понурого человека в синей рубашке. Человек в синей рубашке угрюмо смотрел в пол.

— Я это им говорить не стану, — сказал дядя Данила. — Ты это сам им скажешь!

Он обернулся к Устинье и прибавил:

— Товарищ Горячова, пойди, собери всех на переднюю баржу! Вот этот товарищ хочет с ними поговорить.

Лицо кинешемца побледнело. Однако он не возразил ничего.

Устинья сразу вышла, стукнув дверью.

Катя с удивительной ясностью вообразила себе голову Виктора на тощей больничной подушке: светлые глаза под темными бровями, мягкая курчавая борода. Он умрет, брошенный в этом чужом голодном городе, если она не останется с ним. Она непременно останется, она будет сидеть у его постели днем и ночью. Днем и ночью.

Кинешемец и дядя Данила тоже вышли из конторы, и она вышла вслед за ними. Женщины толпой шли по пристани. Почему с задней баржи все перебираются на

переднюю? «А, — вспомнила она, — сейчас им скажут, что хлеба нет».

Она пожалела дядю Данилу. Белое дядя Данила, что он чувствует сейчас? Что они ему скажут, эти женщины, которых он уговорил ехать? Наверно, захотят вернуться в Ярославль. Пускай возвращаются! Она-то все равно останется здесь, в Кинешме, вместе с Виктором. Она отсюда без него никуда не поедет.

Вместе со всеми Катя пошла на переднюю баржу.

На длинной палубе передней баржи можно было только стоять, так много набилось туда народу. Стиснутая женщинами со всех сторон, Катя приподнялась на носках и оглядела толпу. Нет, конечно, его здесь не было! На крыше будки появились дядя Данила и рядом с ним кинешемец в синей рубашке. Женщины вытянули шеи, подняли лица, побледневшие от тревоги и ожидания.

— Товарищи, — объявил дядя Данила, — вот он сейчас вам все скажет.

И, ткнув в кинешемца пальцем, повернулся к нему спиной.

Глядя себе под ноги, кинешемец проговорил глухо и негромко:

— Хлеба нет... Город голый...

Он замолчал, словно захлебнулся.

Потом прибавил:

— Можем дать телеграмму в Нижний.

Больше он не сказал ничего. Не поднял головы, не шевельнулся.

На барже была тишина. Все молчали.

— Вы слышите, что он говорит? — спросил дядя Данила и, не оборачиваясь, двинул в сторону кинешемца плечом.

В этом движении ненависть была и брезгливость.

Но женщины молчали.

— До Нижнего нам не дадут ничего, — продолжал дядя Данила. — В Нижнем мы будем через сутки, не раньше. Но дадут ли и в Нижнем — не знаю. Кто желает вернуться домой? Всех, кто желает вернуться домой, я посажу на поезд.

Никто не отозвался, и он, подождав немного, повторил:

— Кто желает вернуться домой?

Ему опять никто не ответил, и это взбесило его.

— Да вы смеетесь, что ли? — крикнул он свирепо. — Языки откусили?

— Дома тоже есть нечего, — сказала Борисиха громко.

И сразу все со всех сторон закричали, что лучше ехать вперед.

Вдруг кинешемец как-то неуверенно взмахнул рукой и проговорил:

— Я еще хочу сказать...

Все примолкли: думали, что он скажет что-нибудь новое. Но он ничего нового не сказал.

— Вы про нас думаете, что мы... — выговорил он, глядя себе под ноги, и запнулся. — Честное слово, город голый! Нашим рабочим уже полторы недели ничего не выдавали... Вы про нас не думайте...

Он опять запнулся и замолчал, словно подыскивая, что сказать дальше. Но не нашел, вдруг повернулся и, как-то странно прикрыв лицо ладонью, быстро полез по лесенке вниз с будки.

— Да мы и не думаем! — крикнул из толпы чей-то звонкий голос.

Но он, не оборачиваясь и не открывая лица, шел по палубе прямо к пристани.

— Звягин, скажи ему, что мы не думаем, — закричали со всех сторон. — Что же ты с ним так, Звягин?

Дядя Данила вздрогнул.

— Постой, товарищ! — крикнул он ему вслеп и, видя, что тот не останавливается, поспешно слез с будки и побежал за ним.

Он догнал его уже на пристани.

— Нет, ты постой, товарищ!

Кинешемец обернулся и остановился. Дядя Данила взял его за руку.

— Будь здоров! — сказал ему дядя Данила. — А про нас не думай! Мы, честное слово, доедем.

Что было здесь дальше, Катя не видала. Она вдруг решила сбегать на заднюю баржу, пока там никого нет. Ей почему-то пришло в голову, что как раз сейчас, когда на задней барже никого нет, она найдет его там. И она побежала через пристань.

В ту самую минуту, когда она взбежала на пустую палубу задней баржи, из трюма поднялись двое незнакомых мужчин в серых халатах, таща носилки, на которых кто-то лежал.

Катя замерла. Кого они несут?

Нет, не его!

На носилках лежала женщина, незнакомая. Глаза женщины были закрыты.

Где же он? И Катя кинулась к широкому отверстию, ведущему в трюм.

И Виктор Иванов поднялся из трюма ей навстречу.

Он был здоров, он нес носилки вместе с девушкой по имени Тася, той самой, что спала в Ярославле на улице. Незнакомая женщина лежала у них на носилках.

Катя остановилась. Он глянул ей в лицо светлыми мягкими глазами и, видимо, не узнал ее, не припомнил.

— Посторонитесь, пожалуйста! — вежливо сказал он ей.

Глава пятая

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ

19

Над медленно ползущими берегами воздух дрожал от зноя. В просторном небе было удивительно светло и сине. Гладкая, словно примасленная поверхность воды сияла ровным блеском. Безветренный воздух застыл. Пена, клокодавшая вокруг колес буксира, резала глаза своей белизной. После Кинешмы с каждым часом становилось все жарче.

На палубе задней баржи негде было укрыться от солнца. Женщины неподвижно лежали. Разговоры примолкли давно. И широкое отверстие, ведущее в трюм, казалось все заманчивее своей темнотой и прохладой.

Однако никто туда не заглядывал, не спускался. Тревожный запах карболки выходил оттуда. Уже все знали, что в трюме ночь провели больные и что трюм заражен. Страшное слово «тиф» было у всех на уме, хотя никто не произносил его вслух.

Но Катя думала не о тифе.

Она лежала на спине рядом с Маней Борисовой, вытянув босые ноги, подложив руки под голову, и смотрела в небо. И думала она о том, что Виктор находится в трюме вместе с девушкой, съевшей гнилую селедочную голову, и еще с одной, черной, желтолицей, злой, никому не известной. Они провели там втроем всю ночь, ухаживая за больными, и опять вернулись туда, после того как в Кинешме больных отправили в тифозный барак.

Быть может, Кате тоже спуститься в трюм? Она спустилась бы не колеблясь. Чего бояться? Заразы? Глупости! Вот только что все увидят и догадаются... Катя ужасно боялась, как бы не догадались... И все-таки Катя спустилась бы, несмотря ни на что. Она спустилась бы не колеблясь, если бы он узнал ее тогда,

в Кинешме, когда тащил носилки. Но он не узнал ее, он посмотрел на нее так, словно она была столбом или камнем. Как же ей теперь спуститься в трюм?

Маня Борисова, лежавшая рядом с ней, поглядывала на нее исподтишка.

— Ты что, Маня?

— Я ничего.

— Ты о еде не думай, тогда легче будет.

— Я знаю. Я и не думаю.

Какая тоненькая у Маньки рука, страшно смотреть; вдвое тоньше, чем у Кати! Молчит Манька, не жалуется, она ни за что не пожалуется и только поглядывает время от времени на Катю. И отчего это она так поглядывает? Уж не догадывается ли она? Катя холодела при мысли, что вдруг кто-нибудь догадается. Как бы так сойти в трюм, чтобы никто не подумал, будто она сошла ради него? Чтобы и он не подумал?

Так тянулся этот день, голодный и безрадостный. И давно уже он начал клониться к вечеру, и даже жара уже стала спадать, когда вдруг возле входа в трюм Катя заметила Варвару Петровну Козину.

В руке Варвара Петровна держала одну из своих корзинок. Возле входа она остановилась, обернулась и окинула всю палубу торопливым и тревожным взглядом. Но, решив, видимо, что за нею никто не следит, она снова придала своему лицу обычное надменное выражение и, не сгибая головы, спустилась по наклонной доске в трюм.

20

Не одна только Катя видела, как Варвара Петровна спустилась в трюм; видел это и Данила Звягин. Катя следила за Варварой Петровной с одного борта, а дядя Данила — с другого. И, когда Варвара Петровна сошла вниз, глаза их встретились.

По правде сказать, Катя уже довольно давно заметила, что дядя Данила как бы случайно все время бродит вокруг входа в трюм: подойдет, постоит, оглянется в нерешительности и нехотя пойдет прочь. Ему, очевидно, так же как Кате, хотелось сойти в трюм, и, так же как Катя, сделать это он не отваживался. Почему? Катя не знала. Она только смутно догадывалась, что отношения между Виктором и дядей Данилой очень непросты. Что-то

там было такое между ними, тяготило дядю Данилу. Катя слишком хорошо знала, чтобы этого не заметить.

Словом, дядя Данила все время бродил вокруг входа в трюм, точно заколдованный, и, когда Варвара Петровна, думая, что ее никто не видит, спустилась по наклонной доске, он чрезвычайно взволновался. Три раза обошел он вокруг входа в трюм и даже поставил ногу на доску. Тут встретился глазами с Катей. Встретившись глазами с Катей, он поспешно убрал ногу. Однако, точно испугавшись, как бы эта поспешность не выдала его, он опять поставил ногу на доску и слегка подвинул доску небрежным движением сначала в одну сторону, потом в другую, словно поправляя. Затем, видя, что Катя продолжает смотреть на него и что ее в обманешь, нахмурился, отвернулся и пошел прочь, громко стуча сапогами.

Катя вдруг почувствовала, что медлить больше нельзя:

— Дядя Данила!

Она вскочила и побежала за ним вдоль палубы, стараясь не наступить на лежавших женщин.

Он остановился и подождал ее, хмурый, небритый, сгорбленный.

— Чего тебе? — спросил он.

— Дядя Данила, что ж те две девушки с дни сидят?

О Викторе она не упомянула, будто даже не знала, что он тоже в трюме.

— Какие девушки?

Он сделал вид, что не понял, о ком она говорит.

— А там, внизу...

Он помолчал, подумал. Потом спросил:

— А ты их знаешь?

— Одну знаю.

— Черную?

— Нет, другую.

Он внимательно посмотрел ей в глаза и сказал как мог равнодушнее:

— Я схожу вниз, посмотрю, не надо ли им чего.

— Я бы позвала их наверх, — сказала Катя. — Пускай посидят с нами. А то нехорошо как-то.

— Я схожу вниз, позову их, — поспешно сказал дядя Данила.

Он, видимо, испугался, как бы Катя не вздумала пойти вместо него, и быстро направился к входу.

— Я пойду с тобой, — сказала Катя.

Дядя Данила уже поставил ногу на наклонную доску.

— Тебе нельзя, — сказал он. — Там за-
раза.

Но Катя промолчала, словно не слышала.

И, когда он спустился вглубь, в темноту, пошла вслед за ним.

В первую минуту тьма трюма показала ей непроглядной. Она потеряла из виду даже дядю Данилу и остановилась внизу у конца доски, не зная, куда идти. И в этой тьме, совсем близко, она услышала дребезжащий, злой бабий крик:

— Воровка!

И сейчас же низкий и спокойный женский голос ответил:

— Врешь!

— Я тебя знаю! — крикнул голос дребезжащий и высокий.

— Я тебя тоже знаю, — ответил голос спокойный и низкий.

— Воровка!

— Не надо так говорить, — вдруг произнес мягко и укоризненно третий голос, мужской.

К этому времени катины зрачки расширились, и она стала кое-что различать. Прежде всего она разглядела Варвару Петровну, которая стояла посреди трюма, вытянувшись во весь свой рост. Прямо перед Варварой Петровной стоял Виктор, загородив от нее Тасю.

Они только сейчас заметили Звягина и Катю и сразу замолчали. Звягин остановился. Остановилась и Катя. Так они все стояли в полном молчании, не зная, с чего начать.

Раньше всех овладела собой Варвара Петровна.

— Товарищ Звягин, — сказала она любезным голосом. — Меня тут чуть не обокрали. Вот эта хотела меня обокрасть! — Варвара Петровна протянула руку и двинулась вокруг Виктора, пытаясь указать пальцем прямо на Тасю, но Виктор топтался перед ней и поворачивался, старательно заслоня Тасю своей спиной. — Я ее давно знаю. Она подкралась ко мне в темноте, чтобы меня обокрасть.

— Неправда, — сказала Тася, — я просто смотрела, как она ест.

После этих странных и неожиданных слов опять наступила тишина. Все словно задохнулись и молча смотрели на Варвару Петровну.

Варвара Петровна тоже сперва молчала. Потом прошептала, глядя на Тасю:

— Я свое ела, дрянь, не твое!

Однако она, видимо, поняла, что этим только выдала себя, и, вероятно, испугалась, так как вдруг попятилась, согнувшись. Теперь всем было ясно, зачем она спустилась сюда и что делала здесь тайком в темноте. Взор ее торопливо перебегал с одного лица на другое, ища сочувствия или хотя бы снисхождения. Но люди, стоявшие перед нею, уже очень давно ничего не имели во рту. Они угрюмо смотрели на нее и молчали.

Тогда Варвара Петровна опять улыбнулась Звягину.

— Она панельная, товарищ Звягин. Вы, верно, не знаете, а я давно хотела вам рассказать, — сказала Варвара Петровна любезно. — Я даже сидеть с ней рядом считаю за срам, и вы, ясное дело, тоже глядеть на нее не станете. Я взяла с собой из дому несколько картофельных котлет. «Дай, — думаю, — захвачу! Сама поем в дороге и хороших людей угощу». — Она подошла к Звягину вплотную и так понизила голос, что ее едва было слышно: — Одна для вас, а другая для вашей племянницы.

— Я не возьму! — крикнул Звягин отрывисто.

И, точно боясь, как бы Катя не согласилась взять котлету, прибавил еще громче: — Она не возьмет!

Варвара Петровна выпрямилась. Держа правой рукой свою корзинку, она левой подобрала подол юбки.

— А было время, ты моим хлебом не брезговал, — презрительно сказала она Звягину.

И после загадочных этих слов прошла мимо него.

— Расступись, грязь, едет князь! — произнес вдруг хрипый, насмешливый голос, и в темноте блеснули большие серьги.

Варвара Петровна двинулась вверх по наклонной доске. Свет, падавший из отверстия, озарил пучок жидких волос, в который вставлены были шпильки, и узкое лицо с надменно поджатыми, тонкими губами.

И она исчезла.

Когда ноги Варвары Петровны в башмаках на пуговицах скрылись вверху, Звягин взглянул на Виктора, а Виктор взглянул на Звягина. «Они сейчас заговорят, —

подумала Катя с надеждой и тревогой. — Только бы они помирились, только бы дядя Данила не стал его задевать». Действительно, им явно очень хотелось заговорить друг с другом. Впрочем, Виктор хотя и смотрел на Звягина с дружелюбием и готовностью, но, очевидно, не знал, с чего начать, и ждал, что тот начнет первый, а Звягину, как назло, никакие слова не шли на ум. Они молчали, молчание затягивалось. Звягин уже начал хмуриться, и катино беспокойство росло.

Но тут девушка Шиша вышла из мрака и подошла к Звягину.

— А ты о ее котлетах не горюй! — сказала она ему. — Я в Нижнем свои серьги на хлеб у спекулянтов выменяю и всех угощу.

Звягин с облегчением отвернулся от Виктора и повернулся к ней.

— Ты что ж не веришь, что нам в Нижнем хлеб дадут? — спросил он.

— Я неверующая, — ответила девушка Шиша. — Самой богородице не верую.

Звягин поглядел на нее строго.

— Отчего вы наверх нейдете? — спросил он. — Наверху лучше.

— Нам и здесь хорошо, — тихо сказала Шиша.

— Вам здесь плохо, — сказал Звягин. — И плохо, что вы людей сторонитесь. Идите наверх!

— Нам там делать нечего, — сказала Шиша. — Мы им неровня. Мы им только вид испортим.

И не понять было, что звучит в ее словах: злость, насмешка или, быть может, грусть?

— Врешь! — крикнул Звягин, свирепея. — Врешь, дура! Кто тебя научил? Здесь все ровня!

Тут Виктор заговорил, наконец.

— Они придут, — торопливо сказал он. — Вы ее не слушайте, они придут! И я приду. Дайте мне какое-нибудь дело, какое-нибудь поручение. Я человек неумелый, мне указывать надо, я это отлично сознаю. — Он очень спешил, он хотел, чтобы все, все возможно скорее стало ясным до самого конца. — Вы мне указывайте, и я буду делать.

Он был очень взволнован и положил руку Звягину на рукав. И Звягин ответил ему ворчливым, счастливым голосом:

— Ну, ну, об том толковать нечего! Ты

ли, я ли... Мы оба, все равно. Ну, приходи, приходи!

Он все пятился и, наконец, очутился у конца доски. Он, кажется, был очень доволен. Ступив на доску, он повернулся и поспешно ушел наверх на палубу.

Он исчез так быстро, что Катя растерялась. Она не знала, как ей быть: идти за ним или остаться? Она нерешительно постояла, потом, словно опомнившись, побежала вверх по доске.

— Погодите! — крикнул ей Виктор.

Она остановилась на середине качавшейся, наклонной доски и посмотрела на него сверху.

— Вы, кажется, не узнаете меня? — сказал он.

Он, видимо, был очень возбужден своим примирением со Звягиным и, уж раз начав, никак не мог остановиться, все хотел разъяснить, уладить, исправить до конца. Она стояла на доске, и глаза его, устремленные на нее снизу, из сумрака, блеснули.

— Я встретил вас на палубе в Кинешме, когда тащил носилки, и мне показалось, что вы не узнали меня, — сказал он.

Она смутно слышала его слова, кровь стучала у нее в ушах.

— Нет, я узнала вас... — сказала она ему.

Она хотела объяснить ему, что думала. Будто это он ее не узнаёт, она хотела остаться здесь в трюме, но, как назло, ноги не послушались и понесли ее, и она выбежала на палубу.

Глава шестая

ДОЧЬ НАЧАЛЬНИКА СТАНЦИИ

22

Тонкое горло Мани Борисовой дрогнуло, она проглотила слюну. «Как ей хочется есть! — подумала Катя. — Как им всем хочется есть!» — думала она, следя за беспокойными движениями женщины, за бесцельными их похаживаниями по палубе. Во время дневного зноя все лежали, а теперь, когда стало прохладнее, почти все были на ногах и беспокойно слонялись из конца в конец.

Кате тоже хотелось есть.

Солнце опустилось совсем низко и огромным, красным шаром повисло за кормой, разметав по небу и по воде такое пламя, что за корму было трудно смо-

треть. От низких, топких островов, заросших ивами, от склоненных над водой берегов и осин уже тянуло холодком.

Недалеко от Кати возле кормы собрались девчонки и тоскливо смотрели на закат. Среди них особенно бросалась в глаза рыжая Верка — костлявая, угловатая девушка с яркокрасными волосами, которые казались еще красней на закате. У рыжей Верки и лицо было рыжее — все в веснушках.

К девчонкам подошла Устинья Горячева. Она хотела их развеселить и принялась поддразнивать Верку.

— А веснухам твоим ничего не делается, цветут! — сказала она. — Им все ни-почем.

Девчонки чуть-чуть усмехнулись. Не усмехнулась одна только Верка.

— А правда, что за границей умеют кожу сдирать и новую приращивать? — спросила она Устинью задумчиво.

— С тебя там за каждую твою веснушку по золотой николаевской десятке возьмут, — сказала Устинья.

Кругом опять усмехнулись. Кто-то подал Верке совет мыть лицо крутым кипятком. Но оживления хватило на несколько минут. Девчонки смолкли и с прежним унынием уставились на закат.

Катя пыталась заставить себя лежать рядом с Манькой; но лежать было труднее всего. Она вскочила и стала слоняться вокруг входа в трюм. Где же он, отчего он так долго не идет?

Она ждала его с нетерпением и в то же время страшилась его прихода. Ей казалось, что если он снова заговорит с нею, она опять от ужаса не ответит ему ни слова и убежит.

Она считала, что он не узнал ее, а он, оказываясь, считал, что это она его не узнала. . . Сердце ее стучало с размаху, когда она думала об этом. Но всякий раз, когда она думала об этом, со странной неизменностью вспоминала она лицо девушки Таси, еле видное во мраке, и Варвару Петровну, кричавшую: «Воровка», и Виктора, заслонявшего девушку Тасю от Варвары Петровны своей спиной. И тоска охватывала ее.

Она слонялась вокруг входа в трюм до тех пор, пока ей не стало казаться, будто все догадываются, кого она ждет. Тогда она ушла далеко, на самый нос баржи. Она стояла на носу, спиной к закату, и смотре-

ла вперед, через первую баржу, в темнеющий край неба. Буксир неумоимо бил воду лопастями колес, слегка сворачивая то вправо, то влево, и канат, соединявший обе баржи, то натягивался, то повисал почти до воды. Река была удивительно спокойна, и перевернутое зубчатое отражение леса было таким же отчетливым, как настоящий лес. Катя старалась оборачиваться как можно реже. Ей почему-то казалось, что она и не глядя почувствует, когда он выйдет на палубу.

Однако не почувствовала.

— А я-то все ищу вас! — раздался его голос над самым ее ухом.

— Ох! — сказала она от неожиданности.

23

Она медленно пошла рядом с ним. Он что-то говорил, но от волнения она его не понимала. Ей казалось, что вся баржа смотрит на нее.

— . . . Вы извините, что я с вами так запросто, — слышала она словно сквозь сон его голос. — Я ведь здесь еще никого не знаю.

«О чем это он? Только бы не пришлось отвечать, — думала Катя. — Хоть бы сестра где-нибудь, чтобы не так было видно, хоть бы чем-нибудь заслониться». Но на палубе не заслониться, не спрячешься, и они медленно, на виду у всех, шли вдоль борта, переступая через ноги лежавших женщин.

— . . . Мне дьявольски хочется есть, так хочется есть, что просто терпеть невозможно, — слышала Катя его голос. — От голода все кругом кажется прозрачным, легким, ненастоящим. Вы тоже это ощущаете? Не то что ненастоящим, а странным.

Они приближались к корме. Огромный закат висел за кормой. Волга пылала во всю ширь от одного берега до другого, и казалось, будто баржа плывет по пламени. На корме собрались девчонки и смотрели на закат. Пламя заката странно и зловеще озаряло их бледные лица.

— . . . И все словно мечта какая-то, — говорил он, — и революция, и голод, и необычайное плаванье по бесконечной реке неизвестно куда, и ночь в черном трюме, где больные женщины хватают меня за руки горячими пальцами. . .

Когда Катя и Виктор подошли, несколько тоненьких девичьих голосков затянули

песню. «Нас три сестры, одна за графом, другая герцога жена», — пели они. Убогая эта песня под просторным небом, охваченным пламенем, звучала бесприютно. «А я всех лучше и моложе простой рыбачкой быть должна», — пели они. Позади девчонок, в стороне от всех, сидели на досках палубы Шиша и Тася. Тесно прижавшись друг к другу плечами, они молчали и слушали, одинокие. То одна из покоющих девчонок, то другая тайком оборачивалась и с любопытством взглядывала на них.

Катя ждала, что Виктор сейчас подойдет к ним. Он, однако, прошел мимо и, продолжая говорить, повел Катю вдоль другого борта к носу баржи. Катя почувствовала облегчение, когда корма и обе чужие девушки остались позади.

— Вам не смешно, что я так возвышенно говорю? — спросил он вдруг.

Катя перепугалась смертельно, потому что от волнения совсем не слышала, о чем он говорил. Сказать: «Смешно»? Но ей было вовсе не смешно. Сказать: «Не смешно»? Она молчала.

— А мне смешно, — сказал он и рассмеялся. — Потом будет неловко, а сейчас несколько.

Они дошли до носа баржи и остановились. Две их длинные тени, неясные и лиловатые, бежали по воде и исчезали где-то вдали. Буксир полз вдоль высокого, холмистого берега; берег был уже темен, и только одинокая сосна на вершине холма пылала как свеча.

С другого конца баржи внезапно донесся странный звук. Виктор обернулся. Катя обернулась тоже.

Девчонки на корме сбились в кучу. Они уже больше не пели, они слушали.

Одинокий женский голос, хрипчатый и низкий, пел незнакомую песню.

— Пойдемте! — сказал Виктор, схватив Катю за руку.

Он потащил ее на корму.

Там стояла девушка Шиша и пела.

24

Лицо ее было еще бледней, чем обычно; впрочем, быть может, так только казалось на закате. Темные глаза ее блестяли дерзко и вызывающе, но сквозь эту дерзость проглядывало что-то напускное, неуверенное. Окружала ее целая толпа. Теперь здесь, на корме, были не одни

девчонки, а и пожилые ткачихи. Сам Данила Звягин присутствовал; он стоял прямо перед Шишей, слегка расставив ноги, приоткрыв рот и глядя на нее с изумлением. И Устинья Горячова была тут, и стояла она в стороне и словно пряталась за спинами других женщин.

Шиша пела странную, никому неведомую песню о необыкновенной любви дочери начальника станции к одному военному. Военный разлюбил дочь начальника станции, насмеялся над ее любовью. Слушали Шишу молча, с жадным любопытством, но настороженно: она была чужая и очень уж не похожая на этих фабричных женщин и девушек. Однако на многих лицах было и сочувствие, не столько, впрочем, к ней, сколько к несчастной дочери начальника станции.

— А Тасю вы знаете? — вдруг шопотом спросил Виктор, нагнувшись к катиному уху.

Катя все время предчувствовала, что он непременно заговорит о Тасе, и вот он заговорил.

— Знаю, — ответила Катя.

Среди возбужденных лиц, окружавших певшую Шишу, Катя давно уже видела спокойное, неподвижное лицо Таси. Тася безучастно смотрела на закат, на слушающих женщин и девушек, на Шишу, на Катю с Виктором.

— Она как мертвая, — сказал Виктор тихонько. — Ей все равно. Заметили?

— Заметила, — сказала Катя, подумав. — Она на все отвечает: «Вот еще! А мне что!»

Катя осторожно посмотрела вокруг, не прислушиваются ли к их разговору. Но все слушали только Шишу. Военный разлюбил дочь начальника станции, насмеялся над ее любовью, и дочь начальника станции кинулась под колеса паровоза. Военный раскаялся, военный вытащил ее из-под колес, но было уже поздно.

— Она ко всему равнодушна: к голоду, к тифу, к смерти, — говорил между тем Виктор. — Вот Шиша — та другая. В Шише хоть злости много. Помните, она сказала: «Я неверующая»? Это она не про богородицу, а про людей, — она не верит, что от людей можно ждать чего-нибудь доброго. Она ни от кого никогда доброго не видела, вот и злится, но пригрей ее немного — и она отойдет. При всей своей злости она, глядите, уже поет. А у той

даже злости нет, так что и отходить нечему. Мертвая, мертвая!

Песня Шиши, между тем, приближалась к концу. Военный, раскаявшись, вытащил дочь начальника станции из-под колес, но было уже поздно — она умирала. Умирая, дочь начальника станции говорила своему военному:

Поцелуй мои стывшие щеки,
Поцелуй еще раз, еще раз!
Приклони свою голову к груди,
На которой увяла любовь!

Данила Звягин, заслушавшись, пододвинулся к Шише все ближе, и когда она, кончив петь, замолчала, он долго еще стоял неподвижно, прямо перед нею, с выражением восхищения и печали на лице. Впрочем, все были взволнованы песней, и никто не обратил бы на Звягина никакого внимания, если бы не раздался вдруг насмешливый голос Устиньи Горячовой.

— А наш-то Данила каков! — сказала Устинья, глядя на Шишу недобрыми глазами. — Так к ней и подъезжает. Знает, небось, что единственный кавалер на барже!

Она рассмеялась, но все это вышло у нее как-то некстати, и никто ее смеха не подхватил.

Лицо Шиши дернулось, потом сразу стало презрительным и нахальным.

— Потерять боишься? — спросила она Устинью голосом необыкновенно грубым, совсем не тем, каким только что пела песню. — А мне он не нужен! Бери!

Круглое лицо Устиньи стало красным и мокрым, а губы побелели.

— Да ты что говоришь, дура? — закричала она. — Будто мне он нужен! Да тфу!

Глаза ее от стыда сделались еще злее. У Шиши тоже были злые глаза. Так они стояли и смотрели друг на дружку злыми глазами.

Неизвестно, чем бы это кончилось. Но тут вдруг произошло общее замешательство, совершенно для Кати непонятное.

Женщины двинулись, завертели и заслонили от Кати и Шишу и Устинью. Дядя Данила, озабоченно расталкивая женщин и стуча сапогами, побежал куда-то по палубе. Катю закружили, и, когда она оглянулась, Виктора уже не было рядом с нею.

Она принялась искать его, побежала к одному борту, потом к другому и вдруг далеко, возле самого входа в трюм, уви-

дала его голову, плавшую над платочками женщин.

Все население баржи было на ногах, даже старухи поднялись со своих налѣжанных мест; и все отовсюду хлынули к середине баржи, к темному люку, ведущему в трюм.

Катя, отчаянно протискиваясь сквозь толпу, вырвалась вперед.

Перед самым люком было широкое пустое пространство, словно заколдованное: никто не решался на него ступить. Посреди этого заколдованного пространства, склонясь над люком, стояли Виктор и Тася. Они осторожно спускали в трюм женщину с запрокинутой головой, простоволосую, с распущенными волосами. Женщина была в беспамятстве.

«Опять тиф», — поняла, наконец, Катя.

На наклонной доске в люке стояла Шиша. Она приняла женщину на руки и спустилась с нею в трюм, во тьму. Потом Тася спустилась в трюм по наклонной доске. За Тасей стал спускаться Виктор.

Катя вырвалась из толпы, прошла через пустое пространство и поставила ногу на наклонную доску. Она тоже хотела спуститься в трюм.

Виктор остановился на середине доски обернулся, посмотрел снизу на Катю неузнающими глазами и сказал:

— Сюда нельзя!

Катя послушно повернулась и пошла прочь.

Она снова прошла сквозь толпу и вышла на корму. Там она села одна, повернувшись к барже спиной.

Закат становился темнее и багровее с каждой минутой. Внизу среди багровой воды всё разрастались извилистые черные полосы. Быстро темнело.

Когда стемнело совсем, рядом с Катей тихонько уселась Маня Борисова. Робко и понимающе заглядывала она сбоку в смутно белевшее катино лицо.

Глава седьмая

ВАРВАРА ПЕТРОВНА ТРЕБУЕТ БЛАГОДАРНОСТИ

25

В Нижний прибыли на другой день к трем часам и привезли два трупа. Две женщины, не фабричные, с биржи труда. Виктор и Тася вынесли их из трюма на рогоже, сначала одну, потом другую. Тка-

чихи, столпившиеся на палубе, расступились молча. Покойниц по сходням через пристань отнесли на берег и положили на мостовую в тени какого-то сарая, прикрыв рогожами. Там, на булыжниках, они лежали рядом, выставив из-под рогож только босые ноги с желтыми пятками. Сначала у одной были туфли, но кто-то из прохожих сорвал их с ее ног и унес.

Потом из трюма вынесли больных. Их было три, и две из них — ткачихи, известные всем. Пока их несли по палубе, женщины молчали, сдерживались. Но когда их положили в телегу на сено и телега, подскакивая на камнях, потащила их вверх по скату в незнакомый город, в тифозный барак, какая-то девчонка не выдержала и заплакала в голос, и вой ее сразу подхватили десятка два голосов.

— Тише вы, дуры! — крикнула Устинья Горячова, боясь, как бы дальше не пошло и как бы не завывли все восемь сотен женщин.

Но дальше не пошло. Ткачихи угрюмо и неодобрительно смотрели на плачущих. И когда телега скрылась за поворотом — все смолкло.

Звягин при этом не присутствовал, он ушел куда-то в город выяснить, дадут им, наконец, хлеба или не дадут. Женщины не ели ничего уже двое суток. Странным казалось, что еще вчера вечером многие могли петь. Сейчас, хмурые и ослабевшие, они кучкой сидели на берегу, прячась от солнца в тени пристаней и складов и двигаясь только тогда, когда тень уходила на новое место.

Устинья Горячова сделала отчаянную попытку отвлечь ткачих от мыслей о голоде и занять их, пока Звягина нет. Громким голосом предложила она всем желающим подняться вместе с нею в город и посмотреть знаменитый Нижегородский откос. Но пойти с нею согласилось всего несколько девчонок.

Катя осторожно бродила вокруг входа в трюм, стараясь, чтобы это не очень бросалось в глаза. Она ждала Виктора. Но Виктор из трюма не выходил. Одна только Тася несколько раз появлялась на палубе с ведром в руке. Все ее сторонились. Зараза! Она все время с мертвыми, с больными. Однако посматривали на нее с уважением: дело не маленькое — ухаживать за тифозными. Тася, ни на кого не глядя, опускала на веревке ведро за борт и, наполнив его, уносила воду в трюм.

По шлепанью и шарканью, доносившимся из трюма, можно было догадаться, что там моют пол.

Когда Устинья предложила девчонкам пойти посмотреть на откос, Маня Борисова сразу согласилась и позвала Катю. И Катя, слегка пристыженная, послушно побрела за нею.

Они шли сначала вдоль трамвайных путей, потом свернули в сторону, заблудились и очень скоро попали на какую-то крутую деревянную лестницу. Лестница оказалась бесконечной — не лестница, а целая улица из гнилых деревянных ступенек, по бокам которой были дома, церквушки и даже лавка, где продавали образки с троерукой казанской богородицей. Многие ступеньки были сломаны, некоторых совсем не доставало, и кое-где приходилось ползти на четвереньках. Не прошли и трети пути, как уж все захались и выбились из сил. Манька Борисова совсем отстала, и ее долго поджидали, сидя на ступеньках и тяжело дыша. Однако лучше было мучиться здесь, на тяжелой этой лестнице, чем торчать без всякого дела внизу, у постылых пристаней, и ждать Звягина. И они ползли все выше и выше вслед за Устиньей Горячовой и, наконец, добрались до плоского места, и большой незнакомый город, пустынный и полный ветра, открылся перед ними.

Какими-то закоулками вышли они к кирпичным стенам кремля, над которыми в ясной синеве металась ласточки. Они обшли кремль кругом и замерли, пораженные простором.

Внизу, под зелеными кручами, огромная Ока, выйдя из-за поворота, сходилась с огромной Волгой. Воды их, различные цветом, соединяясь, долго не сливались, по-разному блестя и по-разному отражая небо. А там, в неизмеримой дали, за ширью двух соединенных рек, до самого горизонта тянулась зеленая земля, такая пустынная, русская и всем родная, с такими темными пятнами лесов и такими синими впадинами оврагов, что Устинья вдруг сказала: «Ох» и села на траву. И все поняли ее и, не отрывая взгляда от далей, уселись рядком на траве, чувствуя необыкновенную близость и к этому простору и друг к другу.

— А вон наши баржи! — сказала Манька вполголоса, как в церкви, и дотронулась до катиного плеча.

Действительно, и буксир и баржи, сто-

явшие возле берега, были отсюда отлично видны. Они казались на удивление маленькими, точно лодочки. Вглядевшись, можно было различить пестрые платочки ткачих, попрежнему неподвижно сидевших в ожидании на палубах и на берегу вокруг пристаней. . .

Возвращались не по лестнице, а по легкой пологой дороге, которая, извиваясь, ползла по склону. И подошли к пристани как раз в ту минуту, когда туда подъехал прикрытый брезентом воз с печеным хлебом. Рядом с возом шел Звягин, измученный, похудевший за один день. Нижний дал шесть с половиной пудов хлеба — немного более четверти фунта на человека. И послал телеграмму в Казань.

Вызвали сороковых. Хлеб раскрошили, раздали и съели в несколько минут.

День шел к концу, солнце уже садилось. Снова наступал вечер. Сняли сходни, буксир засвистел, взбивая тяжелую пену колесами, натянулись канаты, и баржи медленно поползли вдаль.

От съеденного хлеба стало только хуже — никогда еще голод не мучил так, как в этот вечер. Быстро темнело. Здесь, в Нижнем, ночь начиналась раньше, чем в Ярославле, и звезды были ярче. Едва темный город скрылся за поворотом, как выяснилось, что среди пожилых ткачих двое больны. Они, конечно, заболели давно, когда баржа стояла еще у пристани, но скрыли свою болезнь из боязни попасть в тифозный барак. Сидевшие рядом с ними женщины все видели с самого начала, однако никому не сказали и даже нарочно заслоняли их от всех своими спинами. Теперь же, когда баржа отчалила, скрывать больше не имело смысла; да и как скрывать, — одна из заболевших уже бредила вслух. И вся баржа, притихнув, смотрела, как Звягин вызывал девушек из трюма и как эти девушки относили больных в трюм.

Впереди над Волгой висела туча, большая и темная. Она поднималась все выше к зениту, и звезды пропадали одна за другой. Становилось темнее и темнее, и женщины, неподвижно сидевшие на палубе, были едва заметны во мраке.

26

Виктор Иванов жил в трюме.

Теперь, когда всем стало ясно, что тиф срочно поселился на баржах, Виктора

стали сторониться, потому что он все время был с больными. Так, по крайней мере, ему казалось, и он старался как можно реже выходить наверх. Пожалуй, он был этим даже доволен — в трюме некому на него глазеть.

Странная была у него жизнь! На полу фонарь с мигающим фитилем. При каждой мигании тьма обступала вплотную, а когда фитиль разгорался — из тьмы вылазали, одно за другим, гигантские деревянные ребра баржи, кривые, с какими-то буграми и загогулинами, за которыми прятались подвижные, глубокие, черные тени. Плеск воды, неумолкающий, похожий на живой разговор человеческих голосов, звучал со всех сторон, даже сверху, но его заглушали бормотание, вскрики и бреды больных — удивительные бреды, полные диковинных мечтаний и страхов, в которые невольно и сам начинаешь верить, особенно если задремлешь. А тут еще голод и вызванное голодом постоянное головокружение, от которого все казалось еще страннее.

Его тянуло уступить этому головокружению, этой все возрастающей слабости, всем этим странностям, обступившим его со всех сторон, но отдать себя им во власть ему мешала мысль о тифе.

При мысли о тифе он сразу трезвел.

Он понимал, что тиф, поселившись на баржах, работает как машина, что каждый день будут новые больные и новые трупы. Сначала заболели только женщины, присланные биржей труда, потом стали заболеть ткачихи. Сначала заболели только на задней барже, потом стали заболеть и на передней, и всякий раз, для того чтобы перенести больную с передней баржи на заднюю, приходилось останавливать буксир посреди реки. Он понимал, что если тиф сейчас не победишь, заболеют все восемьсот человек; но как его победить, он не знал.

За себя он не боялся; даже не думал о том, что и он сам может заболеть; возможно, оттого не думал, что очень много болел в своей жизни и даже находился несколько раз при смерти. Он привык к болезням и от долголетней привычки перестал их пугаться.

Он усердно изобретал разные меры, которые могли бы предотвратить распространение болезни. Нужна, например, возможно более полная изоляция больных от здоровых. Тут кое-чего достигнуть уда-

лось: испуг перед тифом был так велик, что в трюм никто из здоровых не спускался кроме Звягина. Хороша еще дезинфекция. В Кинешме санитар из тифозного барака, приезжавший за больными, оставил Виктору бутылку с карболкой, и Виктор столько разбрызгал и расплескал этой карболки, что провонял весь трюм. В Нижнем во время стоянки, когда больных и мертвых вынесли, он вместе с Шишей и Тасей вымыл пол в трюме на просторстве десятка квадратных саженей. Это оказалось каторжно-трудным делом, потому что никакого пола, в сущности, не было, а было неровное, щербатое дно баржи, которое обросло всякой дрянью: смолой, глиной, соломой, солью, рыбьей чешуей, опилками, щепками и чорт его знает чем еще. После мытья пола Виктор долго не мог разогнуть спину и сидел скорчившись. Но хуже всего было то, что он нисколько не верил в пользу всех этих мер, хотя сам их придумывал.

Он отлично знал, что заразу разносят вши. А вши были у всех, и у него тоже. На барже уберечься от вшей невозможно. Там, наверху, на палубе, все женщины лежали вповалку, и вши свободно переползали от уже заболевших к еще здоровым. Как с ними бороться? Стиркой? Для стирки не было ни горячей воды, ни мыла. Многие женщины полоскали свои грязные тряпки за бортом, спуская их в Волгу на баграх, а потом раскладывали для просушки на пригретых солнцем палубных досках. Но что за толк в такой стирке? Толку не было ни в чем; он знал, что все выдумки бесполезны. Оставалось только уступить головокружению и сидеть неподвижно, глядя в мигающий фонарь да прислушиваясь к плеску воды и бормотанию больных, пока баржи медленно ползут навстречу смерти по огромной пустынной реке.

И все-таки Виктор затевал то мытье, то дезинфекцию, то уборку и притворялся, что рассчитывает вот-вот изобрести средство, прекращающее распространение тифа. Он притворялся ради человека, который был удивительно несчастен в эти дни. Ради Звягина.

Звягин был несчастен, потому что считал себя одного ответственным за все.

В трюм он спускался чуть ли не каждый час. Он очень изменился за последние дни — похудел, сгорбил; редкие длинные волосы, которыми он прикрывал свою

лысину, сбились в сторону и стояли дыбом — это придавало его огромной тени, метавшейся по выгнутым стенам трюма, особенно диковинный вид. Он с отъезда не брился, оброс бородой, и оказалось, что борода растет у него на подбородке кустиками. Лихорадочные глаза его смотрели на Виктора умоляюще. И надежда появлялась в них всякий раз, когда Виктор предлагал какую-нибудь новую меру.

Если Виктор говорил ему, что больным нужна вода, он бежал за водой с такой быстротой, словно верил, что эта вода сразу всех исцелит. Если Виктор просил его переменить мешки, на которых лежали больные, он менял их с необыкновенным усердием. Дезинфекции, которую производил Виктор с помощью карболки, он придавал преувеличенное значение, приписывал ей магические свойства. Он надеялся только на Виктора, и Виктор затевал то одно, то другое, так как у него не хватало духу признаться, что он сам не знает, чем можно помочь делу, что он сам ни на что не надеется.

Ночью, бродя без всякой цели в дальнем, темном конце трюма, Виктор отыскал три листа кровельного железа. Он притащил их к фонарю.

— Это ты зачем? — с жадным любопытством спросил Звягин, только что спустившийся по наклонной доске.

— На них огонь разводите можно, — сказал Виктор.

По правде говоря, он еще сам не знал, зачем ему нужен огонь. У него была смутная мысль, что огонь может как-нибудь пригодиться для борьбы со вшами.

— Я тебя понял! — сказал Звягин. — Ты хочешь, чтобы они разделись и выжидали гнид из швов, как солдаты на фронте!

Виктор никогда не слышал о выжигании гнид. Однако не решился в этом признаться. Выжигание гнид... А вдруг тут есть некоторый толк?

Он взял железный лист и пошел по доске наверх.

Звягин немедленно схватил другой лист, но тотчас же выронил его. Лист упал с грохотом.

— Пальцы сегодня скрючило, — сказал Звягин виновато. — Сыро.

Он снова поднял лист, прижал его к себе локтем, и они оба вышли на палубу.

Ночь была темная. Ни одной звезды вверху, тучи закрыли все небо. И костер, запылавший на железном листе, казался

удивительно ярким. В неподвижном, влажном воздухе пламя лениво шевелилось. Женщины просыпались, поворачивали к костру лица, и пламя отражалось в их прищуренных глазах.

— А ну! — крикнул Звягин оглушительно. — Кто начнет?

Виктор вернулся в трюм.

27

На железном листе лежали крест-накрест два полена; желтое пламя вило по их черным бокам. Всё новые женщины раздевались возле этого пламени, и грандиозные их тени двигались по доскам палубы, по воде, озаренной горящими на барже кострами. Кофты, юбки, рубахи, головные платки бережно подносили они к огню, стараясь прогреть каждый шов. Иногда пламя замирало, уменьшалось, и тогда мрак, окружавший его со всех сторон, подступал совсем близко. Но пламя разгоралось снова, мрак пятился, и тогда прежде всего выступали из мрака длинные ноги Варвары Петровны в ботинках на пуговицах.

Варвара Петровна сидела среди старых ткачих неподалеку от огня. В эту ночь старухи не спали; они смотрели на огонь и разговаривали.

— Вот лускают, словно семечки! — сказала одна из старух, с любопытством следя за выжиганием вшей.

— Не хотела бы я здесь заболеть, — громко проговорила Варвара Петровна и многозначительно поглядела вокруг.

— Болеть плохо, — усердно подтвердила старуха, следившая за выжиганием вшей.

Она, видимо, благоговела перед Варварой Петровной и поддакивала каждому ее слову.

— Здесь, говорю, болеть не хотела бы, — строго разъяснила ей Варвара Петровна, особенно нажимая на слово «здесь».

— Ясно, здесь не то, что дома, — сказала старуха.

Но опять не угодила Варваре Петровне.

— Не страданий боюсь, — сказала Варвара Петровна наставительно. — И Христос страдал. К непотребным девкам пошлость боюсь! Вот чего боюсь!

Она торжествующе поглядела по сторонам. Как раз в эту минуту пламя вспыхнуло ярче, и она увидела, что слушают ее

не только старухи. Устинья Горячова стояла совсем неподалеку и прислушивалась к ее словам.

Это сперва как будто слегка встревожило Варвару Петровну. Она, видимо, опасалась, что Устинья оборвет ее, что-нибудь ей скажет. Но Устинья молчала, и Варвара Петровна ободрилась.

— Вошь только с виду поганая, а в ней самой ничего поганого нет, — продолжала Варвара Петровна, теперь уже нарочно так, чтобы ее слышала Устинья Горячова. — А непотребная девка хуже вши, потому что с виду она хороша, а сама поганая. Я всю жизнь себя соблюдала, всякого греха береглась и соблазна, а вот заболела — и сволокут меня вниз, и будут срамные девки трогать меня бесстыжими пальцами. Тьфу!

Она передернула плечами от отвращения. Устинья, опять ничего не сказав, повернулась спиной, пошла прочь и исчезла во мраке. Варвара Петровна усмехнулась ей вслед.

— Я девушка, — продолжала Варвара Петровна, обращаясь уже только к старухам. — Я всегда жила одиноко, соблюдала себя в чистоте. Ко мне многие сватались, ко мне даже купцы сватались, а я не шла.

— И за купцов не шла! — восторженно подхватила старуха, подмазывавшаяся к Варваре Петровне.

— Я жила непорочно, — говорила Варвара Петровна. — А зачем мне была нужна моя непорочность? А нужна мне была моя непорочность ради малых деток непорочных. Всю-то мою жизнь я сирот собирала, кормила, поила, ростила. Одних из воспитательного дома брала, других из деревни, а то, бывало, просто найду на улице, приведу домой и выращу. . .

— Святое дело! — пропела старуха.

— И сколько же я их вырастила! Многие в большие люди вышли. Кабы в нынешний век да была у людей благодарность, я в шелку ходила бы, в серебре да в золоте, как царица жила бы. . .

— Разве понимают в нынешний век благодарность? — поддакивала льстивая старуха спросонья.

— Не понимают, — сокрушенно продолжала Варвара Петровна. — Ты их и кормишь, и поишь, и ночей из-за них не спишь, а они первые же на тебя плюнут. Один только вспомнил, один только доброе слово сказал, да и тот не чужой, не

приемыш, а родственник, своя кровь. А уж какой он был беленький, какой хорошенький!

Ночной мрак поредел, посерел, и пламя костра побледнело. Никто уже над ним не выжигал вшей — на барже все спали. Уже можно было разглядеть берег, тянувшийся смутной полосой. Низкие серые тучи висели над Волгой. Было очень тепло. Варвара Петровна, вероятно, говорила бы еще долго и, возможно, рассказала бы еще много любопытного о своей жизни, но, обернувшись, заметила, что все старухи, окружавшие ее, заснули. Даже лебизившая перед ней старуха — и та уже клевала носом, хотя все еще пыталась поддакивать сквозь сон. Но как раз эту старуху Варвара Петровна презирала и мнением ее не дорожила. Не желая попусту тратить слова, она умолкла.

Однако спать ей не хотелось. Какой-то тайный зуд терзал ее душу, не давал ей покоя. Ее голова на тощей шее поворачивалась то вправо, то влево. Зорко вглядывалась Варвара Петровна в спящих. Вдруг далеко, на самой корме, она уловила какое-то движение. Так и есть, это Звягин. Он сидит, повернувшись спиной ко всей барже, опустив ноги за борт, и как-то странно покачивается. Он не спит.

Лицо Варвары Петровны оживилось. Она встала на четвереньки, потом поднялась во весь рост и, осторожно ступая через ноги спящих, двинулась на корму, к Звягину.

Но, не дойдя до кормы, она увидела Устинью Горячову. Устинья лежала, однако не спала. Глаза ее были открыты.

Варвара Петровна остановилась возле Устиньи.

— Не спишь? — сказала Варвара Петровна.

Устинья взглянула на нее.

— Мужчины скверны, но уж коли наша сестра скверна — так ничего сквернее нет, — сказала Варвара Петровна. — Скверная женщина всегда на хорошего мужчину метит, а он разве может сам разобраться? Его и винить нельзя. За хорошим мужчиной нужен глаз да глаз.

Устинья ничего не сказала, но Варвара Петровна видела, что она ее слушает.

— Я так и знала, что, коли такая тварь заведется, доброго не будет. Сколько горя от такой твари! Вот они сидят внизу, от света хоронятся как змеи, а тянут его к

себе, тянут. И этот с ними снюхался, московский. Сводничает, погубить хочет, чтобы все к своим рукам прибрать. А боже его знает, кто такой! Из господ, видно.

Варвара Петровна испугалась, что хватилась через край, и замолчала. Устинья как будто нахмурилась. Однако не сказала ни слова.

— Женить его надо, — проговорила Варвара Петровна. — Я сама ему первая скажу: полно срамиться, женись, Данила!

Варвара Петровна замолкла, ожидая, не проговорит ли Устинья чего-нибудь. Но Устинья и теперь промолчала. Помедлив немного, Варвара Петровна побрела дальше, к корме, к Звягину.

Она старалась не шуметь, чтобы не вспугнуть его раньше времени. Беззвучно остановилась она у него за спиной и глянула вниз через его плечо.

Его руки с изуродованными ревматизмом пальцами лежали на коленях. Они, видимо, мучили его — он поворачивал их то ладонями вверх, то ладонями вниз и раскачивался от боли.

— Ноют? — спросила Варвара Петровна.

Он поднял похудевшее, обросшее лицо и взглянул на нее. В глазах его была мука.

— А, это вы! — сказал он.

— Болят? — спросила она еще раз.

Он не сразу понял.

— Да. Перемена погоды.

Боль в пальцах была привычная боль, и он переносил ее, не думая о ней. Она только примешивалась к той настоящей муке, которая терзала его.

— Вы еще вон такой были, когда вам пальчики стало сводить! — сказала она, показав, какого роста был когда-то Звягин. — Как раз я сейчас только рассказывала о прежней нашей жизни.

— Обо мне, небось, говорила? — спросил Звягин.

— Что вы! О вас я не смею. Я так, вообще, о благодарности.

Звягина передернуло.

— Я все сделал, что мог, — сказал он. — Больше я ничего не могу.

Он отвернулся и стал смотреть в воду, а Варвара Петровна осеклась и даже отошла прочь на несколько шагов. Однако уйти совсем ей не хотелось. Она остановилась, подумала и вернулась к Звягину.

Звягин не обернулся.

Варвара Петровна наклонилась к самому его уху и ласково зашептала, внезапно перейдя на «ты»:

— Я тебе, конечно, своих котлет картофельных не предлагаю... — Звягин дернул головой. — А вот твоей племяннице... Она здоровая, молоденькая, ей больше есть хочется, чем нам с тобой... Я ей добра желаю, я, когда приедем, хорошего ей жениха сыщу... Ты передай ей котлетку.

— Она не возьмет, — сказал Звягин.

— А ты ей дай и не говори, что от меня, — ласково и даже задушевно сказала Варвара Петровна.

— Нет, не дам, — сказал Звягин. — Ешь сама.

Он поднялся и, повернувшись к ней спиной, зашагал прочь по доскам палубы.

Это привело ее в ярость. Нет, так его отпустить она не хотела! Она пошла за ним, говоря ему в спину громким шопотом:

— Она опоганится от моей картошки, твоя мордастая? А что она за тем длинным козлом бегаёт, да ещё на виду у всей баржи, так этим она не поганится? Оба вы за ним бегаёте: и племянница и дядя. Только он голову из дырки высунет, как вы оба тут. Он мигнет — ты: рад стараться! Он свистнет — ты летишь! Вся баржа смеётся!

Она замолчала, надеясь, что он обернется. что он не выдержит и ответит. Но он шел все вперед, к носу, не оборачиваясь и молчал.

Быстро светлело.

— А мальчишка-то плюёт на вас обоих, — сказала она. — Он там целуется со своими панельными девками.

Звягин разом повернулся к ней на каблуках.

— Вранье! — крикнул он во весь голос.

Ткачихи, спавшие неподалеку, зашевелились, подняли головы и с удивлением посмотрели на Звягина и Варвару Петровну.

Варвара Петровна этим была несколько смущена. Да и лицо Звягина так поразило ее своей неожиданной свирепостью, что она принуждена была отступить. Она отпрянула и остановилась. Он отвернулся и пошел прочь. Она больше не посмела игнорировать за ним.

— А котлеты я все-таки для вас приберегу, — сказала она шопотом. — Через день вы их у меня кланчить будете!

Однако Звягин был уже далеко и вряд ли ее расслышал.

Как раз в эту минуту брызнул, наконец, дождь, мелкий и теплый. Рябой стала поверхность реки, подернутая прозрачным, белесоватым туманом; все вокруг наполнилось шелестом и шуршанием. Было видно, как на передней барже ткачихи повскакали со своих мест и кинулись в трюм, под крышку; палуба передней баржи мигом опустела. Но здесь, на задней барже, бежать было некуда. Спрятаться в трюм, к больным, никто не решался. Женщины, лежавшие на палубе, только теснее прижались друг к дружке и старались не двигаться, чтобы хоть под собой сохранить сухое местечко.

Глава восьмая

КАЗАНЬ

28

Дождь, мелкий и реденький, шел весь день напролет; только вечером тучи разошлись, и вдруг прояснилось. Закат был бледный, влажный, словно вымытый. Потом наступила ночь, ясная, звездная и до странности холодная, куда холоднее всех прежних. Женщины, весь день без еды пролежавшие под дождем, жалась к коврам, пытаясь обсушиться и согреться. Но согреться никак не удавалось, быть может, не столько оттого, что ночь была холодна, сколько от голода. И даже когда наступил новый день, когда взошло, наконец, солнце, горячее и яркое, и стало подыматься все выше и выше по ясному небу, согрелись нескоро. Дрожали и жалась до самой Казани.

В Казань привезли одну мертвую и девять больных.

Баржи остановились, но женщины на палубах продолжали лежать. Ни одна не встала, не сошла на пристань. Сил уже не было.

Тифозный барак оказался совсем близко: их понаоткрывали в Казани множество, потому что тиф здесь свирепствовал еще с середины зимы. Явились санитары и увезли больных.

— Пойдем доставать хлеб! — сказал Звягин Виктору.

Лицо его было угрюмо и решительно. Он, видимо, задумал что-то из ряда вон выходящее.

От пристани до центра города было очень далеко; трамваи не ходили, и они пошли вдвоем по трамвайному пути, от столба к столбу. После холодной ночи день был необычайно жаркий. От вчерашнего дождя не осталось и следа, и раскаленная, желтая пыль висела над улицами, забиваясь в нос и глаза. На углах переулков, на самом солнцепеке, татары брили друг другу головы сверкающими бритвами, намазывая темя какой-то бурой грязью — мыла у них не было. Виктора сперва так шатало от голода, что он то и дело хватал Звягина за плечо, чтобы не упасть. Но мало-помалу он приспособился к ходьбе и пошел не хуже Звягина.

Так добрались они до центральных улиц. Какие-то странные башни торчали впереди, но они их не разглядывали. Они искали губпродком. Им показали длинное каменное здание с красным флагом над дверью. Они вошли.

В этом здании помещалось много самых различных советских учреждений, и найти тут губпродком было очень трудно. Они долго шли по пустынным, грязным, сумрачным коридорам. На дверях висели кое-как прицепленные бумажонки, но в темноте трудно было разобрать, что на них написано. Некоторые двери были открыты, и там можно было разглядеть столы, заваленные бумагами, койки, стоявшие рядом с канцелярскими столами, плакаты на стенах, окурки и плевательницы по углам. Здание было довольно пустынно. Кое-где в комнатах сидели и что-то строчили девицы, а в коридорах изредка попадались молодые люди в широчайших галифе с кожаным задом.

— Где тут губпродком? — спрашивал их Звягин.

Не останавливаясь, не оборачиваясь, они ему отвечали:

— Дальше!

И пропадали, стуча сапогами.

Звягин и Виктор пересекли несколько лестничных площадок, куда-то подымались, куда-то спускались, и, наконец, им стало казаться, что они обошли здание кругом и идут второй раз по тем же самым коридорам. Возможно, так оно и было.

В каком-то особенно темном коридоре Звягин, не вытерпев, толкнул наугад одну из дверей. Сейчас же, сбоку, из темноты раздался голос:

— Куда? Куда?

И штык преградил Звягину дорогу.

Однако дверь, которую он все-таки успел толкнуть, приоткрылась и оттуда хлынул свет. «Губчека» — прочитал Виктор на двери, а ниже еще какая-то надпись — буквы, разделенные точками. Светловолосый малый в черной кожаной куртке двинулся из глубины комнаты навстречу Звягину и остановился на пороге, отделенный от Звягина протянутым сбоку штыком.

— Где губпродком? — спросил Звягин.

— Напротив, — ответил малый в кожаной куртке.

И дверь захлопнулась.

Звягин, шаря в темноте рукой по стене коридора, нащупал дверь напротив. Он толкнул ее и открыл.

В большой комнате, сидя за просторным письменным столом, спал человек. Черные волосы его были курчавы. По молодому бледному лицу, возле слегка раскрытых губ, ползала муха. На столе перед ним стоял недопитый стакан чая. В чае плавал окурочок.

Звягин и Виктор вошли.

Звягин остановился перед столом, посмотрел на спящего и спросил:

— Где здесь продкомиссар?

Спящий дернулся и проснулся. Черные, умные глаза неторопливо оглядели Звягина и Виктора.

— Я продкомиссар, — сказал он.

Звягин объяснил, кто он такой, потом спросил, получена ли телеграмма из Нижнего и почему их никто не встретил на пристани.

Продкомиссар улыбнулся и даже слегка подмигнул с таким видом, будто собирался сказать: «Ах ты, плут! Ишь, чего выдумал!»

— Зачем встречать, когда все равно у нас ничего нет? — ответил он.

И неторопливо объяснил, что белые совсем недавно отогнаны от Казани и теперь всё кругом на сотни верст голо. Даже Красной Армии и рабочим уже давно ничего не выдают. Получить здесь что-нибудь для звягинских женщин невозможно.

— Хорошо, — сказал вдруг Звягин.

Он был спокоен. Только лицо его внезапно налилось темной кровью, и от этого выгоревшие волоски его редкой бородки стали казаться еще светлее.

Продкомиссар поглядел на него.

— Я, конечно, сейчас же дам телеграмму в Симбирск, — сказал продкомиссар. — В Симбирске вы будете завтра к вечеру. А там всего вдоволь.

— Хорошо, — повторил Звягин. — В Симбирск мы не поедем.

— Как не поедете? — спросил продкомиссар.

— Так не поедем, — ответил Звягин. — Выйдем все из барж, придем к тебе в город и будем под вашими башнями сидеть. Пусть они лучше у тебя в городе мрут, чем на баржах.

— Ну, и что ж вы будете здесь делать? — спросил продкомиссар.

— Пока все не умрем, будем посылать в Москву телеграммы, — ответил Звягин.

— Кому?

— Ленину.

Продкомиссар замолчал. Несколько мгновений он с холодным бешенством смотрел Звягину прямо в глаза.

— Ах, ты вот как! — медленно проговорил он наконец. — Ты мне дезорганизацией угрожаешь? А ты знаешь, что такое дезорганизация?

— Нет, не знаю, — сказал Звягин. — Я отсюда никуда не поеду.

— Поедешь! — сказал продкомиссар.

— Не поеду, — сказал Звягин.

— А вот я с тобой через чека поговорю, — сказал продкомиссар.

— Говори через чека! — сказал Звягин.

Продкомиссар неспешно вышел из-за стола, подошел к двери, приоткрыл ее и высунул голову в коридор.

— Сеня! — позвал он.

Чекист Сеня оказался тем самым белокурым малым в кожаной куртке, которого они видели, открыв дверь губчека. Он немедленно явился на зов, скрипя кожей. Он тоже был очень молод, пожалуй, еще моложе продкомиссара — рослый, прямой, спокойный, с внимательными, прищуренными глазами на нежном и пухлом, как у девушки, лице. Войдя, он окинул Звягина и Виктора таким равнодушным, холодным взглядом, точно они были сделаны из дерева.

Продкомиссар рассказал чекисту Сене, кто такой Звягин и чего он требует.

— Вам лишь бы меня с рук сбить! А меня с рук не сбудешь! Мы из Казани без хлеба никуда не поедем, — сказал Звягин, твердо глядя чекисту Сене в лицо.

— Видишь, он нам дезорганизацией угрожает, — сказал продкомиссар.

— А сколько вас? — деловито спросил чекист Сеня.

— Восемьсот работников из Ярославля, — ответил вместо Звягина продкомиссар.

Они помолчали.

— Так не поедешь? — спросил продкомиссар.

— Не поеду, — сказал Звягин.

— Хочешь, я тебе слив дам? — воскликнул продкомиссар с таким видом, будто сейчас только вспомнил об этих сливах. — Хорошие сливы!

— Хлеба! — сказал Звягин.

— Чорт с тобой! — сказал продкомиссар. — Я тебе дам хлеба ровно столько, сколько тебе дал Нижний.

— Нижний мне дал пятнадцать пудов, — соврал Звягин.

— Врешь! — сказал продкомиссар. — Нижний тебе дал шесть пудов с половиной.

«Эге, им уже все известно», — подумал Виктор.

Звягин нисколько не был смущен тем, что его изобличили во лжи.

— Шесть с половиной? — переспросил он. — Не поеду!

— Больше не дам, — сказал продкомиссар.

— Ну, дай крупы какой-нибудь в придачу.

— Нету, — сказал продкомиссар.

Однако его внезапно словно осенило. На носках, с таинственным видом, он подошел к Звягину вплотную и произнес ему прямо в ухо громким шопотом:

— Я тебе картошки дам!

Звягин споксйно отступил от него, подозрительно оглядел с головы до ног и спросил:

— Сколько?

— Пудов даже семьдесят дам! — прошептал продкомиссар в восторге от собственной щедрости.

— Такая гнилая, что жидкая? — недоверчиво спросил Звягин.

— Проросла, конечно, — сказал продкомиссар. — Прошлогодняя, новой еще нет. Но если ты ее переберешь, так пудов пятнадцать-двадцать и совсем хорошей выберешь.

— Дай еще мыла! — сказал Звягин, подумав.

— А вот мыла у нас и вправду нет, — сказал продкомиссар со вздохом, и стало ясно, что на этот раз верить ему можно. — Весь город в тифу, а мыла нет ни куска.

— Дай им леденцов, — сказал вдруг чекист Сеня. — Ведь у тебя леденцы есть.

Продкомиссар, видимо, такого предательства не ожидал. Он обернулся к нему, полный изумления и гнева:

— Ты спятил!

Чекист Сеня рассмеялся.

— Да ну тебя! — сказал он продкомиссару смеясь. — Не видишь разве — он молодец с головой. Все равно возьмет. Так уж лучше давай не торгуясь, чтобы он поскорей убрался и снова не попросил.

Махнув рукой, чекист Сеня повернулся и вышел. Слышно было, как хлопнула дверь губчека.

— А сливы я тоже возьму, — сказал Звягин.

Когда с бумажкой, подписанной продкомиссаром, они вышли на залитую солнцем, жаркую, пыльную улицу и направились к складу, Звягин обернулся и глянул Виктору в лицо.

«Ну, каково? — прочитал Виктор в этом взгляде. — Видишь теперь, на что я способен?»

Виктор протянул свою длинную руку и движением, полным восхищения и дружбы, смахнул пылинку с плеча Звягина.

Никогда еще они не были так близки друг другу, как в эту минуту.

Глава девятая

КАТЯ ЖДЕТ

29

Хлеба опять получилось немногим больше четвертушки на человека, и съели его сразу; но зато картошки оказалось совсем немало. Когда сороковые после долгой возни кое-как отделили хорошую картошку от гнилой и мороженой, хорошей вышло по фунту на человека, а порченной фунта по два.

От Казани баржи отошли еще до захода солнца. Картошка кипела в чайниках, висевших над кострами. У некоторых старух нашлось немного соли; соль как драгоценность сыпали в каждый котелок поровну. Мороженую картошку тоже ели, хотя чем дольше ее варили, тем тверже она становилась. Сливки ели вместе с картошкой. Потом пили горячую воду с ле-

денцами. Леденцов выдали по шесть штук. Ими дорожили больше, чем всем остальным. С половиной леденца выпивали целому чайнику.

Стемнело, но спать не ложился никто. Ожили баржи, так долго молчавшие. Ткачихи перекликались в темноте веселыми голосами. Девчонки опять, после многих суток перерыва, собрались на корме и запели. Вечер был теплый; просторная Волга, отражавшая долгий, потухающий закат и большие звезды, казалась доброй и прекрасной. Вместе с сытостью вернулась способность ходить, смеяться. Вместе с сытостью вернулись надежды.

Впрочем, не все обстояло хорошо: едва отошли от Казани, как опять обнаружил троих заболевших. Голод отступил, но тиф отступать не хотел. И, конечно, заболели эти трое еще в Казани, но добросердечные соседки все скрыли, чтобы больных не отправили в барак. Это было глупо, потому что в бараке они хоть лежали бы на кровати, за ними смотрели бы доктора, а здесь, в темном и сыром трюме, ничего не было — ни докторов, ни кроватей. Но что поделаешь, пришлось тащить их в трюм.

Особенно досадно получилось это для Кати, так как в тот вечер после Казани Виктор остался было на палубе и, видимо, совсем не торопился уходить. Катя и Маня сидели у костра и варили в чайнике свою картошку, когда он вдруг подошел к ним сзади.

— Как вы поживаете? — сказал он Кате. — Я давно вас не видел.

Он опустился рядом с Катей на корточки; в огромных его ладонях лежали картофелины, и он, повидимому, не знал, что с ними делать, куда их деть. И Катя, хотя на нее смотрели все девчонки, сидевшие вокруг костра, взяла из его ладоней картофелины, обтерла их и бросила в чайник к своей картошке и к маниной.

— Вот спасибо! — сказал он.

Пока картошка варилась, они сидели рядом. Свет костра прыгал по его костлявому лицу с крупным носом, по его впалым щекам, покрытым темным, завивающимся пушксом. Он все поглядывал на Катю сбоку, будто хотел что-то сказать, но не говорил.

Наконец, картошка сварилась. Он боялся из катиных рук большими, костлявыми пальцами и глотал обжигаясь. Наклонясь к Кате за картошкой, он сказал:

— Я давно все собираюсь поговорить с вами. Мне очень нужно с вами поговорить...

И вот, как раз в эту минуту, на палубе отыскались больные, и он ушел в трюм.

Катя больше не в силах была сидеть и пошла на корму. Там девушки пели песни. Она слушала песни и думала: «Что он мне хочет сказать?»

Когда совсем стемнело, она тихонько подошла ко входу в трюм. Внизу, в трюме, горел свет. Там разговаривали, слышны были голоса. Оживленные голоса, веселые. Она ясно разобрала голос девушки Шиши и голос дяди Данилы. Отчего дядя Данила так долго торчит в трюме?

Она почувствовала, что в темноте рядом с нею кто-то стоит. Катя вздрогнула, шагнула и узнала Устинью Горячову. Устинья тоже узнала ее. Они не сказали друг другу ни слова и разошлись в разные стороны.

Катя легла возле Мани Борисовой, но долго не засыпала. «Что он хотел мне сказать?» — думала она. На барже давно все затихло, костры потухли, глухая ночь была кругом. В конце концов, Катя задремала. Ей казалось, что спала она не больше мгновения. Проснувшись она как от толчка.

Однако она, должно быть, проспала довольно долго, потому что ночная тьма уже чуть-чуть поредела. Уже смутно можно было различить лежавших на палубе женщин. Катя сразу встала и опять побрела ко входу в трюм. Там, внизу, в трюме, по-прежнему сиял свет и звучали голоса. К своему удивлению, Катя снова расслышала голос дяди Данилы. Он все еще был в трюме.

Что-то прошелестело за катиной спиной, и Катя обернулась. И опять узнала Устинью Горячову. Обнаружив, что Катя видит ее, Устинья остановилась. Сквозь сумерки Катя всматривалась в ее лицо. Никогда еще Катя не видела, чтобы у Устиньи было таксе злое лицо.

Устинья вдруг рассмеялась.

— Не спишь, все кругом бродишь? — сказала она.

Потом кивнула в сторону трюма и прибавила:

— Вот где сладь-то! Что дядюшка, то и племянница — оба оторваться не могут. Точно мухи!

Катя хотела ей сказать, что вот ведь и она сама всю ночь вьется вокруг входа

в трюм, точно муха, но не посмела. Пристыженная, Катя пошла прочь и снова легла рядом с Маней Борисовой. Устинья тоже отошла в сторону и улеглась. Но Катя со своего места отлично видела, что Устинья не спит.

Уже совсем рассвело и слева за низким, лесистым берегом сияла яркая полоса зари, когда дядя Данила вышел, наконец, из трюма. Выйдя, он остановился и оглядел всю палубу. Взор его скользнул и по Устинье Горячовой. Но глаза Устиньи, за секунду до того открытые, теперь были крепко закрыты. Стараясь не стучать, дядя Данила ушел на корму и улегся там на своем обычном месте.

Катя, незаметно для себя, заснула перед самым восходом солнца и спала долго и крепко. Проснувшись она потому, что стало слишком жарко, и потому, что очень шумели кругом. Отовсюду слышалась она сквозь полусон странное, смешное слово «Тетюши». Баржа плыла вдоль высокого, рыжего, обожженного солнцем берега. Все женщины были на ногах, разглядывали берег, громко переключались.

Прямо над Катей стоял Виктор Иванов и смотрел ей в лицо. Она со сна не сразу узнала его и, узнав, испугалась. Он смотрел, как она просыпается, и ждал.

— Тетюши скоро, — сказал он. — Мы к Тетюшам подъезжаем.

Катя села, торопливо всовывая шпильки в волосы. Он сказал еще что-то насчет того, что в Тетюшах решили остановиться исключительно ради больных, чтобы больных отправить на берег. Тут только Катя стала понимать, что «Тетюши» — это название какого-то места. «Давно ли он смотрит на меня?» — думала Катя.

— А я на вас давно смотрю, — сказал вдруг Виктор. — Мне непременно нужно с вами поговорить. Я вышел, разыскал вас, а вы спите! Я боялся вас разбудить и стал ждать. Я очень долго ждал и уже уходить думал...

Раздался треск — баржа наткнулась бортом на маленькую пристань и остановилась.

Это и были Тетюши.

Виктор, не договорив, кинулся прочь. Женщины хлынули к борту, поволокли сходни, началась суматоха. Через несколько минут Катя уже видела, как Виктор и дядя Данила с трудом тащили носилки вверх по крутой и необыкновенно узкой

деревянной лестнице, ведущей от пристани на вершину высокого берегового склона.

Выходить на берег Кате не хотелось. Ей не хотелось толкаться в толпе, ей хотелось побыть одной. Она подошла к тому борту, который был обращен не к берегу, а к Волге. Тут сейчас было пусто.

Она повернулась к берегу спиной и села, свесив ноги вниз. Волга была огромной, совсем незнакомой — втрое шире, чем дома, в Ярославле. Противоположный берег узкой полоской синел вдалеке. Огромное пространство спокойной, плотной воды было расчерчено на синие, серые, голубые, белые полосы. Катя случайно глянула вниз и между босыми своими ногами отчетливо, как в зеркале, увидела в воде свое лицо. Она легонько вздрогнула: так заметно было на лице то, что совершалось в ней.

30

— Господская рожа!

Виктор вздрогнул.

Было это ранним утром на палубе. Виктор совершенно ясно расслышал эти слова. У него нехватало духу обернуться и посмотреть, кто их сказал. Но, и не сбочиваясь, он знал, что сказала их та самая женщина, Устинья Горячова, которая посмеялась над ним в Ярославле. И очень многие слышали ее слова, и никто ей ничего не возразил. И Звягин тоже слышал ее слова и тоже не возразил ничего. Через несколько минут Звягин встретился с Виктором глазами. Вид у него был несчастный и виноватый.

Виктор любил, когда Звягин приходил в трюм. В трюме они были товарищами. На палубе Звягин совсем иначе держал себя с Виктором, чем в трюме. На палубе он притворялся, что Виктора не замечает; уходил на другой конец баржи; не разговаривал с Виктором, а если говорить приходилось — так смотрел в сторону и старался окончить разговор как можно скорее. Будто там, в трюме, он не хватал Виктора поминутно за руку, испуганно спрашивая, что еще сделать для больных. Будто не ходили они вместе в казанский губпродком.

С девушкой Шишей Звягин на палубе не разговаривал совсем. Когда им приходилось вместе тащить больную, они тащили ее молча. И опять-таки в трюме все разом менялось. Там Звягин охотно разго-

варивал с Шишей и еще охотнее слушал ее.

Впрочем, в трюме Шиша обращалась с ним угрюмо и грубо. «Эй ты, фрайер», — кричала она ему, хотя отлично знала, что его от этого коробит. В его присутствии она часто сквернословила и притом хвастливо, с вызовом. Это сквернословие предназначалось специально для Звягина, потому что, когда Звягин покидал трюм, она становилась гораздо сдержаннее на язык. Виктор давно уже заметил, что она несколько рисуется перед Звягиным своей дикостью и своим презрением ко всему человеческому.

Взяв на себя заботу о больных и заботясь о них с таким упорством и бесстрашием, она, несомненно, почувствовала, что Звягин удивлен этим и что за это ее уважает. То ли оттого, что она была честолюбива, то ли оттого, что ее никто никогда не уважал, но к уважению Звягина она не осталась равнодушна. В ее ухаживании за больными появилась какая-то особая страстность, нечто вроде азарта. Сквернословила она в присутствии Звягина только для того, чтобы испытать судьбу, чтобы проверить, крепка ли цепь звягинского уважения, не порвется ли она от такого пустяка. И хотя она всегда с презрением отзывалась о цели их путешествия и постоянно утверждала, что вот-вот на ближайшей же остановке все бросит и убежит, Виктор знал, что ни бросить, ни убежать ей уже не удастся.

Она, разумеется, замечала, что Звягин совсем иначе держит себя с ней на палубе, чем в трюме; она не могла, конечно, не видеть, что на палубе, находясь под наблюдением сотен женщин, он не решается поднять на нее глаза, не решается заговорить с нею. Слышала она, должно быть, и шипение старух, которыми заправляла Варвара Петровна; видела она, вероятно, и недобрые взоры Устиньи Горячовой. Но все это как будто нисколько ее не задевало. Она, очевидно, считала вполне естественным, что женщины там, на палубе, должны относиться к ней враждебно. Она так считала, несмотря на то, что далеко не все относились к ней враждебно, несмотря на то, что некоторые заговаривали с ней, улыбались ей, особенно после того вечера, когда она пела. Сама она отнеслась к ним безразлично; так, по крайней мере, могло показаться. Все эти женщины там, наверху, были для нее чужими. И только

когда они заболели, когда они бредили, когда они лишались сознания, она вдруг получала право на близость к ним и начинала заботиться о том, чтобы им удобно было лежать и чтобы их не мучила жажда.

Виктор постоянно наблюдал за ней и думал, что знает ее хорошо, потому что перед ним она не рисовалась, как перед Звягиным, и не сторонилась его, как сторонилась всех остальных. На Виктора она смотрела попросту и без любопытства. Виктор был для нее свой.

Неизвестно, как это вышло, но друг для друга только они трое были свои — Тася, Шиша и Виктор. Не оттого, что они хорошо знали друг друга; Шиша обращала на Виктора очень мало внимания, да и что, собственно, она могла знать о нем? А оттого, что Виктор тоже был чужим там, на палубе. Эта отчужденность от всех сближала их.

Шиша вряд ли понимала, отчего Виктор такой же чужой для всей баржи, как и она сама; да и вряд ли задумывалась над этим. Но с первого же дня она условно заметила, что Виктор неспроста остался в трюме, что в трюме ему, так же как ей, легче, чем на палубе. Отсюда возникло между ними странное товарищество, нечто вроде заговора. Когда Виктор на палубе кому-нибудь улыбался, когда он подкладывал свою картошку в чей-нибудь чайник, Шиша хмурилась, словно говорила: «Ну, чего ты суешься?»

Нет, Шиша считала, что им троем следует жить в трюме. Там у них была своя жизнь, не похожая на жизнь остальных. Не похожая ни на какую другую жизнь.

Фонарь, бросающий колеблющиеся крылья света на странно изогнутые стены; вечная тьма в глубинах кормы и носа; несмолкаемый плеск за стенами; шопот и лепет больных, вечное бормотание, в котором напряженно ищешь смысла и не находишь. День здесь нелегко отличить от ночи, и Виктор давно уже запутался в счете дней. Ему порой казалось, что все так было всегда и что там, в Москве, жил кто-то другой, а не он. Больные женщины менялись, их становилось то больше, то меньше, но неизменно, во всякий час, видел он озаренные светом фонаря лица Шиши и Таси. Как он привык к их лицам, к наклонам их голов, к их рукам, к их теням! К теням особенно, потому что тень здесь была главным признаком человека. Виктор ждал, окруженный их тенями. Никогда он не спугнул бы стремительную, порывисто

перелетающую из края в край тень Шиши с медлительной и плавной тенью Таси.

Тасю и Шишу ни в чем спутать было невозможно. Ничем не были они похожи. Шишу Виктор понимал насквозь, несмотря на всю ее скрытность. Тасю он не понимал совсем.

Ей все равно, как думает о ней Звягин, не то что Шише. Ей, действительно, все равно, как смотрят на нее бабы на палубе, не то что Шише, которая только притворяется, будто ей все равно, а сама даже песни пела этим бабам и с тех пор втайне страдает от обид и надежд, от мнительности своей и гордости. У Таси не было ни обид, ни надежд, ни гордости, ни мнительности. Что же у нее было? Что было там, за этим открытым, нежным лбом, что в этих глазах, почти всегда неподвижно устремленных в фонарь?

Она и спала так — сидя, наклонив к фонарю лицо, и потому не сразу можно было догадаться, спит она или не спит. У Виктора образовалась даже такая привычка — смотреть на нее и отгадывать: спит или не спит? Получалось вроде странной какой-то игры. Он вообще привык разглядывать ее долго, часами. Особенно, когда Шиша спала. Едва больные затихали, он садился подалеже от фонаря, в тьму, и смотрел оттуда в тасино лицо. Пламя фонаря колебалось, и множество мелких теней двигалось по ее лицу, собираясь то у губ, то у глаз, то во впадинах под скулами. И лицо жило в этом непрерывном порхании теней, и непрерывно менялись его выражения. Губы изгибались, веки шевелились, лицо становилось то улыбающимся, то надменным, то гневным, то презрительным, то несчастным и злым, то добрым и простодушным. И Виктор никогда не был уверен, что это только тени, а не настоящие чувства.

Обе они совсем не боялись болезни. У Шиши в бесстрашии этом была даже некоторая лихость. Она ложилась на сено, где перед тем лежали больные, прижималась к больным, пила воду из одной с ними кружки, примеряла на себя их платки, их кофты.

— Меня вошь не берет, — говорила она при Звягине. — Я не скусная. Вошь любит полных, скусеньких.

Или наоборот:

— Все равно сдыхать, так уж лучше поскорей. Зачем зря место занимать?

Она не боялась больных, но очень боя-

лась мертвых. До мертвых она не решалась дотронуться. Когда какая-нибудь из больных умирала, Шишу охватывало беспоконье, которое не прекращалось до тех пор, пока на ближайшей остановке труп не уносили из трюма. В переноске гробов она никогда не принимала участия.

В ночь после Казани умерла одна ткачиха, молодая. Она была очень тихая, не бредила, не бормотала. Ее уже в беспмятстве принесли с палубы, и так она до конца и не приходила в себя. В тот вечер Звягин очень долго сидел в трюме. Все только что поели и были возбуждены от еды. Разговаривали и шумели. После ухода Звягина Шиша взяла больную за руку и вскрикнула. Рука была холодная.

Женщина умерла, и Шишу особенно испугало то, что умерла она безусловно еще при Звягине, и, следовательно, они все долго сидели возле мертвой, сами не зная того. Теперь Шише примерещилось, будто она весь вечер в неведении подолом своей юбки трогала ноги умершей. Мысль об этом была ей невыносима. Она трясла подол и требовала, чтобы мертвую отнесли в сторону. Виктор взял покойницу за ноги, Тася за плечи; они оттащили ее шагов на пятнадцать от фонаря и положили. Но Шиша была как в припадке. Ей казалось, что мертвая смотрит на нее, и она требовала, чтобы они отвернули лицо покойницы.

Тася взяла покойницу за щеку и повернула ее голову.

— У ней шея теплая, — сказала она.

Виктор взял женщину за шею. Шея была холодная.

— Она умерла, — сказал Виктор.

Они вернулись к фонарю. Шиша разом умолкла и заснула. Виктор не засыпал. Он сидел немного поодаль, в темноте, смотрел на склоненное к фонарю лицо Таси и старался отгадать, спит она или не спит.

Прозрачные тени скользили по ее лицу, и казалось, будто лицо движется. Но так бывало каждую ночь, и он думал, что Тася спит.

И вдруг Тася поднялась с пола, встала во весь рост и неторопливо пошла в темноту, к мертвой.

Виктор смутно видел сквозь мрак, как она склонилась над ней. Охваченный любопытством и тревогой, он поднял фонарь и направил свет на Тасю.

Тася лежала на покойнице и дула ей в рот.

— Ты что? — спросил Виктор.

Она подняла голову и посмотрела на него, хмурясь.

— Согреть хочу, — сказала она.

— Она умерла, — сказал Виктор. Он подошел и взял покойницу за руку. — Негнется уже. Застыла.

Тася встала.

— А мне показалось... — начала она и не договорила.

Они пошли назад, туда, где спала Шиша.

— Ты так хотела, чтобы она ожила? — спросил Виктор.

— Ну, вот! — сказала Тася. — А мне что?

Глава десятая РАЗГОВОР У ОБОШКА

31

В Симбирске их встречали с оркестром.

Едва баржи вышли из-за поворота реки, как грянула музыка, и чем ближе они подходили к пристани — тем шумнее она становилась. За пристанью алели знамена, стояла толпа. Тут были представители от симбирских предприятий и все городское руководство. Баржи пришвартовались, и начался митинг. Симбирские говорили речи с пристани. С барж им отвечали Звягин и Устинья Горячова.

Все это было непривычно и удивительно. Но еще удивительнее было то, что сразу же на баржи стали грузить лук, воблу, хлеб и картошку. Когда подсчитали, то оказалось, что хлеба получается по два фунта на человека. И все разом поняли, что попали в немыслимый край, где люди еще не разучились есть.

За пристанью какие-то бабы торговали пирогами с рыбой, с кашей, с творогом. Прохожие щелкали подсолнухи. Крестьянские девочки толклись в толпе, продавая вишни до того кислые, что сзодило скулы.

К дележке и еде приступили немедленно. С особым нетерпением набросились на воблу, она показалась вкусней всего. Воблы было много, нанизанной на веревки. Женщины хватили рыб за хвосты, срывали с веревок и потом долго били ими по палубным доскам, чтобы немного размягчить. Твердый деревянный стук стоял над баржами, палубы покрылись осыпающейся чешуей. С ловкостью, приобретенной прошлой осенью, когда копченую воблу выдавали еще и в Ярославле, одним движением они сдирали с воблы всю шкуру, от жабер

до хвоста. Потом, перевернув воблу брюхом кверху, указательным пальцем вырывали плавательный пузырь; пузыри бросали за борт, и скоро вся Волга ниже барж покрылась медленно плывущими, мутными рыбьими пузырями. Потом тем же указательным пальцем вырывали икру. Икра была жирная, темнокоричневая, немного пахла гарью и казалась вкуснее всего. Девчонки уверяли, что она похожа на шokolад. Съев икру, принимались за спинку. Отделяли от хребта длинные пласты мяса; эти пласты нужно было долго жевать, и чем дольше их жевали, тем сочнее и вкуснее они становились. Когда все мясо со спины было сорвано, разжевано и проглочено, оставалось только содрать тонкий съедобный слой с колючих ребер. Потом скелет воблы летел за борт.

Вместе с сытостью появилась уверенность. Все то, что в Ярославле представлялось странным, туманным, неисполнимым, отсюда, из гостеприимного Симбирска, казалось совсем простым. Звягину здесь вручили телеграммы из Самары, в которых говорилось, что их ждут с нетерпением, что только на них и надеются, и содержание этих телеграмм стало сразу известно всем. Вообще, до Самары отсюда рукой подать, и все, что там делалось, было симбирцам отлично известно. Про пшеницу, осыпавшуюся в степях на корню, они рассказывали так, будто видели ее собственными глазами. От Самары до нее верст полтора по железной дороге в сторону Оренбурга, а от железной дороги — верст пятьдесят или, может быть, сто. Сеяли ее богатейшие казаки, сторонники белогвардейского атамана Дутова. Дутов разбит, он отступил в глубину степей, и те казаки ушли вместе с ним: одни — охотой, других он увел силой. А пшеница брошена — миллионы, может, пудов, — и некому жать ее. Весь расчет только на них.

Хохот, крик стояли над баржами. Девчонки в рубашках прыгали в воду прямо с палубы, купались. Бабы отыскивали возле пристани мостки и пошли туда полоскать белье. Несмотря на отчаянную жару, ткачихи кучками в двадцать-тридцать человек уходили бродить по городу и очень веселились во время прогулки. Вообще, это был веселый день, и портило его только то, что тиф несколько не шел на убыль.

Тиф, пожалуй, стал даже еще страшнее. Между Тетюшами и Симбирском заболело шесть человек. Когда к пристани подъеха-

ли санитарные повозки и больных понесли из трюма, смех и крики на палубе сразу смолкли. Во всех глазах появился испуг. Каждая женщина, стоявшая на палубе, подумала, что вдруг завтра и ее, обеспамятешую, вот так потащат в тифозный барак и оставят в чужом городе.

— А кто их знает, может, это они болезнь насылают? — громко сказала Варвара Петровна, когда Виктор, Шиша и Тася, помогавшие выносить больных, шли по палубе, возвращаясь к себе в трюм.

Катя расслышала эти слова и рассердилась. Просто чорт знает что такое! Если есть на барже чужой и вредный элемент, так только вот эта старуха. Она как прицепилась к тем девушкам из трюма, так и не отпускает: врет, клеветает, распространяет слухи. А теперь еще припутывает к ним Виктора — вот нахальство!

Варвара Петровна, заметив, что Катя расслышала ее слова, сразу струсила. Она повернулась к Кате спиной и побежала подалее, туда, где сидели старые ткачихи, с которыми она за последнее время старательно сводила дружбу. Там она села в самую гущу, загородилась от Кати старушечьими спинами.

Катя хотела пойти за ней и даже несколько шагов сделала, но не дошла. Ей вдруг стало все равно. Ей вообще в тот день все казалось не стоящим внимания. Виктор обещал с ней поговорить, она ждала этого разговора, а остальное — все равно. После Тетюшей он так с ней и не поговорил. Чуть только в Тетюшах отвалили от пристани, как на передней барже обнаружили больную, пришлось ее перетаскивать с баржи на баржу, нести в трюм. А спустя несколько часов появились еще больные; так до самого Симбирска Виктор из трюма не выходил.

Но придет время — и обещанный разговор будет, а раньше или позже — это неважно. Катя, как ни странно, пожалуй, даже не хотела, чтобы разговор был поскорее. Она немного все-таки боялась этого разговора. Она боялась, что разговор будет слишком хорош, что Виктор заговорит о том, о чем она не смеет думать, и что она не вынесет этого. Она была полна ожидания. А остальное отступило от нее, отхлынуло, занавесилось туманом.

С толпой девушек и женщин помоложе, с Маней Борисовой и Устиньей Горячовой она пошла побродить по городу. Они забрались на вершину откоса, на то место,

которое в Симбирске называют «Венец». Оттуда, так же как в Нижнем, смотрели на Волгу, на зеленое Заволжье, на синюю даль. Здесь, впрочем, вели себя гораздо шумнее, чем в Нижнем, кричали, смеялись; девчонки, шутя, подталкивали друг дружку к краю откоса. Но Катя и даль, и Заволжье, и Волгу видела как сквозь дымку; смех и голоса она слышала словно во сне. Когда с ней заговаривали, она улыбалась, но не совсем ясно понимала, что ей говорят. Сама она ни с кем не заговорила ни разу.

Когда они вернулись на баржу, старая Борисиха, манькина мать, внимательно посмотрела Кате в лицо и громко сказала Звягину:

— Твоя Катька, гляди, совсем другая стала!

— А что? — спросил Звягин.

— Похорошела, — сказала Борисиха.

Все стали внимательно оглядывать Катю, и Катя, смутясь, пошла от них прочь.

Часов около шести баржи отвалили от симбирской пристани. Катя ушла на корму, села там и смотрела, как уплывает в даль высокий город, как тянется по воде за баржой бесконечный, извилистый след, отчетливо видный на всем протяжении. Здесь Волга была уже совсем другая, чем дома в Ярославле, — куда просторнее и шире. Края ее почти сливались с небом. А между тем, берега были высоки, обрывисты, холмисты. Даже цвет их изменился — они стали желтее, бурее, рыжее. Горбатые спины холмов покрывала курчавая шерсть, и, только когда баржа приближалась к берегу, можно было разглядеть, что шерсть эта — дубовые леса. И Катя сидела на корме, смотрела, как медленно темнеют заросшие шерстью холмы, и ждала.

Когда совсем стемнело, она задремала. Но и во сне она продолжала ждать. Кто-то подошел к ней сзади и осторожно сел с ней рядом. Катя вздрогнула, открыла глаза, повернула лицо.

Нет, это Маня Борисова...

32

И опять, как перед Тетюшами, он разыскал ее утром, когда она еще спала. Маня пихнула ее в бок локтем, и она проснулась. Солнце сияло, на палубе уже все встали, было поздно. Он стоял над нею и смотрел ей в лицо. «Он подумает, что я всегда сплю», — испугалась она.

Она села, торопливо поправляя волосы. Огромные бугры, заросшие светлым лист-

венным лесом, проплывали мимо баржи. Он что-то говорил ей, и она с ужасом заметила, что, как в тот вечер, когда Шиша пела, она от волнения не понимает его слов.

А между тем, он, кажется, говорил что-то очень простое и обыкновенное. О том, как ему неловко, что он ее разбудил. О Жигулях. Он, кажется, и сам оробел; от робости обращался он не столько к ней, сколько к Мане Борисовой. Маня смотрела на него круглыми, перепуганными глазами и молчала.

Потом Маня осталась на корме, а они вдвоем медленно пошли по палубе к носу, и Катя мучительно чувствовала, что вся баржа смотрит на них. Он говорил, но прошло немало времени, прежде чем она, собрав все силы, принудила себя понимать его слова.

— ... Я все узнал... не все, конечно, без подробностей, но самое главное, — слышала Катя его голос. — И вот странно, с первого взгляда на вас я понял, что вы способны на какой-нибудь такой поступок. Вот отчего меня так тянуло к вам, — прибавил он тихо, одними губами.

Катя быстро взглянула на него и ответила глаза. Сквозь редкий, темный пух, покрывавший его щеки, было видно, как он покраснел.

— Извините... — бормотал он, — я откровенно... Вы догадываетесь, о чем я хочу говорить?

Догадывалась ли она? Нет, не догадывалась. Но некоторое предчувствие у нее было. Нехорошее предчувствие.

— ... В тот день, когда вы подняли ее, избитую...

Так и есть! Он говорит о Тасе. Вот, значит, какого разговора он заставил ее ждать столько времени!

Они стояли возле носа. Вода сияла, высокие, круглые холмы таяли в воздушной синеве. Но для Кати разом все потемнело.

— ... Я здесь мало сплю по ночам. — слышала она сквозь шум в ушах. — Я по ночам смотрю на нее и стараюсь отгадать... Я узнал, что она поехала только ради вас...

Лишь бы он ничего не заметил!

— Ради вас, — ответил он. — Она мне удивилась, что ей удалось заговорить.

— Ради вас, — ответил он. — Она мне сама сказала. После того как она старалась отогреть мертвую, она стала иногда говорить со мной. Очень мало. Два-три слова скажет, а остальное я отгадываю...

Рухнуло, все рухнуло! Ну что ж, рухнуло — так рухнуло. Теперь важно одно: лишь бы он ничего не заметил, лишь бы он не догадался, чего Катя ждала... Какое гравю она имела ждать? Он не спит по ночам и смотрит на ту девушку... Кате нет до этого никакого дела. Пусть смотрит!

— Она ко всему равнодушна, потому что между нею и людьми потеряна всякая связь, — продолжал Виктор. — Я много думал о ней и все понял. Она добра к мертвым, к бредящим, а живые и здоровые чужды ей. Никогда еще ни один человек не относился к ней по-человечески. Только вы одна. Даже здесь ей кричат, что она нарочно насылает болезнь...

— Неправда! — сказала Катя. — Я знаю, кто так крикнул. Остальные этому не верят.

Ей никакого дела нет ни до Виктора, ни до той девушки. Она может отнестись к ним с полной холодностью и справедливостью. С теми девушками, действительно, поступают неправильно, и Катя сама это видит и первая скажет. Катя холодна и справедлива.

— Я давно уже надумал с вами поговорить, — сказал он, обрадованный. — Я хочу, чтобы вы помогли... Если бы кто-нибудь с ней подружился...

— Я пойду к ней, — сказала Катя.

— Когда?

— Сейчас.

Она повернулась и пошла прямо к трюму, не глядя ни вправо, ни влево. Она слышала позади его широкие шаги, он едва поспевал за нею. У самого входа в трюм она натолкнулась на Маню Борисову.

— Не ходи туда! — сказала Маня и схватила ее за руку.

Но Катя сердито вырвала свою руку. Вот до чего она холодна и справедлива!

33

По качающейся, наклонной доске шла она вниз, в темноту, чтобы предложить Тасе свою дружбу и свою защиту. Сейчас она отдаст ей все, все: и Виктора и себя, и никогда об этом не пожалеет. Вот только поскорей бы, поскорей!

Но, сбегав вниз, она, к досаде своей, вынуждена была остановиться, потому что после яркого света наверху — здесь, в трюме, она ничего не видела. Нетерпеливо вглядывалась она в тьму, шаря в воздухе

руками. Мало-помалу ей удалось разглядеть невдалеке очертания каких-то фигур. Странное позвякивание, мелкое, дробное, доносилось оттуда. И Катя поспешно шагнула навстречу этому позвякиванию, уверенная, что найдет там Тасю. Когда глаза ее, наконец, несколько привыкли к темноте, она, при тусклом свете, падавшем сверху, увидела двух больных женщин, лежавших на соломе. Одна из них не то спала, не то была в забытье, а другая пила воду из жестяной кружки, которую Шиша держала возле ее рта. Пьющую, должно быть, тряс озноб, потому что зубы ее, звеня, стучали о край кружки. Таси здесь не было.

— Где она? — спросила Катя.

Шиша обернулась, взглянула на нее, но либо не поняла, либо просто не хотела ответить. Она плеснула недопитую воду в ведро, уложила голову больной поудобнее и вытерла ей губы рукавом своей кофты.

— Где же она? — повторила Катя.

Катя ужасно спешила. Ей хотелось повидать Тасю сейчас же, немедленно; она втайне боялась, что потом у нее нехватит духу встретиться с Тасей.

— Она там, вон в том конце, — сказал Виктор.

Он уже догнал Катю и остановился у нее за спиной. Катя сразу же пошла в темноту, в ту сторону, куда он указал.

— Провести вас? — спросил он.

— Нет, я одна, одна...

Однако идти в полной тьме по выгнутому дну баржи было трудно, и она сразу споткнулась о деревянное ребро.

— Я зажгу фонарь и посвечу вам, — сказал он ей вслед.

— Не надо, не надо! — ответила она и торопливо пошла вперед.

К своему удивлению, она скоро заметила впереди слабый, рассеянный, чуть брезжащий свет. И чем дальше она уходила, тем заметнее этот свет становился. Наконец, она наткнулась на груды каких-то досок, ящиков, железных обручей. Груда была очень высокая, и при попытке перелезть через весь этот хлам Катя только ушиблась, обрушив несколько ящиков. Тогда она стала осторожно обходить груды кругом, разыскивая дорогу ощупью. И вдруг оказалась в помещении, освещенном значительно ярче, чем та часть трюма, откуда она пришла.

Это, видимо, был самый нос баржи, отделенный от остального трюма дощатой

перегородкой, наполовину разобранный, и грудой пустых ящиков. Свет проникал сюда сквозь квадратное отверстие величиной с почтовую открытку, прорезанное в стене на вышине сажени от пола. Света этого было очень мало. Он ярко озарял только лицо Таси, которая стояла на перевернутом ящике и смотрела в это крохотное оконце.

Увидев Тасю, Катя вдруг заколебалась. Сердце ее упало. Все то, что мгновение назад представлялось ей таким необходимым и естественным, теперь показалось ненужным и мучительно-трудным. Вернуться бы! Но она пересилила себя:

— Тася!

Тася повернула голову и глянула Кате в глаза. И улыбнулась, чуть-чуть, но приветливо. Удивительно было видеть улыбку на ее лице.

«Обрадовалась, небось», — подумала Катя с неприязнью.

— Вот... смотрю... — сказала Тася с несвойственной ей разговорчивостью.

— Много ли там видно? — спросила Катя.

Она чувствовала, что отступить уже нельзя, что остается только выполнить задуманное, и мужественно принялась за дело.

— А вот, погляди! — сказала Тася, взяла Катю за руку, дернула, и Катя, неожиданно для себя, оказалась рядом с ней на ящике.

Глянув в отверстие, Катя увидела воду, блестящую на солнце, зелено-бурые холмы и синее небо. Отсюда, из темного трюма, все казалось необычайно прекрасным. Но возле самой своей щеки Катя чувствовала щеку Таси, своим плечом она чувствовала ее горячее плечо, и это было неприятно.

— Чего ж ты не сбежала с баржи? — спросила Катя. — Теперь уж больше не собираешься сбежать?

— Нет, не собираюсь, — сказала Тася.

Она была счастлива катиной дружбой, она старалась Кате угодить и не скрывала этого.

— Сквозь эту дырку ничего не видно, — продолжала Катя честно. — Пришла бы лучше ко мне на палубу.

— Очень надо.

— Нет, нет, приходи, я тебя со всеми нашими девчонками сведу, — заторопилась Катя. — Вот приедешь в Самару, и мы с тобой вместе осматривать город пойдем. — Она чувствовала, что слишком торо-

пится, что этак можно все дело испортить, да не могла остановиться: все равно уж, лишь бы поскорей! — Мы с тобой всюду вдвоем ходить будем, — говорила она, а сама холодела при этой мысли.

«Тоненькие косточки, — думала она, искося оглядывая Тасю. — Лицо не то как у ребенка, не то как у старушки. И все, все ей!»

— Так приедешь на палубу, а? Приедешь?

Но голос катин сорвался, дрогнул и выдал Катю. Тася глянула ей в лицо спокойно и понимающе. Они замолчали.

Они долго молчали, глядя друг дружке в глаза.

— А ты знаешь, что он смотрит на тебя по ночам? — сказала Катя.

Она сказала это нечаянно и даже удивилась, услышав свой голос.

— Знаю, — ответила Тася.

— Ты не мучь его, ты побереги его! — слышала Катя свой голос. — Ты выходи с ним наверх, на свежий воздух, чтобы он не заразился! Не крути его, не мотай, не мучай!

Она сжала тасину руку.

Все, все ей досталось: и его любовь, и катина дружба, и катино уважение. За что?

Глаза у Таси блеснули. Что в них? Насмешка, что ли? Неужто насмешка? Насмешки Катя вынести не могла.

Катя выпустила тасину руку. Она до боли раскаивалась в каждом своем слове.

— Бери его себе! — сказала Тася. — Мне он не нужен. Мне что он, что другой — все одно. Они все на один фасон. Без одежды все похоже.

Или, может быть, не насмешка, а действительно щедрость? Это похуже всякой насмешки. Катя, мелко дрожа, прыгнула с ящика. Нет, ни насмешек ее, ни милости ей не надо!

— Хочешь, я скажу ему, чтобы он гулял с тобой? — сказала Тася.

— Ты скажи ему, чтобы он не смел ко мне подходить!

Ощупью, спотыкаясь в темноте о деревянные ребра, шла Катя назад через трюм. Темнота была ей приятна, потому что она не хотела, чтобы видели, как у нее горит лицо. Ее унижали, но больше этого не будет никогда. Она прошла мимо Виктора и Шиши, не сказав ни слова, и вышла по наклонной доске на палубу, высоко вздернув голову, — гордая племянница гордого Даниила Звягина.

(Окончание следует)

Михаил Дудин

КАРЕЛЬСКИЙ ПЕРЕШЕЕК

Иди, мой стих, с уступов финских скал
Широким шагом воинской походки
И расскажи, о чем не рассказал
Скупой язык оперативной сводки!

Н. Озерову

Мы шли на войну, товарищ,
На край ледяной зимы.
Сквозь дымы чужих пожарищ
Тогда проходили мы.

Нам вьюга студила глотки,
Вставали в завесах тьмы.
Морозы — покрепче водки,
Которою грелись мы.

Развалин нагие трубы,
Холодные небеса,
Коней перемерзлые трупы,
Предательские леса.

Штыками геройской роты
Врагов вышибая из ям,
Мы доты английской работы
Пускали ко всем чертям.

Во имя тебя, отчизна,
Суровая, нежная мать,
Мы пронесли наши жизни,
Чтоб полностью их отдать!

Над вихрем и дымом охрипший,
Взвивайся, тяжелый стих,
О мужестве всех погибших,
О доблести всех живых!

ДРУЗЬЯ

«Бристоль», в дыму заметный слабо,
Качнул подкрашенным крылом.
Упала бомба возле штаба,
Но взрыва не было. Потом
Дня через три
Мы разобрали бомбу эту.
Но вместо пороха внутри

Нашли английскую газету
И надпись русскую на ней:
«Друзья! Чем можем, помогаем».

Своих друзей мы тоже знаем,
И нашей дружбы нет верней.

МОЙ ПОХОДНЫЙ КОТЕЛОК

Поднималась пыль густая
Вдоль проселочных дорог,
И стучал, не уставая,
Мой походный котелок.
Пела пуля в непогоду,
Смерти кровная сестра.
Я с тобой ходил в походы,
Спал и мерзнул у костра.
Из тебя в метель ночную, —
Помнишь, как гудел набат? —
Пил водицу снеговую
Насмерть раненный комбат.

И однажды на опушке, —
Густы ели, снег глубокий, —
Белофинская кукушка
Мой пробила котелок.
После боя ранним-рано,
Как умел я и как знал,
Боевые его раны
Красной медью заклепал.
И опять пошел в дорогу.
Дует ветер, путь далек.
И подсчитывает ногу
Мой походный котелок.

ТЕРИОКИ

Молочные ночи тают в стеклах широкой рамы.
Дрожат занавески в блеске, и всю-то ночь напролет
Звенят офицеры рюмками, нежно флиртуют дамы
И с довоенной страстью Вертинский навзрыд поет.

Луна на волне сверкает, серебряный свет глубокий.
Летят фейерверки кверху, над балом плывут шары.
... Я видел тебя, Териоки, я знал тебя Териоки,
Без этой дешевой и розовой, изношенной мишуры,

Я видел тебя другим, без музыки и без пляжа,
Под снегом глухим и пеплом, обломками и золой.
Когда леденила стужа, когда, переязыбнув, даже
Море легло на берег мороженою волной.

Когда капитан Угрюмов сквозь первый колючий иней
Прошел по твоим дорогам и танки подняли шум.
Когда ударил Сепинен, когда уходил Кархинен,
Когда удирал во-своеси правитель уезда Блюм.

Они поджигали склады, гранатами рвали спальни,
Минировали дороги, живое и жизнь губя.
Они подпалили «Ривьеру», зажгли «Морскую купальню»,
Но все-таки не успели с землею сравнить тебя.

Обветренный и суровый, я встал на твоём перекрестке,
Я был по-мальчишески нежен и по-военному груб,
По улицам шла пехота, дул ветер, холодный и резкий,
И в небо грозились сердито кулаки обгорелых труб.

Я только смотрел на это, я вспомнил Иваново снова,
Мой милый, бесхитростный город, в котором родился и рос,
Где утром на швейную фабрику торопится Паня Вольнова,
И щиплет ей нежные щеки особенный наш мороз.

И ей никак не представить такой темноты глубокой,
Разрушенным и сожженным Иваново, город наш.
... Быть может, она приедет в прекрасный наш Териоки,
Быть может, она захочет пойти загорать на пляж.

Ей пена омывает колени, ей чайка крикнет с залива,
Ей белые ночи навстречу, далекий огонь костра.
Волна, выгибая шею, на берег плеснет шумливо,
И грива взлетит по ветру, размахиста и пестра.

Л. Раковский

ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ

(ИЗ РОМАНА)

СУВОРОЧКА

Смерть моя — для Отечества,
жизнь моя — для Наташи.

Суворов

I

В просторной хате Трохима Зицценки со вчерашнего вечера стоял переполох: бабы подновляли полы, белили стены, мыли столы и лавки, а Трохим перетаскивал к брату, жившему по соседству, макотры, кожухи, свитки, прялки и прочее добро.

Все село знало эту новость: у Трохима будет жить сам генерал из дивизии, которая уже не первый год располагалась лагерем на поле.

Хата Трохима стояла на краю села, в сачочке. Если бы в ней поместился какой-нибудь аудитор или поручик, не было бы никакого дива. Но в хате простого селянина собирался жить генерал, и это всех очень удивляло. Тем более, что в трех верстах от села находилось панское имение с большим домом, где всегда и жил прежний командир дивизии.

Все помнили высокого, широкоплечего генерала, который, в орденах, напудренный и важный, как следует быть барину, генералу, проезжал иногда через село на тройке. Хотя он жил не у себя в имении, но и тут остался помещиком: в его руках было тысяч десять подневольных солдатских душ. Он распоряжался ими как хотел: отдавал солдат на работу к окрестным помещикам — у одного строили стодолы, у другого — усадьбу. Не один батальон косил у панов хлеба и сено. И за все лето генерал только раз или два устраивал

ученья в поле, чтобы за косой, топором да граблями мушкетер не забыл, как ходить ровно по линейке, а гусар не разучился ездить верхом.

А в этом году прислали нового генерала. Все поле забелело палатками. Новый генерал не отпустил на сторону на работы ни одного солдата: косили сено только для своих лошадей и убирали хлеб только свой, купленный у помещиков на корню для дивизии. Большой же частью занимались военным делом — то учились стрелять, то уходили куда-нибудь, чуть ли не под Харьков, в поход.

Иногда утром пастухи, гнавшие скот, видели, что лагерь опустел за ночь, что в нем остались одни часовые. А через несколько дней с другого конца села с песнями и барабанным боем возвращались домой полки.

И впереди войск, на коне, ехал такой же черный от загара, с таким же обветренным лицом и шелушившейся на носу кожей, как у всех его мушкетеров, егерей и гусар, этот генерал.

Он ни в чем не походил на тех генералов, которых привыкло видеть село.

Генерал должен быть толст, чванлив и важен, а этот — худенький и неказистый — приветлив и прост.

Генерал должен быть одет так, чтобы на нем все сияло, чтобы блестели пуговицы, галуны, ордена. А этот — носит полотняные штаны и куртку, как дьячок, когда работает в поле. Одним словом, если бы не знать, кто это, никому и в голову не пришло бы, что это генерал.

— Может, вин и добрый вояка, але який

же з него генерал? — высказал кузнец общее мнение всех селян, когда они впервые увидели генерала в церкви на обедне.

Но все-таки, как он странно ни одевался, как ни держал себя просто со всеми, разговаривал у церкви с ребятами, подавал сам полушку убогим, но был он командиром — шутка ли сказать! — целой дивизии.

И все село завидовало Трохиму, что ему вдруг привалило такое счастье.

У трохимова плетня толпились любопытные бабы и ребятишки, смотрели, что будет дальше, ждали. Бабы стояли у самого перелаза, а ребятам из-за них ничего не было видно. Большие вешались на плетень, а меньшие подглядывали в щели.

К хате подъехала солдатская повозка, запряженная худой лошадейкой. В повозке сидел ямщик в рыжей шапке с желтым, медным орлом и молодой, толстоносый парень — нос у него как добрая груша. Толстоносый парень был, по всей видимости, генеральский денщик.

Никого уже не удивляло то, что у нового генерала всего-навсего один человек, у генерала все было по-иному.

Денщик стал вносить в хату генеральские вещи.

Но и вещей было мало.

Сначала он порадовал всех — достал из узелка и встряхнул настоящий, как надо быть, темнозеленого сукна с золотом и орденами генеральский мундир.

Бабы так и ахнули.

Денщик понес мундир в хату, где мать и дочь Зинченки уже слали полавники, вешали на иконы чистые, вышитые петухами длинные ручники, шесток над кроватью покрывали рядом.

Кроме мундира и таких же штанов и золотого шарфа с темляком, были еще новые ботфорты со шпорами.

Проходивший мимо хаты гончар издали оценил их:

— Справни! Мабуть, карбованьці два коштують!

Параска, жена Зинченки, увидев, какие пышные вещи генерала вносит в хату денщик, толкнула локтем дочку:

— Дивись!

Но остальное все было пустяки: книги в желтых, телячьих переплетах, небольшая подушка в ситцевой наволочке, синий плащ, шпага и ломаный подсвечник.

Не на что смотреть!

На дне повозки больше ничего не было.

Солдат поехал назад к лагерю, а тол-

стоносый, неразговорчивый денщик, кликнув на помощь хозяина, стал зачем-то разбивать в саду, возле дома, палатку.

— Це що, тут буде стояти варта? Генерала вартувати? — полюбопытствовал Зинченко.

— Нет, — буркнул Прохор.

— Самі будете спати? Та хіба ж в хаті місця мало?

— Нет.

Зинченко больше не стал допытываться — из денщика слова хоть клещами рви.

Через минуту угрюмый Прохор сам сказал:

— Ляксандра Васильич не любит в избе спать.

В полдень, неожиданно-негаданно, — никто и не заметил, как он подошел, — явился сам генерал.

Бабы всё так же стояли кучкой у перелаза, говорили разное, забыв о генерале. Говорили про то, что в Хорошках объявилась ведьма и пьет молоко у коров, про то, что к гончарихе, — бога не боится и детей не стыдится, — бегаёт сват.

И в это время кто-то легонько ударил пальцами в толстые бока Горпины, которая стояла у перелаза на самой дороге. Горпина вскрикнула, — боялась щекотки, — круто обернулась, собираясь уже ударить по рукам шаловливого мужика, и обомлела: перед ней стоял, весело улыбаясь, сам генерал.

Когда он возвращался из похода или когда стоял во время обедни на левом клин-госе и издали видны были только его впалые щеки с двумя складками вдоль носа и высокий лоб, изборожденный морщинами, генералу можно было дать за пятьдесят. Но сейчас голубые глаза глядели молодо, небольшой, приятный рот насмешливо улыбался.

— Позволь, красавица! — сказал генерал.

— Ой, льшенько! — смутилась покрасневшая Горпина, пятясь назад.

Генерал легко, как двадцатилетний, перемахнул через перелаз и быстро зашагал к хате.

Бабы оживились, потешаясь над Горпиной, расспрашивали, как генерал пощекотал ее, верили и не верили ее рассказам.

А из хаты доносился веселый, быстрый голос генерала. Ему вторила бойкая скороговорка Параски, жены Зинченки. Хитрая, льстивая баба сокотала, рассыпалась

перед таким важным постояльцем дробней маку.

Но что происходило в хате, не было видно, а всем так не терпелось, хотелось узнать.

Бабы заходили то с одного, то с другого боку — не видать. Наконец, какой-то черноглазый хлопец, бывший пошустрее остальных, перескочил через перелаз, подбежал к хате и смело глянул в небольшое оконце. Он постоял так с минуту, а потом кинулся со всех ног назад к плетню.

Бабы обступили хлопча.

Обедал генерал недолго, по-солдатски. Пообедав, направился в сад, на ходу сбрасывая с плеч полотняную куртку. Заглянул в палатку и вышел оттуда с какой-то бумажкой в руке. Генерал стал быстро ходить по саду, то и дело заглядывая в бумажку и что-то бормоча.

От перелаза было невозможно что-либо услышать. Ребята побежали к саду, со стороны улицы, где рос вишеник. Приникли к плетню, осторожно смотрели из-за него.

— Мыколо, Мыколо, ось я бачу! Иди сюды! — шептал один.

— Та почекай, и у мене добре видно.

— Де він? Де? Я ничего не бачу! — хныкал и лез ко всем ребятам самый маленький из них, не выдавший ничего.

— Ось, дурный! Ось, бачь! — тыкал его головой в проломанный плетень старший хлопец.

Смотрели, жадно слушали, что такое сам с собою говорит генерал, но ничего не понимали: генерал говорил на непонятном языке.

Потихоньку за ребятами потянулись к вишенику любопытные бабы. Подходить к самому плетню соромились. Стояли на дороге, издалека тихо спрашивали у ребят:

— Що він робить?

— Що він говорить?

Ребята разочарованно отвечали:

— А хто ж його зна? Ходить та бормоче.

— А що ж бормоче?

— Молиться, або що?

— Щоць бормоче не по-нашому.

Ребятам уже становилось скучно смотреть на эти генеральские салоги: салоги — как салоги, даже без шпор, на небольшую косичку генерала, на его худую шею.

Ничего интересного!

Но генерал ходил недолго. Он прыгнул

вдруг в палатку и остался в ней. Должно быть, лег спать.

Ребята божились, что слышат, как генерал храпит.

— О, чуешь, чуешь?

— Та ж то Петро сопе!

— Петро, одійди!

Маленький Петро обиженно отошел в сторону.

— О, чуешь?

— Эге!

— Спыть! Мыжоло, побежімо на річку купаться!

А в это время денщик Прохор, не торопясь, обедал за тем же столом, за которым полчаса тому назад ел генерал. Прохор сказал хозяевам, что у его барина такой порядок: после обеда он учит по бумажке турецкий разговор, а потом ложится спать, стало быть пока что можно и ему спокойно пообедать.

— А на що генералові вчитися по-турецькому? — спросила хозяйка.

— Дурна баба! — вмешался муж. — Э турками которий рік воюе і по-християнському з ними буде балакати? В полов кого возьмут, або що.

Хозяин сбегал в шинок, принес полкварты горелки — хотел развязать язык денщика, расспросить у Прохора про такого необычного генерала.

Горелку Прохор выпил охотно, но остался все так же немногословен и мрачен, как и был. Он только сказал, что барин, — что ж барин? — барин ничего, добрый!

— А чи богатый? — спросил Трохим.

— Бога-атый!

— А чи женатый? — спросила Трохи-миха.

— Женат. Барыня, должно быть, сегодня приедут из Москвы. Ждем.

Тут обе Зинченки — мать и дочь — засыпали Прохора вопросами.

Прохор ковырял в зубах пальцами, икал, глядя на опустевшую полкварту, и, слабо понимая, что такое лопочут бабы, все переспрашивал:

— Ась? Чего-с?

Разобрав наконец, что они хотят побольше знать о генеральше: какого она роду, красивая ли и прочее, Прохор только махнул рукой и изрек:

— Баба да бес — один у них вес!

И больше не стал говорить — курил, задумчиво вертя в пальцах пустую чарку. Хозяйка, отчаявшись разузнать у деи-

ника что-нибудь еще, стала собирать со стола, когда на улице послышался шум.

Ее дочь глянула в окно, всплеснула руками и закричала:

— Генеральша иде!

Хозяева опрометью бросились из хаты. А Прохор нетвердыми ногами побегал в сад будить барина.

К дому действительно подъезжала целая вереница телег, точно свадебный поезд. Впереди ехала высокая коляска, запряженная тройкой лошадей. В ней сидели полная, румяная женщина лет тридцати и молодой офицер в новеньком мундире и треуголке. Между ними виднелась светловолосая, пушистая головка миловидной девочки с большим голубым бантом в волосах. На передней скамейке, против господ, сидела горничная.

На следующих возках и телегах, среди узлов, сундуков и корзин, пестрели кофты и платки дворовых девок.

Навстречу приехавшим бежал из сада, в туфлях на босу ногу, генерал. Он радостно улыбался и кричал:

— А, приехали! Добро пожаловать!

Горничная, сидевшая в коляске, взяла на руки девочку и передала ее подбежавшему генералу. Генерал подхватил дочь и стал целовать ее, приговаривая:

— Наташенька!

— Сестричка!

— Суворочка!

Молодой офицер выпрыгнул из коляски и помог выйти барыне, которая без удовольствия смотрела на эти низенькие белые хатки, на желтые головы подсолнечников, на горшки, сушившиеся на плетне.

Генеральша, шурша юбками, подплыла к мужу. Он, не отпуская дочери, одной рукой обнял жену, поцеловал ее и пошел к хате, нисколько не обращая внимания на щеголя-офицера, который, сняв треуголку, почтительно стоял поодаль.

— Саша, — остановила мужа генеральша, — что ж ты не здороваешься с Николаем Сергеевичем? Племянника знать не хочешь?

Генерал, державший дочку на плече, обернулся. Быстро взглянул на щеголя-офицера.

— Здравия желаю, дядюшка! — поклонился офицер.

— Здорово, дружок, здорово! — каким-то вялым, безразличным голосом ответил генерал, делая шаг к племяннику и подставляя ему щеку для поцелуя.

— Николай Сергеевич нас сопровождал, охранял! — сказала жена.

Генерал фыркнул:

— Услужил! Премного благодарен! Помилуй бог, услужил! — все так же неласково говорил генерал, меряя с ног до головы неожиданно приехавшего родственника.

Потом вдруг его глаза снова вспыхнули всегдашним огнем.

— Сергея, двоюродного брата, сынок? — как будто что-то вспоминая, твердо спросил он.

— Точно так.

— В каком чине изволите служить, ваше благородие?

— Секунд-майор.

Генерал еще раз окинул его быстрым взглядом и, приговаривая: «Секунд, секунд», — побегал к хате вприпрыжку, изображая лошадь.

Светловолосая девочка звонко смеялась, держа за голову отца обеими руками.

Генеральша шла за ними, недовольно поджав толстые губы. Секунд-майор смущенно следовал сзади...

Бабам хватало разговоров о зинченковых постояльцах на целый день. Все село тотчас же узнало, что генеральша Суворова привезла с собой двенадцать дворовых девок и шесть сундуков с платьем, что она заказала Параске варить только для девок на обед три курицы, а себе — селезня и поросенка, что у генеральши полны руки колец, что она как стала переодеваться, так на ней было накручено пять шелковых юбок, не считая исподних, что она, видать, настоящая, богатая барыня.

II

Ветра почти не было, пламя свечи едва колебалось. Александр Васильевич сидел у себя в палатке и писал. Он встал, как обычно, в третьем часу пополуночи. На густом украинском небе еще ярко горели звезды. Было тихо. Лишь в саду время от времени с глухим стуком падало на землю яблоко да по всему селу перекликались верные часовые — горластые петухи.

Александр Васильевич занимался хозяйственными делами. Сегодня уезжали назад подводы, привезшие вчера варютины вещи и дворовых девок. Нужно было еще раз прочесть все письма и отчеты московского домоправителя и адъютанта, поручика Кузнецова, которого Суворов звал просто

«Матвейчем», и корявые, смешные письма старост других суворовских вотчин и деревень.

После смерти батюшки, который умер в ту осень, когда родилась Наташенька, ровно четыре года тому назад, Александру Васильевичу приходилось самому заниматься всеми этими постылыми хозяйственными делами. Раньше он не касался всего этого, а теперь нужно было вникать во все самому.

Нужно было помнить, что в Рождестве мало заведено домашней птицы, в Ундоле надо строить дом, а в Кончанском староста — видно по письмам — лжец и льстец и, стало быть, от него нет житья мужикам, но проверить это пока что нельзя: в Кончанском Суворов еще ни разу не был.

Наконец, надо следить за всеми плутнями постоянного стряпчего Терентия Ивановича, известного болтуна и безвестного пинты, а прежде всего первостатейного прохвоста, которому Александр Васильевич два года назад как-то неосмотрительно доверил ведение своих дел. «Велеречивый юрист Терентий», как для себя называл его Александр Васильевич, всегда вел в суде какую-то тяжбу. Суворов прекрасно понимал, зачем это делается: затем, чтобы показать, что Терентий Иванович не зря получает в год пятьсот рублей ассигнациями.

Александр Васильевич не терпел всех этих хозяйственных дел; они напоминали ему те несносные годы, когда он был оберпровиантмейстером в Новгороде и комендантом в Мемеле.

Но делать было нечего: приходилось читать отчеты, думать о разных хозяйских мелочах, хотя у Суворова и без них было о чем думать. Приходилось решать (решал-то Александр Васильевич быстро!) и, что скучнее всего, писать.

Александр Васильевич уже написал длинное письмо Матвейчу. Матвейч — хороший, честный служака, но еще молод. В голове у него бог весть что, и, если ему во-время не напомнить, — поди, все перезабудет.

Александр Васильевич напомнил ему о дровах (поколоты, сохнут ли?), о том, что надо наварить и зарубить в лед крепкого русского пива (пиво Александр Васильевич любил), о том, чтобы насушить к зиме грибов, насолить огурцов, наготовить капусты белой и с серой и кочанной.

Подумал и приписал:

«Также и всех земляных продуктов довольно число в запасе до новых».

Кажется, все?

Нет, еще о музыкантах и певчих!

В московской дворне осталось от батюшки довольно музыкантов и певчих. Александр Васильевич тоже любил музыку и пение, но не мог примириться с тем, что теперь все эти люди сидят там ничего не делая. В прошлом письме он написал Матвейчу, чтобы все музыканты и певцы работали в огороде, в саду, на пашне — где захотят, чтобы сами добывали себе хлеб. Велел дать им коров, лошадей, семена, бороны, сохи. А Матвейч пишет, что не все взялись за хозяйство.

Конечно, дудить в трубу или петь — легче, чем за сошкой ходить! Но от лени и праздности — одни пороки.

Написал:

«Остающимся вокальным инструментам пахать и сеять».

Вот теперь все. Только ответить на письмо старосты Пензенского села Никольского.

Староста хочет отдать бобыля в рекруты.

Вспомнил — обозлился:

«А почему бобыль? Почему допустили до того, что шатается по миру голодный?»

С размаху ткнул пером в чернильницу. Мелко, бисерным почерком, быстро застрожил:

«Бобыля отнюдь в рекруты не отдавать. Не надлежало позволять бродить ему по сторонам. С получением сего, этого бобыля женить и завести ему миром хозяйство. Буде же замешкаетесь, то я велю его женить на вашей первостатейной девице, а доколе он исправится, ему пособлять миром во всем: завести ему дом, ложку, плошку, скотину и прочее».

Даже кляксу посадил с досады:

«Староста! Толстая морда! Самого бы его на место этого парня-бобыля! Бобыль, бобыль!»

Да, он прекрасно знает, что такое бобыль! Таких бобылей у него в полках — сотни. Честные люди, прекрасные, исполнительные, храбрые солдаты.

Александр Васильевич вскочил. Шагнуло по палатке, но в ней не разойдешься: шагнешь — и уже очутишься в саду. Схватил со стола табакерку. Понюхал и сморщился, прислушиваясь.

Чихнул.

— Дрянь табачок! Ах, ты, Матвейч,

Матвейч, простая душа! — покачал он головой. — Добрый человек, а любой торгаш вокруг пальца тебя обведет: вот всучили какую-то дрянь!

Матвейч прислал с Варютой табуку, и, как всегда, — прислал ли он чаю или табуку, — все плохо. (А к чаю и табуку Александр Васильевич был равнодушен.)

Сам не нюхает, а ведь не посоветуется со знающим человеком! Верит торговцу!

Суворов сел и, взяв перо, написал:

«От нюхательного табуку, тобой присланного, у меня голова болит. Через знатоков надобно впредь покупать, смотри исправно внутрь, а не на обертку, чтобы не была позолоченная ослиная голова».

Задумался.

Вот и Варюта такая же, как Матвейч: все на обертку только смотрит, и оттого все у нее — «позолоченная ослиная голова». Притащила с собой этого франта-глемянника.

Суворов фыркнул с досады:

— Дура!

Думал, Варюша — крепкая девка, из нее выйдет добрая мать-командирша, солдатская жена, товарищ в походе, в лагере. Ан вышло не так! Вышло такое, что лучше и не говорить...

В это время издалека слышалось тархтенье колес — ехали подводы, которым Александр Васильевич велел еще до света стправиться из села назад, в Москву.

Сколько раз он говорил Варюте, чтобы она, приезжая к нему в армию, не тащила с собой весь этот курятник — целую кучу ненужных дворовых девок.

Прозоровские век жили на широкую ногу, привыкли без толку сорить деньгами направо и налево. У них в доме всегда толкалось без дела пропасть народу — горничные, лакеи, разные кофишенки, музыканты, казачки. Приехала и сюда с этим выводком!

Александр Васильевич сам ни одного часу не сидел без дела и не переносил безделья и лени ни в ком.

Потому он решил оставить при Варюте и Наташеньке одну горничную Улю, данную за Варютой в приданое, а остальных, двенадцать рождественских девок, немедля, сегодня же, отправить во-свояси, в Москву. И отправить спозаранку, пока Варюта спит, чтоб меньше было слез и крику.

Подводы подъезжали. Уже, заслышав их, Прохор пошел будить девок — собираться в дорогу.

Нужно было кончать письма.

Александр Васильевич перечел еще раз все, что написал. Приписал:

«Пиши, Матвейч, кратко да подробно и ясно да и без дальних комплиментов!»

Подписался, присыпал письмо песком и стал складывать толстый лист.

Сверху надписал:

«Государю моему, моему младшему адъютанту, его благородию Степану Матвеевичу Кузнецову в доме моем близ церкви Вознесения у Никитских ворот».

Достал сургуч и печать. Запечатал.

В палатке приятно запахло сургучом.

Посмотрел на печать, как получилось. Хорошо: знамена, пушки, сабли — четки, ясны.

И легко можно прочесть вытисненный на печати суворовский девиз: «*Virtute et veritate*».¹

III

Варваре Ивановне хорошо спалось с дороги.

Она не слышала ничего: как уезжали девушки, как мимо хаты гнали в поле скотину, как встала Наташа, которой постлали на лавке, у окна.

Когда Варвара Ивановна открыла глаза, солнце стояло уже высоко.

Варвара Ивановна лежала, осматривая хату:

«Эти грубые половики выбросить, постлать свой бухарский ковер. Холстину, что висит на шестке, над кроватью, тоже убрать. Вместо нее можно будет повесить шаль. А ручки на иконах пусть висят!» — думала она.

Решила вставать — хотелось есть.

— Уля! — позвала она горничную.

Ответа не было.

— Ульяна! — повторила Варвара Ивановна.

Молчание.

— Ушла куда-нибудь. Маша! — крикнула она погромче.

Никого.

Начинала разбирать злость.

— Не слышат! Оглохли! Вот встану, я ж вам! Настя! — уже сердито закричала Варвара Ивановна. — Настя!

Все то же — никакого ответа.

Варвара Ивановна вскочила с кровати в одной сорочке, босиком побежала по

¹ Добродетелью и справедливостью.

холодному глиняному полу, приоткрыла дверь в нагретые солнцем, пахнувшие огурцами, дынями и какими-то травами сени:

— Девки, подите сюда!

На крыльце кто-то зашевелился, шагнул в сени. И в ярком солнечном свете показалась не то смущенная, не то виноватая рожа Прохора.

Варвара Ивановна захлопнула дверь, быстро побежала назад к кровати и села, прикрывшись одеялом.

Дверь медленно отворилась, и в нее сначала просунулся толстый нос Прохора, а потом и весь он сам пролез бочком в хату:

— Чего изволите, ваше превосходительство?

Денщик стоял у порога, потупив голову, старался не смотреть на полуобнаженные, полные плечи генеральши и ее голые ноги.

— Ты чего влез? Разве я тебя звала? — накинулась на него Варвара Ивановна. — Где все девки? Что это значит? Куда они ушли?

— Барин уснул.

— Куда уснул? — встревожилась Варвара Ивановна, чуя недоброе.

— Домой.

— Как домой? Куда домой?

— В Рождествено.

Варвару Ивановну точно обухом ударило.

— Ты пьян? Ты... — запнулась она от гнева.

— Никак нет, ваше превосходительство, я не пьян! — впервые поднял он на барыню глаза: действительно, хотелось бы выпить, но сегодня еще нигде не довелось.

— Что ж он, старый бес, с ума сошел? — дрожащим от слез голосом закричала Варвара Ивановна. — Почему он уснул?

— Ляксандра Васильич говорят: «А чего ж, говорят, им здесь баклуши бить?»

— И кроме тебя, дурака, никого не есталось?

— Зачем никого? Есть! Ульяна есть. Она за Наташенькой побежала. Я сейчас...

И он уже повернулся к двери, но в это время в хату вбежала Ульяна.

Прохор воспользовался ее приходом и поскорее шмыгнул в сени, подальше от беды.

Из хаты неся плач рассерженной, расстроенной барыни.

«Ничего, бабы слезы дешевы!» — думал

Прохор, идучи ставить для барыни самовар.

И он оказался прав: барыня скоро поухла и успокоилась. А когда к чаю пришел племянник Николай Сергеевич, которого поместился в соседней хате, Варвара Ивановна уже смеялась.

Такую, смеющуюся и веселую, застал ее Александр Васильевич, возвратившийся сегодня из лагеря несколько раньше вчерашнего.

Суворов тоже был в отменном настроении: день складывался как-то хорошо.

Надоедливые хозяйственные дела улажены, о них можно уже долгое время не думать; девки, которые раздражали бы своей всегдашней суетой и бездельем, уехали; больных в лагере немного — не более пяти человек на полк; егеря стреляли на ученье хорошо, и, — главное, — дома его ждали Варюта и Наташенька.

Что бы ни делал Александр Васильевич, — смотрел ли, как полужены ротные котлы, следил ли за тем, как егеря быстро заряжают ружья, — но все время сегодня где-то стояла мысль о жене и дочери.

Не доходя до трохимовой хаты, Александр Васильевич на улице увидел Наташеньку. Она вместе с какими-то крестьянскими ребятишками играла возле низенькой хаты.

Была Наташа в одном платьице, с непокрытой головой и босая.

Александр Васильевичу понравилось это. Вспомнилось, как он, бывало, в детстве, в Рождествено, вот так же целыми днями играл на улице с дворовыми мальчишками в разбойников, без счета купался в речке и вместе со всеми за компанию лазал в отцовский сад воровать зеленый крыжовник.

«В меня пошла», — подумал Суворов.

Ребята, увидев подходившего генерала, сказали об этом Наташе. Она обернулась и бросилась навстречу. Повисла у отца на руках. А потом, когда отец поднял ее целую, попросила:

— Папенька, прокати как вчера!

Александр Васильевич усадил ее себе на шею и, держа руками за ее голые, все в песке, толстые ножки, побежал к хате.

Так, верхом на папеньке, Наташа и въехала в хату.

— Вот и мы! Принимайте, маменька, гусара! — весело сказал Александр Василь-

нич, входя в чисто прибранную, прохладную хату.

Варвара Ивановна поднялась из-за стола, но племянник опередил ее и снял с плеч Александра Васильевича Наташеньку.

Суворов ласково поздоровался с племянником.

— Вчера запомнил, а сегодня вспомнил тебя, Коля! — сказал он. — Служить ж нам пожаловал?

— Хотелось бы, дядюшка!

— Ладно. Послужим! — ответила Суворов. — Ну, как, Варенька, тебе спалось на новом месте? — спросил он, целуя жену.

Варвара Ивановна вспомнила давешнюю обиду и уже нахмурилась, но муж предупредил ее:

— Знаю, знаю: гневаешься, что отослал домой твоих дур? Не сердись, душа моя! Ведь, право, им тут нечего делать! В прошлом году жили же мы в Крыму с одной Улей и Прохором. И неплохо!

Если бы в хате не было Николая Сергеевича, Варвара Ивановна не так легко простила бы мужу, но теперь ей не хотелось поднимать спор. Тем более еще, что Александр Васильевич сегодня был особенно ласков, даже с Николаем Сергеевичем.

И она только возразила:

— Да разве Уля справится одна со всем?

— А Прохор зачем?

— Прохор вечно пьян.

— Выпить он любит, это верно, но зато хороший слуга. Пьян да умен — два угодья в нем. — улыбнулся Суворов.

— А что подумают о нас люди? Генерал — а один денщик да горничная, точно мелкопоместные какие!

— Пусть думают что хотят, помилуй бог! Меня моя матушка-императрица знает, меня солдат знает, а до остального мне и дела нет! — ответил Суворов.

И на этом разговор о дворовых девках окончился.

IV

Четырехлетняя Наташа проснулась, как всегда, — вместе с мухами: еще все спали, но мухи уже почуяли день, без усталости кружились под потолком.

В хате стоял полумрак — на ночь окна закрывались старыми, щелистыми ставнями. В полумраке все представлялось иным: арбузы на лавке — словно чьи-то головы, а маменькин салоп — как страш-

ная ведьма, о которой вчера, захлебываясь от страха, рассказывала вечером Гапка.

Но Наташа — не трусиха.

Это вечером немного страшновато пробежать через темные сени, когда не знаешь к тому же, дома ли маменька или опять ушла куда-нибудь с дядей Колей. Но теперь — ничего. Теперь Наташа чувствовала, что выспалась, значит уже утро, значит на дворе солнце, голубое небо, а над садом, над ставом высоко пролетают тонкие паутинки.

Наташа повернулась к маменькиной кровати. Голубое атласное одеяло возвышалось на постели точно гора. Середина этой горы едва заметно колыхалась. Так и есть: маменька еще спит.

Но за окном, в саду, где стояла папенькина палатка, слышались голоса: один — быстрый, со смешком, а другой — медленный, приглушенный, гудевший точно шмель в вишеннике. Папенька встал уж, — он вставал раньше Наташи, — напился чаю, побегал по саду и теперь сидит и читает толстую книгу, а Прохор, как всегда с утра, бурчит, чем-то недоволен.

Вставать, вставать!

Наташа отбросила одеяло, схватила платье, перекинутое через спинку кровати. Повертела платье в руках, чтобы найти на нем желтенькую пуговку. Уля всегда твердит: эта пуговка должна быть сзади. Нашла ее, надела платье так, как учила Уля. Пуговка все-таки очутилась почему-то на груди, но Наташа не стала переодеваться — некогда: папа сейчас убежит в лагерь к солдатам.

Наташа легла животом на кровать, спустила вниз толстые, загорелые ноги и привычно соскочила на холодноватый глиняный пол. Побежала к дверям, встряхивая своими пушистыми льняными кудрями.

В сенях было уже совершенно светло. Наташе казалось странным, что горничная Уля, спавшая в сенях на полу, может в такую пору сладко храпеть.

Хлопнув дверью, Наташа выскочила на крыльцо.

Улица была пуста. Солнце только что всходило. На белой стене низенькой, одноглазой хатенки, где жила Гапка, наташина подруга, горели первые солнечные лучи.

Наташа бочком спустилась по ступенькам крыльца, бесстрашно прошла мимо

злого индюка, который забавно надулся и пыхтел, и побежала в сад.

Еще издали она увидела всегдашнюю картину: под яблоней, на складном стуле, сидел папенька. На коленях у него лежала та же самая толстая книга, в которой нарисованы солдаты и пушки. Папенька что-то говорил Прохору, выглядывавшему из палатки. Маленькая косичка папеньки, перевязанная черной шелковой лентой, смешно вздрагивала.

Отца Наташа любила больше, чем мать.

Наташа — непоседа и егоза. От маменьки всегда только и слышишь: «Не тронь», «Положи на место», «Ступай, займись своим делом». У маменьки много припасено для Наташи этих «нельзя»: перед обедом есть варенье — нельзя, полоскаться в пруду — нельзя, драться с мальчишками на улице — нельзя. Маменька редко сама играла с Наташей и никогда не брала ее с собой, когда собиралась итти гулять с дядей Колей на реку или в леваду.

А с папенькой всегда весело.

Его не надо было просить, он сам охотно шалил с Наташей: играл в прятки, прыгал на одной ножке, умел смешно лаять по-собачьи, так что хозяйская кошка Мушка, услышав лай, в страхе и недоумении смотрела то на папеньку, то на Наташу: где же этот страшный пес? А Наташа стояла, зажав руки в коленки, смеялась над глупой Мушкой.

И, самое главное, папенька все позволял Наташе: бегать босиком, играть на улице с Гапкой, пить холодную воду.

В палатке у него ничего интересного не было, у маменьки в хате куда интереснее: и разноцветные лоскутики, и красивые шелковые ленты, и флакончики на столе у зеркала. Так и хочется все посмотреть, потрогать, но это заказано.

А в папенькиной палатке даже зеркала нет, ничего нет, кроме книг и большого флакона с одедаваном. Но с папенькой все равно веселее!

И Наташа спешила к отцу, чтобы еще застать его дома.

По скошенной, совершенно выгоревшей от солнца траве быстро не побежишь — колется. Наташа знала уже, как надо бегать: поджимала пальцы, ступала не на всю ногу, а на ребро, и все-таки ногам было больно.

Но отец уже увидел ее. Он с радостным криком кинулся ей навстречу:

— А, шалуныя моя! Сестричка! Суво-

рочка! Хош гельдюн! (Наташа знала от папеньки: это по-турецки значит «Здравствуй!»).

Он подхватил Наташу подмышки, поцеловал в обе щеки, — щеки у Наташи были пухлые и румяные, как у маменьки, — и подбросил высоко вверх.

У Наташи сладко захватило дух — и страшно и приятно. Она зажмурилась глазами.

— Как спали-почивали, ваше превосходительство? — спросил ее отец, держа на руках.

Наташа не ответила на вопрос. Улыбаясь, она пристально рассматривала это знакомое, худощавое лицо, высокий лоб, на котором, как ступеньки, одна над другой легли морщины. Потом вдруг обняла отца за шею обеими руками и потрогала его косичку.

Папенька состроил уморительную гримасу и запрыгал на одном месте.

— Ой, Суворочка! Сакын эилеме шу шей!¹ — взмолился он.

Этих слов Наташа не знала, но поняла: трогать косу нельзя. Она опустила руки и сказала:

— И у меня будет такая коса, как у тебя, Уля говорила.

— Ага! Я свою косу скоро отрежу.

— Почему? Заплетать надоело?

— Скоро, сестричка, все солдаты будут без кос.

— Ты хитрый, я знаю: боишься, что у меня коса вырастет больше твоей!

— Боюсь, Суворочка, боюсь! А ты что сегодня так поздно встала? Мы ведь ложились вместе! Вероятно, нескоро заснула? — спросил отец. — Кто тебе не давал спать? Мухи кусали?

Он всегда ложился спать с закатом солнца.

— Я маменьку ждала. Знаешь, — ожилилась Наташа, — что я тебе смешное расскажу?

— Ну, что? Гапку опять индюк напугал?

— Нет. Вчера вечером дядя Коля кормил маменьку вареньем с ложечки, как маленькую: сам ест и ей дает. Так смешно было! Я еще не спала, видела, — рассмеялась Наташа.

Но папенька почему-то не смеялся. Он вдруг спустил Наташу с рук на землю и сказал:

¹ Не делай этого!

— Ступай, Наташенька! Мне надо идти. Он подбежал к палатке, схватил трезулку и, размахивая ею, быстро пошел из сада.

Наташа побежала к перелазу через плетень. Смотрела вслед отцу.

Папенька шел, как всегда, очень быстро. Но сегодня он почему-то ни разу не обернулся и не помахал Наташе рукой. И перед уходом забыл спросить у Наташи, как будет по-турецки «первый», «второй», «третий»: папенька учил Наташу считать.

И теперь Наташа невольно повторяла затверженные слова: «биринджи», «икинджи», «ючинджи».

V

Варвара Ивановна уже две недели жила в селе. Всякий раз, как она приезжала из Москвы к мужу в армию, ей быстро надоедала эта походная обстановка.

Александр Васильевич целый день был занят. Он вставал еще ночью и уже с восходом солнца уходил к своим солдатам, а потом читал газеты и книги и обязательно учил по тетрадке какие-либо турецкие или татарские слова.

А ей без дела было скучно! Дома, в Москве, Варвара Ивановна тоже ничего не делала, но день был как-то заполнен: то приезжали гости, то сама отправлялась к родным и знакомым, ездила в церковь, наконец распоряжалась по хозяйству — давала работу своим девушкам. День и проходил незаметно.

А здесь он тянулся мучительно-длинный, ничем не занятый. Читать Варвара Ивановна не любила, в церковь ходить здесь мало удовольствия — от холопых сапог несет дегтем, на клиросе гнусавит один дьячок. Да и кого встретишь в сельской церкви? В гости поехать не к кому — Александр Васильевич ни с кем из окрестных панов-помещиков не заводил знакомства.

Варвара Ивановна, зная, что деревня ей скоро наскучит, взяла с собой побольше прислуги, чтобы хоть было чем заняться. Но муж на следующий же день услаив всю дворню назад, в Москву. Сам командовал тысячами людей, а ей оставил одну Ульяну да угрюмого Прохора.

Унижаться же и говорить с деревенскими бабами она не хотела. Изредка лишь говорила о том, о сем со своей хозяйкой Параской, но и то Варвара Ивановна

очень плохо понимала ее быструю украинскую речь.

Возиться с Наташей она не очень любила, да Наташа была похожа на отца: как убегала утром с ребятами, так Уля едва находила ее к обеду и ужину. Наташа загорела, потолстела и стала разговаривать как холопка: подсолнечник называла «сонешником», вместо «яйца» — говорила «крашанки» и так далее. Варвару Ивановну это раздражало. В первые дни она не отпускала дочь на улицу, чтобы Наташа не играла с холопскими детьми, но Наташа томилась, плакала. И кроме того папенька во всем поддерживал Наташу. Он ничего не имел против того, чтобы его дочь играла с деревенскими ребятами, и всегда потешался, когда Наташа за столом говорила:

— Мамочка, насыпь мне еще борщу!

— Что ты говоришь? Ну, как это можно «насыпать» борщу, когда он жидкий? — возмущалась Варвара Ивановна.

— Ты напрасно, Варенька, ее бранишь — она правильно говорит, — заступался отец. — Всякий язык хорош. А чем какой-нибудь турецкий лучше украинского? Говори, говори, сестричка! Учись! Языки надо знать.

И Варвара Ивановна отступилась от Наташи. Она знала, что скоро вернется в Москву и от наташина украинского языка в две недели не останется и следа: девочка так же быстро забудет все эти слова, как быстро запомнила.

Варвара Ивановна совсем умерла бы от тоски, если бы не племянник мужа Николай Сергеевич.

Мужа Варвара Ивановна не любила, только терпела. Выходила она за Суворова по расчету, так настояли родители. Вдыхателей у Варюты было предостаточно, а женихов — ни одного; знали, что генерал-аншеф Прозоровский прожилась и ничего за дочерью дать не может.

Александр Васильевич был некрасив и стар, а то, что бегал он словно двадцатилетний, был жизнерадостен и бодр, что его глаза глядели по-молодому, — все это только раздражало Варвару Ивановну: сидел бы уж!

Она очень любила военных, но не такую серую армейщину, а нарядных гвардейцев.

Племянник Николай Сергеевич хотя и служил в армии, а был другой человек: он одевался с иголки, говорил вкрадчиво, не рубил так по-солдатски, как

Александр Васильевич, и томно поглядывал на Варюту своими карими с поволокой глазами.

Варваре Ивановне племянник нравился.

Александр Васильевич дал ему работу — прикомандировал к какому-то полку. Николай Сергеевич бывал на разных ученьях, дежурил по лагерю и все же находил время развлекать скучающую молодую тетушку.

Особенно хороши были эти лунные ночи на обрыве над рекой, когда все кругом спало и только они вдвоем сидели на белом плаще Николая Сергеевича.

Варвара Ивановна возвращалась домой поздно. Иногда она еще не успевала заснуть, как слышала, что уже в своей палатке проснулся муж. Он ничего не знал об этих ночных прогулках, в последнее время был занят обмундированием солдат и не видел ничего, о чем уже на селе давно перешептывались любопытные, все замечающие кумушки.

...Александр Васильевич проснулся. В палатку еще светила луна.

Ему вдруг пришла в голову хорошая мысль — поднять сегодня всю дивизию и пойти маршем до Полтавы. Уже недели три куда далеко не ходили, и люди немного закисло на одном месте.

Александр Васильевич вскочил, вылил на себя ведро воды, поставленное еще с вечера Прохором у палатки, быстро оделся и разбудил денщика, который спал под яблоней.

— Ступай к секунд-майору, подыми его! Идем в поход, — сказал Суворов.

Прохор, почесываясь, встал и, не торопясь, пошел к соседней хате гончара, где жил Николай Сергеевич.

Суворов стоял у плетня, ожидая племянника. Смотрел на голубовато-белые, очаровательные в лунном свете низенькие хатки, на высокие тополя.

Прохор возвращался почему-то один.

«Ишь копается! Тоже солдат, помилуй бог!» — подумал о племяннике Суворов. — Ну что, скоро он там?

— Их благородия нету дома, — ответил Прохор глухим басом.

— А где же он?

— Кто их знает! Хозяйка сказывала: как ушли ввечеру, так еще не возвращались. Должно, гуляют. Известно, дело молодое! — зевая, ответил Прохор и пошел досыпать.

Неясная догадка мелькнула в голове

Суворова. Он круто повернулся и, обгоняя Прохора, зашагал к хате.

В сених, в молочной полосе лунного света, спала на полу Ульяна. Она не слышала, как вошел барин. Суворов осторожно открыл дверь в хату. Окна, как всегда, были закрыты ставнями, чтобы утром не докучали мухи.

Александр Васильевич секунду постоял у порога, прислушиваясь. Слышалось только мерное дыхание Наташеньки. Он в темноте привычным путем подошел к постели жены. Протянул руку.

Постель была приготовлена — подушки взбиты, одеяло отложено. Но на постели никого не было.

Александр Васильевич выбежал из хаты. Стало все ясно. Кровь ударила в голову:

— Стервец! Племянничек! Секунд-майор!

Александр Васильевич почти бежал по пустынной улице. Душила злорада.

Сколько сплетен ходило о ней в Москве! Не слушал, не давал им веры, а теперь...

На повороте из села к лагерю, в аллее из тополей, он увидел какие-то фигуры. Один человек зачем-то прыгнул в канаву и, пригибаясь к земле, побежал в сторону. Второй, прикрывшись чем-то белым, стоял, прислонившись к дереву.

Суворов подошел и глянул.

Перед ним, закутавшись в белый плащ Николая Сергеевича, стояла Варюта. При бледном свете луны он видел только ее красивые глаза. Они смеялись не то смущенно, не то дерзко.

Александр Васильевич на мгновение загнулся от злости.

— Я ваши непотребства терпеть далее не намерен! Вы мне больше не жена! — крикнул он и, не оглядываясь, побежал к лагерю.

«Тотчас же подать прошение о разводе. Наташеньку отнять. Оставлять на руках у такой мамы — преступление! Просить Светлейшего, просить императрицу принять Наташу в Смольный институт».

Решение пришло мгновенно. Он привык никогда не теряться, даже в самых затруднительных случаях жизни.

Выступление дивизии в поход пришлось отсрочить на полчаса.

В дежурной палатке Суворов диктовал писарю челобитную в Духовную консисторию о разводе. В эти минуты сам не

■ бы писать — получились бы одни
■ яксы.

Суворов ходил из угла в угол палатки
■ диктовал:

«И как таковым откровенным бесчи-
■ шем осквернила законное супружество,
бесчестив брак позорно, напротив того я
■ облюдовал и храню честно ложе, будучи
■ ри желаемом здоровье и силах своих, то
ю таким беззакониям с нею более жить
■ к желаю».

Угрюватый, немолодой писарь стара-
■ льно писал, заранее предвкушая, какую
■ логшибательную новость расскажет он
■ сегодня всем штабным писарям.

— Написал. Что дальше прикажете? —
■ спросил писарь.

Суворов махнул рукой:

— Кончай! Заключай! Все сказано.
■ Конец! Finis!

Писарь не знал, что такое «finis». Се-
■ кунду подумал: писать аль нет? Генерал
■ страсть не любит немогузнайства. Но не
■ написал:

«Ежели спросит, скажу: не учул».

Написал, встал, подал генералу бумагу.
■ Суворов схватил перо, смаху подписал,
■ не читая.

— Отослать немедля! — приказал он.

«Ну вот, семейная жизнь не удалась,
■ окончена бесславно, — огорченно подумал
■ он. — Но военная еще впереди! Военная
■ должна удалиться во что бы то ни стало».

— Трубач, подъем! — крикнул он гор-
■ нисту.

.. Когда через два дня дивизия воз-
■ вратилась назад в лагерь, Суворов даже
■ не поехал в село. Впрочем, это было и не-
■ зачем: Варвара Ивановна с Наташей,
■ Улей и Николаем Сергеевичем в то же
■ злосчастное утро выехали в Москву.

— Несчастливая у тебя хата, Тро-
■ хим! — смеялись соседи Зинченки.

ГЕНЕРАЛ «ВПЕРЕД»

Со времени великого Евге-
■ ния искусство унижения полу-
■ месяца принадлежало только
■ искусственным русским генералам.

*Принц Кобургский в письме
■ к Суворову*

I

«Милая моя Суворочка! Письмо твое
■ от 31 числа Генваря получил; ты меня
■ так утешила, что я по обычаю моему от
■ утехи заплакал. Кто-то тебя, мой друг,

■ учит такому «красному слогу? О! ай-да
■ Суворочка, как уже у нас много полевого
■ салата, птиц, жаворожков, стерлядей,
■ воробьев, полевых цветков! Морские волны
■ бьют в берега, как у вас в крепости из
■ пушек. От нас слышно, как в Очакове
■ собачки лают, как петухи поют. Куда бы
■ я, матушка, посмотрел тебя в белом
■ платье! Как-то ты растешь? Как увидимся,
■ не забудь мне рассказать...»

Дальше две строчки были зачеркнуты—
■ видимо, что-то не понравилось. Александр
■ Васильевич всегда писал осторожно, вы-
■ бирая слова: знал, что императрица чи-
■ тает все его письма, даже к дочери.

Суворов, перебиравший у стола свои
■ бумаги, заметки, письма, радостно улыб-
■ нулся:

«Большая доченька! Тринадцатый год!
■ Уже в белом платье! В старшем классе
■ Смольного! Время-то как летит!»

Ему вспомнилось, как — еще, кажется
■ так недавно, — Наташенька бегала с дере-
■ венскими ребятишками босиком. Загибая
■ толстые пальчики, забавно считала по-
■ турецки, — сам же учил ее: биринджй,
■ икинджй, ючинджй... .

Мысли невольно перескочили к жене,
■ к Варюте.

С ней у Александра Васильевича все
■ кончено. О жене Суворов избегал не толь-
■ ко говорить, но даже думать. Он нахму-
■ рился. Пальцы вновь стали торопливо
■ перелистывать бумаги — листки, исписан-
■ ные черновиками писем, заметками, отчеты
■ старост, разные письма к нему самому.

Под руку снова попались исчерканные
■ четвертушки — письма к Наташеньке. Все,
■ что было связано с нею, с доченькой, все
■ было дорого, приятно его сердцу. Глянул:
■ писал из-под Кинбурна, о турках:

«Какой же у них по ночам в Очакове
■ вой! Собачки поют волками, коровы
■ охают, кошки блеют, козы ревут. Я сплю
■ на косе: она так далеко в море, в лимане.
■ Как гуляю, слышно, что они говорят; они
■ там около нас, очень много, на таких пре-
■ великих лодках, шесты большие, к обла-
■ кам, полотны на них на версту; видно,
■ как табак курят; песни поют заунывные.
■ На иной лодке их больше, чем у вас во
■ всем Смольном мух, — красненькие, зе-
■ лененькие, синенькие, серенькие. Ружья у
■ них такие большие, как камера, где ты
■ спишь с сестрицами».

Второй листок был поменьше:

«В Ильин и на другой день мы были в Réfectoire с турками. Ай да ох! Как же мы потчивались! Играли, бросали свинцовым большим горохом да железными кеглями, в твою голову величины, у нас были такие длинные булавки да ножницы кривые и прямые, рука не попадайся: тотчас отрежет хоть и голову. Ну полно с тебя, заврался! Кончилось иллюминациею, фейерверком — с Festin турки ушли, ой далеко! Богу молиться по-своему и только: больше нет ничего!»

«Это тоже из-под Кинбурна», — подумал он.

Суворов припомнил, с какой радостью прискакал в Кинбурн командовать передовой линией, когда Турция объявила войну; хитрые англичане снова уговорили горячие турецкие головы ввязаться в войну с Россией: англичанам было выгодно, чтобы не русские, а турки плавали по Черному морю.

Александр Васильевич попал в самый огонь и к тому же полновластным начальником — никаких безмозглых «Ивашек» и взбалмошных Каменских.

Вспомнилось, как в самый Покров турки, под руководством французских офицеров, высаживались на узкой Кинбурнской косе. Как дрались наши молодцы. Как Александра Васильевича сперва чуть не убил спяг, а потом ранил пулей в левую руку навывлет.

Крови натекло — полон рукав. Александр Васильевич за день устал — под ним убили коня, и он все время в бою был пешим. Обессилел, еле держался на ногах. Хорошо, что подоспели казаки. Рыжебородый есаул Кутейников промыл рану соленой морской водой и перевязал своим галстуком. Галстук-то засаленный, грязный, но, — бог милостив! — зажило.

И как досталось туркам! Сколько трупов плавало в волнах, валялось на косе!

— Отбил у турок охоту делать вылазки! — повторял Суворов, перебирая бумаги и уничтожая ненужные.

Одну записку порвал в клочья, другую, скомкав, выбросил за окно.

А вот письмо самого Потемкина:

«Не нахожу слов выразить Вам, сколько я убежден в важности Ваших заслуг, сколько я Вас уважаю».

«Еще бы, первую турецкую прикончил у Козлуджи, а вторую так счастливо начал Кинбурном», — усмехнулся Суворов.

«Молю бога о твоём здоровье так

искренно, что охотно хотел бы страдать вместо тебя, лишь бы ты остался здоров».

Суворов скривился:

«Чепуха! Лесть! В этих двух фразах — весь он, Григорий Александрович Потемкин: то «вы», то «ты». Семь пятниц на одной неделе! Сегодня — друг, завтра — враг. Лесть да месть дружны!»

Это писалось тогда, когда Потемкин командовал только одной армией. А что напишет теперь, когда он командует сбеими?

Последнее время Потемкин что-то стал коситься на Суворова, хотя и продолжал называть его в письмах «мой сердечный друг» и говорил, что Суворов для него дороже десяти тысяч человек.

Умного, энергичного, решительного Румянцева отставили, удалили на покой. Когда-то он брал города, нещадно бил врагов, а теперь удит пескарей в Стынках год Яссами. А Потемкину поручили все. Оттого главные силы армии целую весну и уже половину лета медленно, не спеша, стягивались к Бендерам. А Суворов, командир передовой дивизии, вынужден томиться в этом Бырладе без дела.

Суворов бросил письмо и в раздражении заходил по комнате. Но не тут-то было — быстро не побежишь, как прежде: проклятая иголка!

Вот Прохор, дуралей и неряха! Как штопал чулок, так и оставил в нем иголку. Александр Васильевич напоролся на нее пяткой. Иголка сломалась. Большую ее часть нашли, а самое острое глубоко засело. Как ни ковырял ножом полковой лекарь, как ни давил своими протаченными, толстыми пальцами Прошка, как ни злился нетерпеливый Александр Васильевич, — ничего не вышло. Острие иголки ушло куда-то глубоко в пятку, и теперь больно ступить на ногу. Приходится надевать на одну ногу сапог, а на другую — туфлю.

Суворов, прихрамывая, ходил по комнате. Потирал открытую шею и грудь: в одной рубашке, а душно; солнце близилось к закату, но все-таки был июль и все-таки в Молдавии.

✕ Потемкин снова назначил Суворова на самый ответственный участок — начальником передовой 3-й дивизии, стоявшей у Бырлада. Суворов был доволен, что он впереди всей русской армии, но опять, как и раньше, развернуться ему было невозможно: ему доверили только одну дивизию.

ню, да и то самую слабую, в ней едва считывалось десять тысяч человек. Что можно сделать с такими силами против всегдашних промадных турецких полчищ? Как с плетью против обуха!

У союзников-австрийцев, которые стояли по ту сторону реки Серет, передовой отряд был более значителен.

Когда Суворов принял дивизию, он известил об этом принца Кобургского, командовавшего австрийским отрядом. Хотя и австрияк, а все-таки старший в чине!

Принц любезно ответил, что он рад сражаться вместе с генерал-аншефом.

Суворов подошел к раскрытому настежь окну. Казак-вестовой сидел у крыльца и, напевая, чинил кафтан. По пыльной улице прошел мушкетер в новой форме. Ее недавно ввели во всей русской армии по настоянию Румянцева, Потемкина и Суворова, вопреки мнению пруссофилов вроде Репнина и Каменского, дороживших каждой пуговичкой, каждой буклей.

Мушкетер был в полотняных широких шароварах вместо узких штанов, которые так стесняли и так быстро рвались, что солдат вечно ходил в заплатах. Вместо тесного, — ни вздохнуть, ни расправить руки, — мундира был просторный кафтан. Коса, пудра и прочая грязь, от которой одни вши, тоже исчезли; солдаты были коротко острижены. А душную, одинаково неудобную и в бою и на походе треуголку заменила легкая каска.

Суворов вспомнил, как он, защищая свою заветную мысль о необходимости изменить неудобную форму, как-то в споре сказал: «Солдат должен быть таков, чтоб встал — и готов!» Потемкину понравилась эта фраза. Он стал повторять ее, и все забыли, что первый так сказал не он, а Суворов.

Впрочем, в хозяйственных делах, в обмундировании, продовольствии и прочем князь Потемкин действительно сведущ и ловок. Ему быть обер-провиантмейстером! Пусть Потемкин занялся бы мундирами, госпиталями и сеном, а ему вверил бы солдат.

Суворов уже хотел отойти от окна, но в это время послышался приближающийся топот, кто-то скакал во всю мочь.

Придерживая одной рукой шляпу, к дому мчался на высоком гнедом коне австрийский офицер.

«Гонец от принца Кобургского», — смекнул Суворов.

Австриец подскакал к крыльцу. Коню, видимо, сильно досталось: пахи ходили у него как кузнечные мехи, мыло, перемешанное с пылью, покрывало его от ушей до копыт. Австриец, не слезая с коня, торопливо спрашивал у казака, здесь ли живет генерал-аншеф.

Казак встал, отбросив кафтан, улыбался и мотал отрицательно головой: мол, не понимаю, ваше благородие!

Австрийский офицер беспомощно оглянулся.

— Пожалуйста сюда! — крикнул, высовываясь в окно, Суворов.

Офицер недоверчиво посмотрел на седого старичка в расстегнутой рубашке, но соскочил с коня, бросил поводья казаку и секунду замешкался, доставая из кармана письмо принца. Он не знал, как следует держать себя с этим необычным стариком: козырять ему или нет? Кто это: сам генерал-аншеф или только его повар? Русские генералы все какие-то странные. В штабе рассказывали и смеялись, как князь Потемкин в одном белье принимает посетителей и даже дам. А вдруг это сам генерал Сувара?

И, подбегая к окну, офицер на всякий случай чуть дотронулся пальцами до поля шляпы, так, что нельзя было разобрать, козыряет он или просто поправляет треуголку. И, передавая старику письмо принца, еще раз сказал, подчеркнув:

— Генерал-аншеф Сувара.

«Вот сейчас узнаю, попал я в глупое положение или нет, — подумал офицер. — Сейчас этот старичок станет напяливать ливрею и побежит к генералу. Вот-то будет конфуз!»

Но пальцы старичка смело ломают сургуч и разворачивают письмо. Старичок читает. Видно, как его глаза быстро пробегают по строчкам.

Суворов прочел письмо. Принц Кобургский просил помощи: отряд турок в тридцать тысяч человек под командой Осман-паши уже двигался к Фокшанам. План турок был прост и ясен: разбить союзников по одиночке: сначала принца, потом Суворова. Выход один — спешить, немедленно спешить принцу на помощь.

— Передайте его светлости: иду! — выразительно сказал старик и круто повернулся вглубь комнаты.

И уже что-то кричал по-русски.

В доме засуетились, забежали.

Казак, вытиравший попоной взмыленного офицерского коня, уже подтягивал подпруги.

«Письма, очевидно, не будет. Нужно скакать назад».

И офицер поспешил к своему коню.

Не успел он выехать из расположения русских войск, как весь их лагерь пришел в движение.

II

Подпоручик Лосев приехал в 3-ю дивизию в начале мая 1789 года, за неделю до того, как командование над нею принял генерал-аншеф Суворов.

Лосев был из мелкопоместных смоленских дворян, в столицах не жила и о генерал-аншефе Суворове узнал только по пути в Молдавию.

На одной из почтовых станций, где-то на Украине, он впервые услышал эту фамилию. Подпоручик, пожалуй, не обратил бы на нее внимания, если бы не услышал, что именно Суворову главнокомандующий дал 3-ю дивизию, в которую направлялся Лосев. Говорили, стало быть, о его будущем начальнике, и Лосев невольно прислушался.

Беседовали двое проезжих: какой-то щегольски одетый поручик из штаба князя Потемкина и пехотный премьер-майор в старомодном, еще прусского покроя, запыленном мундире.

Майор подобострастно слушал молодого щеголя, который с важностью рассказывал штабные новости и сплетни: назначения, перемещения, отставки.

— А в 3-ю дивизию Светлейший назначил генерал-аншефа Суворова, — рассказывал он.

— Позвольте, ведь 3-й дивизией командовал же Эльмпт, достойный, храбрый генерал! Что ж, он получил повышение? — спросил майор.

— Нет, Эльмпт отставлен вовсе. Пусть о себе меньше думает! Светлейший не любит Эльмпта за его слишком острый язык, — наклонившись к майору, сказал поручик.

— Ну, Суворов тоже не из тихих! Помните, как стояли долго под Очаковым и он смеялся:

Я на камушке сижу,
На Очаков я гляжу...

— Это еще ничего. Князю Потемкину не понравилось другое, — сказал поручик. — Суворов жаловался императрице, что его в этом году сначала никуда не определили.

— Как так?

— А очень просто! Суворов не был внесен в список генералов действующей армии.

— И что же он сделал? — поднял вверх брови премьер-майор.

— Поехал к императрице и говорит: «Матушка, я — прописной. Мне, говорит, ни одного капральства в команду не дали». Тогда императрица назначила его в армию графа Румянцева, а теперь Румянцев в отставке. Светлейший дал Суворову самую слабую в армии, 3-ю дивизию: в ней всего десять тысяч человек. Пусть-ка Суворов и отличится с ней в Молдавии! — усмехнулся поручик.

Больше Лосев не слыхал о Суворове: штабному франту подали лошадей, и он ускакал дальше, а премьер-майор тотчас же завалился спать.

Лосев мог бы расспросить о генерале Суворове на месте, в Бырладе, но, добравшись до своего Апшеронского полка, он забыл обо всем: службы Лосев еще не знал, и работы у него было много.

И только когда однажды под вечер по лагерю пронеслось: «Суворов приехал», подпоручик Лосев вспомнил о нем.

В этот раз солдаты бежали строиться более резво, чем тогда, когда в полк приезжал временно командовавший дивизией, пучеглазый генерал Дерфельден.

Полк выстроился чрезвычайно быстро. Высокий, жилистый полковник Шершнев, выйдя за переднюю штаб-офицерскую линию, все время смотрел в сторону расположения Смоленского пехотного полка, откуда доносилось громкое «ура».

Лосев стоял и невольно слушал, как сзади него, в шеренгах, перешептывались солдаты.

— Какой-то он теперь? Я его с Козлуджи не видел. Пятнадцать годов прошло, — говорил один. — Постарел, поди! «Как будто Воронов говорит», — узнавал по голосу своих солдат подпоручик.

— А ты думаешь, помолодел? — насмешливо сказал другой.

«Это, наверняка, Огнев: он любит поддеть», — догадался Лосев.

— Едет! Едет! — зашелестело по рядам. Издалека, в легком облачке пыли, пока-

васаль группа всадников. Впереди них почему-то ехала обыкновенная повозка. Полковник Шершневу, вынуженный шпагу, командовал:

— Смирно! На-караул!

Все замерло.

Всадники приближались. Вот уже можно отчетливо рассмотреть: за повозкой трусят на лошадях три офицера.

Не успела повозка подъехать к апшеронцам, как по всему полку, от края до края, пронеслось «ура».

Музыка заиграла встречу.

Лосев видел, как быстро-быстро машет руками капельмейстер, как полковник Шершневу, четко отбивая шаг, идет навстречу командующему дивизией.

Повозка остановилась. Из нее вылез невысокий, сухонький старичок в полотняном кафтане и каске. Одна его нога была в сапоге, вторая — в туфле.

Генерал-аншеф принял от полкового командира рапорт и, хромая, пошел вдоль строя, останавливаясь возле каждой роты.

Иногда он, минуя не только переднюю, штаб-офицерскую линию, но и следующую, сбер-офицерскую, подходил вплотную к роте и с кем-то разговаривал. С кем он говорил, Лосев не мог видеть.

— Неужели с младшими офицерами в роте говорит? Может быть, кто-нибудь не так стоит? — подтягивался Лосев.

Но вот уже генерал-аншеф миновал прихитших музыкантов и яркий куст полковых знамен. Он подошел к правофланговой 1-й роте и заговорил с ней.

Лосев услышал его голос. Голос был негромкий, басовитый, но внятный и совсем не старческий.

— Солдат должен быть здоров, тверд, храбр, справедлив. Обывателя не обижай — он нас поит и кормит! Солдат — не разбойник! Бойся богадельни, госпиталя! Береги здоровье! Кто не бережет людей, офицеру — арест. Ученье — свет, неученье — тьма. Дело мастера боится. И крестьянин не умеет сохой владеть — хлеб у него не родится. За ученого трех неученых дают! Нам мало трех! Давай нам шесть! Давай нам десять на одного! Всех побьем, в полон возьмем! Били турок в поле, били у моря, били у реки, побьем и здесь, старики!

Рота ответила: «Ура!» Ее охотно поддержали остальные.

Суворов стоял перед полком с непокрытой головой: каску он снял, когда махал,

отвечая на дружное приветствие полка. Во всей его фигуре не было ничего начальнического. Это стоял и говорил не генерал-аншеф, а добрый, умный, свой человек.

Когда, наконец, стихло «ура», Суворов оглядел 1-ю роту.

— А-а, знакомого вижу! — крикнул он.

Лосев даже покраснел: генерал-аншеф смотрел прямо на него и приветливо улыбался.

«Обознался. Я его впервой вижу!» — мелькнуло в голове.

Но генерал-аншеф уже подходил к нему. Лосев не знал, что делать.

— Ну, как летаешь, Ворон? — спросил генерал-аншеф, остановившись в двух шагах от первой шеренги солдат.

«Это он Воронову», — не то с обидой, не то с облегчением подумал Лосев.

— Жив-здоров, ваше высокопревосходительство! — гаркнул сзади Воронов.

— Старого знакомого встретил. Еще с Новой Ладоги помню.

— Точно так! С шестьдесят третьего году. Был под Туртукаем, был под Козлуджей...

— Помилуй бог! Старый товарищ! Как же, помню! А почему не ефрейтор?

— Разжалован, ваше высокопревосходительство, — так же весело и громко ответил Воронов.

— За что?

— За пьянство, — бодро выкрикнул Воронов.

Генерал-аншеф улыбнулся.

— Произвести в ефрейторы! — обратился он к Шершневу. — Тут у меня не только один. Тут знакомых много, — сказал Суворов, быстрыми глазами оглядывая роту. — Вон вижу: Огнев, старинный приятель. Лет тридцать друг друга знаем. Здорово, Огони!

— Здравия желаем, ваше высокопревосходительство! — отозвался Огнев.

— Все мои старые, мои боевые товарищи! Мои друзья! — говорил Суворов.

Он взглянул на Лосева:

— А ты, ваше благородие, давно в полку?

— Восьмой день, ваше высокопревосходительство, — залился краской подпоручик.

— Ну ничего, послужим еще, послужим! — улыбнулся Суворов, садясь в повозку.

Повозка тронулась. Суворов обернулся назад и махал своей маленькой каской.

Апшеронцы провожали любимого генерала дружным «ура».

— Гляди, Воронов, опять не загуляй с радости! Не пропей еще раз ефрейгорства! — пошутил полковой командир.

— Да что вы, ваше высокоблагородие! Да нешто можно суворовский чин пропить? — обиделся Воронов.

III

Принц Кобургский рассказывал по палатке уже без парика и мундира, собираясь спать. Последние ночи он спал плохо: тревожило то, что Осман-паша со своим тридцатитысячным корпусом, хотя и очень осторожно и медленно, но все-таки каждый день неуклонно двигался вперед. Вот и сейчас принцу донесли о том, что Осман-паша уже за Фокшанами.

От Аджуша, где стоял принц, до Фокшан было почти столько же верст, как от Аджуша до Бырлада, откуда шел Суворов.

Принца Кобургского больше всего занимал один вопрос: успеет ли генерал Сувары прийти на помощь австрийцам? Принц уже познакомился с Молдавией. Итти с войсками по этим ужасным дорогам, пересекая горы и овраги, переходя многочисленные ручьи и речки, пусть немногочисленные, было тяжело и неудобно. По такой дороге русским можно добраться до Аджуша дня через четыре, не раньше.

Это была одна неутешительная выкладка, которой принц занимался несколько раз в день.

Но была и другая, не менее важная: а сколько же генерал Сувары может взять с собой солдат из своей 3-й дивизии? Ведь ему нужно оставить заслон, чтобы обеспечить себе тыл. У него пять пехотных полков и восемь кавалерийских, стало быть всего тысяч десять. Значит, нужно оставить не менее пяти тысяч.

Тогда сразу выяснялась главная цифра — количество союзных войск: восемнадцать тысяч австрийцев и пять тысяч русских. Это всего-навсего двадцать три тысячи. А у Османа-паши, по сведениям лазутчиков, тридцать тысяч человек. Но ведь как точно сосчитать эти дикие толпы янычар? Если официально их тридцать тысяч, значит на самом деле там много больше.

Получалась никуда не годная арифметика.

В такие минуты принц Кобургский невольно вспоминал, что говорилось в Вене об этом генерале Сувары.

При Козлудже у Абдул-Резака было сорок тысяч человек, а у Сувары, рассказывают, не насчитывалось и десяти. Тот же значительный перевес был у турок и при Туртукае.

И в обоих случаях генерал Сувары разбил турок наголову.

«Нет, без русских будет плохо!»

Принц шагнул к кровати, но в это время полог палатки откинулся, и в дверях стал любимый адъютант принца, майор Траутмансдорф. Всегда спокойный, невозмутимый, он был чем-то взволнован. Или, может быть, быстро бежал; майор секунду не мог сказать ни слова.

— Что такое? — с тревогой спросил принц.

— Ваша светлость, русские пришли! — выпалил майор.

Принцу показалось, что он ослышался:

— Кто? Кто пришел?

— Генерал Сувары уже здесь.

— Не может этого быть!

— Его полки уже становятся к нашему левому крылу. Вот послушайте!

Майор откинул полог палатки, приглашая принца выйти на воздух. Принц шагнул из палатки.

Был тихий и теплый июльский вечер. Австрийский лагерь уже затихал. И в этот привычный шум затихающего, наполовину спящего лагеря вошли какие-то новые, посторонние звуки.

— Значит, это правда. Пятьдесят верст в сутки! Это непостижимо, невозможно!

Принц взглянул на майора. На лице адъютанта было такое же восхищение.

— Очень хорошо. Ай да генерал Сувары! Ну, пусть отдыхают!

И принц Кобургский спокойно лег спать.

✧ Суворов встал, как всегда, — с солнцем. Он осмотрел берега реки Тротуш, через которую приходилось переправляться.

Река была неширока, но с быстрым течением и обрывистыми берегами. Суворов наметил места, в которых нужно наводить мосты, и вернулся к себе в лагерь.

К лагерю то и дело подходили отставшие по пути из Бырлада пехотинцы. Дорога была тяжелая, шли быстро, даже на

привале генерал-аншеф не разрешал развешивать палатки.

Апшеронцы и смоленцы, издавна знавшие с суворовским маршем, почти не имели отсталых. Но в Ростовском не привыкли к таким переходам и по дороге присаживались по-двое, по-трое отдохнуть. Когда капралы старались поднять их угрозами, Суворов кричал, подъезжая:

— Оставь! Пусть отдыхают! Не бойся, подойдут, не подведут! К бою поспеют. Ступай, ступай! — гнал он на место капрала. — Голова хвоста не ждет!

И он был прав: отставшие в пути старались изо всех сил нагнать ушедших вперед товарищей. И постепенно подтягивались к своим.

После утренней молитвы и каши Суворов приказал строить мосты через Тротуш.

Дальше Суворову полагалось бы явиться к принцу Кобургскому: начальник австрийского отряда был как-никак старшим в чине, но Суворов боялся встречи с ним.

Еще в Семилетнюю войну он хорошо изучил австрийские штабы и австрийских генералов. Суворов помнил их традиционную медлительность и нерешительность и их слепую приверженность линейной тактике, которой он вовсе не признавал. Тем более она была неуместна в войне с турками. Турок надо устрашать, изумлять, не давать им одуматься. Австрийцы всегда были склонны к обороне, к хитрым маневрам, а Суворов признавал только натиск, быструю, неожиданную атаку.

Суворов знал, что стоит ему встретиться с принцем, как у них тотчас же пойдут споры. Принц, конечно же, не согласится с его дерзкой мыслью — ударить на численно превосходящего их противника. Принц, чего доброго, начнет представлять резоны, что у союзников меньше войск, чем у турок, и т. д. И пока Суворов будет с ним препираться, Осман-паша нагрянет со своими спагами и янычарами и сожмет спорщиков.

Суворов решил как-либо уклониться от разговоров с принцем. Он знал, что уже с некоторых пор за ним утвердилась в армии и в Петербурге, при дворе, распространяемая его врагами и завистниками слава «чудака». Офицеры из штаба графа Румянцева тогда же разнесли по всей армии его двустиишие, которым он рапортовал главнокомандующему о взятии Туртукая.

Каменский, обозленный тем, что Суворов у него на глазах разбил Абдул-Резака при Козлудже, наслетничал — всюду уверял, что Суворов не столько талантлив, сколько счастлив.

Суворов слышал эти же слова и в штабе Потемкина. Нет сомнения, что все эти сплетни докатились и до австрийского гофкригсрата, и, вероятно, принц Кобургский считает Суворова чудачком. Адъютант принца, этот долговязый майор, который позавчера прискакал с письмом к Суворову, небось, прежде всего расписал Кобургу то, в каком виде он застал генерал-аншефа.

И теперь Суворов решил воспользоваться этой своей необычайной славой.

«Пусть считают меня чудачком, кем угодно, но я своего добьюсь! И в этот раз турки будут разбиты!»

...Принц Кобургский проснулся раньше обычного, в девятом часу утра. И первой его мыслью было: что делают русские, сколько их и как себя чувствует после такого утомительного перехода генерал Суварара?

Принц позвонил.

Камердинер, тотчас же вошедший в палатку, ответил на большинство этих вопросов.

Весь австрийский лагерь уже знал, что у русских семь тысяч человек и что они уже строят три моста через реку Тротуш. Все было не только хорошо, все было превосходно: этот удивительный генерал Суварара в одни сутки прошел с дивизией такое расстояние, какое австрийская дивизия едва прошла бы в четыре. И он оставил при тяжелом обозе в Бырладе не пять тысяч, как думал принц, а всего только три. Значит, у союзников уже было двадцать пять тысяч человек.

Одно было странно и непонятно в действиях генерала Суварара: зачем он строит мосты? Неужели он, вопреки основам линейной тактики, хочет покинуть выгодную позицию? Принц Кобургский считал, что если бы на реке Тротуш были мосты — их следовало бы уничтожить, а не строить новые.

Принц Кобургский решил поговорить об этом с генерал-аншефом Суварара, а пока в прекрасном настроении начал свой день. Он не спеша умылся, оделся, напился кофе и только тогда отправил майора Траутмансдорфа к Суворову приветствовать с благополучным прибытием и узнать, когда генерал Суварара пожалует

к нему договориться о совместных действиях против турок.

Суворов уже отобедал,— обедал он всегда в восемь часов утра,— когда к его палатке подъехал майор Траутмансдорф.

«Конечно, звать на совет! — догадался Суворов. — Нужно как-либо уклониться от этого».

Суворов думал недолго.

— Прощка, бритву и мыло! Живо! — крикнул он.

Ленивый Прощка, который с годами начинал все больше вступать с барином в спор и грубить ему, недовольно буркнул:

— Да вы же давеча брились!

— Не рассуждай! Давай живее! — вспыхнул Суворов.

Пока мешковатый Прощка доставал бритву, Суворов сам схватил кисточку и мыло, плеснул в чашку воды и стал густо намыливать себе щеки и подбородок.

— Меньше брей, больше намыливай! — шепнул он Прощке.

— Проси! — обернулся Суворов к адъютанту.

Майора Траутмансдорфа уже не смутила одежда русского генерала. Майор передал приветствие генерал-аншефу Сувары от его сиятельства принца Фридриха-Иосифа Кобург-Заальфельда, поздравил с благополучным и столь быстрым прибытием и приглашал приехать к принцу обсудить диспозицию. А сам с любопытством смотрел вокруг.

В палатке стояли простой, некрашенный стол да один складной стул, на котором сидел генерал.

У майора Траутмансдорфа — и то обстановка была лучше, чем у русского генерала.

Генерал Сувары сидел к входу спиной. Он чуть повернулся к майору — щека и подбородок были густо намылены — и сказал:

— Спасибо! Хорошо!

Кивнул Траутмансдорфу и снова обернулся к толстоносому, неопрятному солдату, который не спеша стал намыливать щеки генерала.

Траутмансдорф постоял секунду, а потом звякнул шпорами и, поклонившись худой спине генерала Сувары, покрытой грубым полотенцем, удалился в крайнем недоумении.

Как только он дал шпоры коню, Суворов вскочил с места.

— Фу, австрияк проклятый! Торчит над душой — и только! — рассмеялся он и начал смывать с лица мыльную пену.

Один раз сошло благополучно. Но впереди весь длинный летний день. Пока солдаты сделают мосты, принц, конечно, еще не раз пришлет к нему своего щеголеватого адъютанта.

«Какой бы предлог придумать еще, чтобы не ехать к Кобургу?»

Принц с нетерпением ждал, когда вернется Траутмансдорф. Наконец, адъютант возвратился. На невозмутимом лице чрезвычайно выдержанного и вместе с тем расторопного, исполнительного майора было написано смущение. В глазах стоял смех.

Брови принца поехали к самому парикау.

— Что случилось?

Траутмансдорф, слегка улыбаясь, — было невозможно оставаться серьезным, — передал в двух словах о своем посещении генерала Сувары.

— Старик, вероятно, только что встал. Мы помешали. Ведь он сделал за сутки пятьдесят верст! — снисходительно сказал принц Кобургский, оправдывая не вполне любезный прием его посланца русским генералом.

Прошло два часа.

Принц собрался уже завтракать и решил пригласить генерала Сувары.

Майор Траутмансдорф с интересом подъезжал к простой, не новой палатке русского генерала. Ему показалось, что, когда он соскакивал с коня, край палатки отогнулся и на него глянул сам генерал.

В этот раз навстречу Траутмансдорфу вышел не чубатый казак и не толстоносый, неопрятный генеральский денщик, а офицер.

Не успел Траутмансдорф вымолвить слово, как офицер, учтиво поклонившись, сказал по-немецки:

— Его высокопревосходительство молится.

И тотчас же скрылся в палатке.

Траутмансдорфу оставалось только ехать.

Казак, державший поводья, разумеется, не понимал по-немецки, и с ним говорить было бесполезно.

Когда майор вошел к принцу, его лицо выражало явную растерянность.

— Что такое? — спросил принц.

— Генерал Сувары молится, — ответил,

— Почему-то смутившись, майор и поспешил уйти из палатки.

Принц позавтракал один. Он был в чудном настроении: он ездил к реке смотреть, как русские строят мост, и русские солдаты показали ему хорошо одетыми, здоровыми и ничуть не усталыми.

Солнце уже перевалило за полдень, когда принц снова вызвал адъютанта:

— Как вы думаете, сколько у русских может продолжаться молитва?

Майор почтительно улыбнулся, пожал плечами и сказал:

— Право, не знаю, ваше высочество.

— Ведь это же не в церкви! Вероятно, генерал Суvara уже помолился. Пожалуйста, поезжайте еще раз!

Траутмансдорф поехал в третий раз к той же знакомой, побелевшей от солнца, старой палатке. Ехал он без удовольствия.

Когда Траутмансдорф бросил поводья тому же хитрому, кареглазому казаку с грязной шеей и серебряной серьгой в ухе, навстречу Траутмансдорфу, зевая, поднялся лежавший у палатки денщик. Он сказал безо всякого почтения к субординации:

— Его высокопревосходительство...

Только и понял Траутмансдорф, а дальше шло какое-то коротенькое русское слово.

Траутмансдорф беспомощно оглянулся. Кругом никого, кто мог бы помочь в разговоре.

— Was? Was? — переспросил он, строго нахмурив брови.

Но генеральский денщик не испугался его строгого вида. Он поднял вверх палец и зашикал, делая большие глаза:

— Тсс!

«Вот бы я тебя с удовольствием поставил под ружье, пьяная каналья!» — со злостью думал майор, глядя на толстый, красный нос денщика.

Денщик приложил к щеке ладонь, наклонил голову набок, закрыл свои плутовские глаза и снова повторил это непонятное, коротенькое слово: «Спит!»

Майор, наконец, понял. Ему вдруг стало стыдно своей недогадливости. Он понимающе закивал головой и на цыпочках отошел к коню.

К принцу майор Траутмансдорф вошел с совершенно каменным выражением лица.

— Генерал-аншеф Суvara спит! — сказал он и отвел глаза в сторону: в его представлении это было со стороны русского генерала вызовом, издевательством.

Принц только кивнул головой и зашагал по палатке.

Майор вышел.

В первые минуты принцу со зла в голову лезли самые нелепые мысли.

Послать к туркам парламентаря о перемирии. Но что дальше? «Почему все это?» — спросят.

Поехать лично к Суvara. Но что сказать ему? Человек ведь может устать — он в сутки прошел пятьдесят верст. И вообще, что знает он об этом русском генерале? Все говорят о нем как о восходящей звезде русской армии. Говорят, что он — глубокий старик и что он со странностями.

Это верно. Но верно и то, что до сих пор он хорошо бил турок.

«Подождем!»

И принц сел обедать. Потом лег отдохнуть, иронически думая:

«Вот теперь пусть он ко мне придет!»

Но принц великолепно выспался, его никто не тревожил. Русские уже заканчивали все три моста. Так незаметно пролетел весь день.

Принц решил больше не напоминать о себе генералу Суvara: сам отзовется!

И генерал Суvara отозвался.

Слуги накрывали в роскошной столовой палатке принца к ужину, когда прискакал русский офицер. Он передал принцу конверт.

Принц Кобургский, стоя у палатки, тут же вскрыл его. Кровь ударила ему в лицо: генерал Суvara на довольно хорошем французском языке писал:

«Войска достаточно отдохнули, и мы завтра в три часа утра выступим двумя колоннами: австрийцы в правой, русские в левой, пойдем прямо на неприятеля. Говорят, что неверных только пятьдесят тысяч, а другие пятьдесят дальше. Жаль, что они не вместе, — разом бы их разбили!»

Это была готовая диспозиция. Генерал Суvara все обдумал без него сам и предлагает принцу безоговорочно поступить так, как этого хочет Суvara.

Это задело принца. Он вошел с листком диспозиции в палатку, задумчиво прошел раз-другой мимо стола, задевая стулья и не видя слуг, дававших ему дорогу, а по-

том круто повернул к выходу, где стоял в ожидании ответа русский офицер.

В этой диспозиции есть вызов, есть чуть ли не оскорбление, но зато в ней чувствуется настоящая убежденность, правда, сила.

Будь, что будет.

— Передайте его высокопревосходительству, я согласен. Только я думаю, что надо до последнего момента скрыть от турок присутствие ваших войск. Так будет лучше! — сказал он русскому офицеру.

— Конечно, конечно, ваше высочество! — угодливо поддакнул тот.

Принц стоял, раздумывая: кого бы назначить командиром отряда? Генерала Сплени? Полковника Барко? Нет, пожалуй, лучше всего будет Карачай: он быстр, он подойдет к этому необычному русскому генералу.

— Прикажите полковнику Карачаю, — обернулся принц к адъютанту, — взять батальон Кауница и батальон Колло, один дивизион¹ гусар Барко и дивизион драгун Левенера и тотчас же явиться в распоряжение генерал-аншефа Суvara!

... Суворов, прихрамывая, ходил возле палатки. Он нетерпеливо поглядывал в сторону австрийского расположения: что-то будет? Согласится ли с его диспозицией принц Кобургский или нет?

— Disposition zum Angriff, — повторял он.

Но вот прискакал адъютант, отвозивший принцу пакет.

— Ну, как? — крикнул ему издалека Суворов.

— Согласен, ваше высокопревосходительство! — живо ответил адъютант.

— То-то!

Суворов был в восторге от принца:

— Ай да принц! Помилуй бог, молодец! Вот тебе и австрияк! Умница, ей-ей умница!

Суворову понравилось всё: и сговорчивость принца, и то, что принц не рассердился на него за отказ встретиться, и то, что Кобургский разумно предложил поставить впереди русских сил австрийский отряд.

— Как, говоришь, звать полковника? — переспросил Суворов.

— Карачай, ваше превосходительство! — ответил адъютант.

— Карачай, не Карачай! — весело приговаривал Суворов, идучи в палатку. — А будет туркам карачун!

IV

Подпоручик Лосев никак еще не мог за два с половиной месяца привыкнуть к здешнему странному климату. У них, в Дорогобужском уезде, такое июльское, пусть росистое и туманное, утро все-таки не было бы настолько пронизывающе холодным. Здесь же, пока солнце не встало, не согреет никакой плащ, а чуть оно поднялось — пропадешь от жары.

Еще только рассветало.

Над рекой Путной, незнакомой, чужой, своенравной (вот навели мост — сорвало. Это не дорогобужский Днепр!), стлался туман. Ни реки, ни стоящих возле нее людей не было видно. Лишь иногда из тумана вдруг появлялся человек или лошадь.

Подпоручику Лосеву, который впервые шел в бой, все казалось, что это уже турки.

Вчера авангард союзников целый день стбивал атаки турецких наездников, и Лосев в первый раз увидел раненых.

Соединенные русско-австрийские силы уже два дня шли на сближение с неприятелем. Шли, как было указано в суворовской диспозиции: русские — слева, австрийцы — справа. Австрийский авангард Карачая двигался впереди русских полков первой линии — гренадер и егерей.

Так подошли к реке Путне и теперь ждали, когда наведут мосты.

Наконец, после томительного топтания на одном месте у берега реки пехота ступила на мост.

Австрийские саперы, голые, посиневшие от холода, одевались и сушились у костра.

— Вишь, заколянели, бедные!

— Еще бы! Вода теперь холодная: пророк Илья уже льдину бросил, — гсворили проходившие пехотинцы.

Пехота тянулась по мосту бесконечной вереницей. Кавалерия нашла брод и переправлялась, минуя мост.

За Путной была все та же холмистая Молдавия с кустарниками, оврагами и перелесками.

Когда перешли через мост, пехоте велели становиться в боевой порядок.

3-й дивизии он был хорошо знаком:

¹ Дивизион — два эскадрона.

генерал-аншеф Суворов каждое занятие в поле начинал именно с него, приучал быстро становиться в полковые каре.

Дивизия построилась в шесть каре, по три в каждой линии. В первую линию поставили гренадер и егерей. Во вторую — полки Апшеронский, Смоленский и Ростовский. В третьей стала кавалерия. Пушки тарахтели между пехотными каре. В середине каре схоронились музыканты.

Пехота двигалась мимо кавалерии, которая раньше их перешла вброд Путну и теперь приводила себя в порядок.

— Довольно мы шли передом, ведите вы нас! — шутили карабинеры.

— Гляди, саквы свои замочил! — отшучивалась пехота.

Итти приходилось в гору. Впереди виднелись довольно большие холмы, занять которые и было приказано.

Лосев видел, как вперед проехал сам Суворов. Он обратил внимание на то, что у Суворова кроме казачьей плети ничего не было — ни шпаги, ни пистолета.

Рядом с Суворовым ехали коренастый, смуглолицый полковник Карачай и пучеглазый Дерфельден, командовавший первой линией каре.

Лосев шел в первое свое дело. Он знал, что может не вернуться из него живым, но не имел представления обо всех опасностях и потому ждал боя скорее с любопытством, чем с тягостным томлением. Ему казалось, что он совершенно не боится. Лосев присматривался, искоса поглядывал, как ведут себя его соседи, солдаты.

Вот курносый Башилов. Ему, должно быть, уже под тридцать, но на его детски-открытом лице можно без труда прочесть все: он явно озабочен.

Рядом с ним шагает черноглазый мушкетер Зыбин. Этот по-всегдашнему оживлен. Он рассказывает что-то веселое. Может, и Зыбин думает о смерти, но, по крайней мере, не показывает вида.

Старики из капральства — Огнев и Воронов, которые служили в армии уже тридцать лет, больше чем подпоручик Лосев жил на свете, — держатся обычно: Огнев немногословен, а Воронов почти по-стариковски суетлив и чересчур важен: еще бы, сам Суворов произвел Воронова в ефрейторы!

Лосев глянул на артиллеристов, которые шли справа от них. Но на их лицах он не мог прочесть ничего; артиллеристы

были заняты своими пушками. Лошади с трудом тащили в гору тяжелые пушки, и артиллеристы помогали лошадям.

Взошло солнце. Его лучи ударили сбоку. Лосев увидел, как в переднем каре зацвели яркие солнечные заплаты. Он посмотрел на восходящее солнце.

«Может быть, в последний раз вижу?» — с грустью подумал подпоручик.

И тотчас же ему стало стыдно своего малодушия. Он опасливо глянул на соседей, не заметил ли кто-нибудь, что подпоручик Лосев трусит?

Но каждый был занят собой. Хотелось поскорее взойти на холм, хотелось узнать: а что там дальше? Не вылетят ли из-за холма, не ждут ли там турки?

Шли локоть к локтю. В этом тесном, сплоченном строе чувствовалась мощь, крепость.

Шли в ногу, хорошим, ровным шагом. Каждый знал, что здесь не на походе: если трет портянка, жмет ранец — не остановишься, не поправишь. Отстанешь от каре — пропадешь.

Наконец, взошли на холм.

Впереди расстиралось ровное поле, а сзади, верстах в двух, стоял лес, ярко зеленый в лучах восходящего солнца.

По равнине тесными массами переносились с места на место турецкие всадники. — Вот они голубчики! Гарцуют!

— Ну, сейчас держись, ребята!

В первой линии забили барабаны, заиграла музыка. Этот клич подхватила и вторая.

Мороз пробежал по спине у Лосева. Он до боли в руках сжал ружье и шел, боясь только одного — споткнуться о какую-либо кочку, нарушить стройный ряд.

С холма спускались быстро.

Лосев глянул направо. Австрийцы шли такими же каре. Между русскими и австрийцами двигался отряд Карачая. Сам полковник Карачай ехал впереди своих гусар и драгун. Лосев издалека узнал его малиновый ментик.

Не успели пройти и сотни шагов, как пришлось остановиться и приготовиться отбивать атаку: турецкие саги широкой лавиной хлынули на каре союзников. Они приближались со стремительной, неудержимой быстротой. Турки налетали как ураган — с воем, с диким, неистовым криком.

Земля дрожала от топота тысяч копыт. Подпоручик Лосев растерялся. Он вжал

голову в плечи и невольно откинулся назад — такой неотвратимой казалась ему гибель. Лосев не мог представить себе, чтобы эту страшную лавину могло что-либо остановить. Но стоявший сзади за ним высокий коренастый мушкетер Огнев шепнул подпоручику ободряюще:

— Не сумлевайтесь, ваше благородие, пронесет!

Музыка перестала играть. Затихло, как перед надвигающейся грозой. Она приближалась, эта грозная, многоголосая туча, вспыхивающая клинками шашек и ятаганов. Надо было ждать, что вот-вот прокатится над головой, грянет, покрывая все, оглушительный гром.

И он ударил.

Русская пехота, подпустив турок поближе, хлестнула по ним картечью и ружейным огнем. На минуту вся передняя линия скрылась в пороховом дыму и в облаках поднятой турецкими всадниками желтой пыли.

Выстрелы смолкли. Только слышались истошные крики турок, лязг их шашек да тяжкий топот конских копыт: враги сошлись и дрались холодным оружием.

Еще миг — на вторую линию русской пехоты ринулась турецкая кавалерия.

Лосеву на секунду показалось, что турки смяли гренадер и егерей Дерфельдена и что на них обрушилась вся масса спагов. Но когда апшеронцы стойко отбили этот первый наскок, Лосев увидел, что гренадеры и егеря стоят так же, как и прежде. Только перед каре валялись трупы убитых людей и лошадей.

Турецкие спаги кружились вокруг русской пехоты. Они с четырех сторон облепляли каре, стараясь где-либо пробить густую щетину русских штыков.

В этих атаках не было никакого плана. Спаги гарцовали на своих прекрасных конях. Одни безрассудно налетали на каре, другие, опустив поводья, стреляли на всем скаку из пистолетов.

Лосев только смотрел, откуда налетит турок. Он излишне суетился, и его кафтан был мокрехонек от пота.

— Не прозеваем, ваше благородие, увидим! — говорил сзади Огнев.

Лосев понимал, что Огнев хочет сказать другое: «Не суетись зря!», но никак не мог стоять так спокойно, как те, кто был знаком с этими лихими атаками.

Уже солнце висело почти над самой головой, а турки продолжали наседать.

Яростные, безудержные атаки стоили им много жертв. Поле, пригорки, — все было полно трупами людей и лошадей. Перед 1-й ротой апшеронцев лежало десятка два убитых турок. Лосев старался не смотреть на них. Одна раненая лошадь время от времени все подымала голову и с тяжелым храпом падала вновь, пока, наконец, не затихла совсем.

Чуть в стороне лежал придавленный убитым конем спаг. У него, видимо, была сломана нога, он кричал, но никак не мог выбраться из-под коня. Вот налетела новая, очередная волна спагов — они мчались, не разбирая дороги. Когда и эта ватага рассеялась, крики раненого смолкли.

Лосев видел раненых и среди своих. Некоторые мушкетеры уже стояли с перевязанными головами. Нескольких солдат, зарубленных турками, уволокли вглубь каре. У старика-мушкетера из 1-го капральства спаг перерубил руку — она висела, казалось, лишь на сукне кафтана.

Турки все-таки не оставляли надежды прорвать эти плотные четырехугольники союзников.

В задний фас каре батальона Хастатова как-то ворвалась толпа спагов. Казалось, еще миг — и в эти ворота вольются новые полчища и все погибнет. Слышно было, как с треском лопнул барабан — музыканты, стоявшие в середине каре гренадер, видимо, были опрокинуты влетевшими в него турками. Все спаги, которые были поближе к этому каре, сразу устремились туда.

Но стоявшие сзади апшеронцы быстро пришли на помощь товарищам. Турки, прорвавшиеся внутрь каре, пали под ударами русских штыков.

И тогда турки так же стремительно отхлынули назад, как неудержимо рвались вперед.

Спаги один за другим мчались к лесу.

Через несколько минут вся турецкая кавалерия неслась назад, словно убедившись, что все усилия прорвать каре союзников напрасны.

В каре вздохнули свободнее.

— Вот так всегда у них: если попрут вперед — река не река, ничто не задержит. А выскочил на поле заяц, кинулся в сторону один конь — и все побежали назад. Смехота! — говорил, выезжая из каре, полковник Шершнеф.

Союзники, наконец, смогли двинуться вперед.

Люди устали стоять на одном месте и геперь с удовольствием шли, разминая юги, вытирая рукавами потные лица.

Дойдя до леса, союзники не рискнули юйти через него — Суворов приказал хватить лес с двух сторон.

Каре шли так спокойно, как на ученье.

Из лесу толпами повалили турки. Они бежали по направлению к Фокшанам, до которых оставалось всего семь верст.

Эти последние семь верст оказались наиболее трудными: за лесом тянулись густые заросли терновника. Кюлочки цррапали руки и ноги, рвали одежду. Люди и лошади утомились продираться сквозь цепкие кусты. Только в одном отношении было хорошо: в зарослях почти не беспокоили турки.

Наконец, проклятый терновник окончился. Снова вышли на открытое поле. Вдали, верстах в двух, были Фокшаны. Турки ждали неприятеля, сидя за небольшими укреплениями и рвами. Их конница ускакала на фланги, чтобы не мешать огню пушек.

Союзники выровняли свои каре и пошли на штурм Фокшан.

Подпоручик Лосев уже узнал ярость турецких кавалерийских атак, не раз отбивал занесенную над его головой кривую шашку спага, отстреливался, колол штыком, но еще ни разу не стоял под ядрами. Теперь Лосева отделяла от этого лишь небольшая черта: в турецком лагере издалека были видны пушки. Еще миг — и турки, конечно, начнут стрелять. Ухо с тревожным нетерпением ждало этого первого выстрела.

И он раздался.

У Лосева словно что-то оборвалось внутри, но, вместе с тем, ему стало как-то легче: вот началось, назад не воротить.

С гудением и ревом пронеслось ядро.

— Малость не угодил!

— Ишь, как оно, проклятушее, ударило!

— Вона, как рвет! — оглядывались солдаты.

Ядра рвались одно за другим. Подпоручик Лосев поймал себя на том, что под ядрами как-то хочется нагнуть голову. И вдруг сделалось до противного сухо во рту.

— Чего башкой киваешь, ровно конь от овода? Не отмахнешься! — бурчал на мо-

лодого солдата ефрейтор Воронов. — Хоть кланяйся, хоть не кланяйся — не помилует! На все божье веление!

А Лосев тоже невольно наклонял голову и думал: «В меня! В меня!»

— В Смоленский угодило!

— Вон повалило! В 4-й роте никак, — зашумели кругом.

Все оглянулись.

Но долго рассматривать было некогда. Впереди вспыхнуло «ура» — 1-я линия пехоты уже бежала на окопы, чтобы поскорее выйти из артиллерийского огня, поскорее сблизиться с врагом.

Апшеронцы последовали их примеру.

V

Войска Османа-паши не выдержали дружного натиска союзников и побежали. Несколькo сотен янычар, засевших в укрепленном монастыре св. Самуила, еще пытались защищаться, но их мгновенно выбили и оттуда.

Победа была полная.

Теперь, наконец-то, Суворов мог спокойно встретиться с принцем Кобургским: за все десять часов боя они не съезжались вместе и еще ни разу вообще не видали друг друга.

Суворов ехал к принцу в той же простой канифасовой куртке, в которой он был в бою, и в старых ботфортах. На куртке у него висел только один андреевский орден.

Вместе с Суворовым ехали командиры линий: генерал-поручик Дерфельден и генерал-майор Позняков. Командира второй линии князя Шаховского тяжело ранили в бою.

Если бы не тела убитых, не лошадиные трупы, попадавшие на каждом шагу, фокшанское поле было бы похоже на ярмарку: всюду стояли сотни повозок, нагруженные разным добром, белели намёты опустевшего турецкого лагеря, по полю бродили табуны лошадей, верблюдов, ослов, которых турки не успели угнать с собой.

Где-то там впереди, куда ускакала, преследуя врага, союзная конница, еще слышались одиночные выстрелы, а здесь уже думали о мирном отдыхе; солдаты ставили ружья в козлы, сбрасывали пропотевшие кафтаны, разувались. Артельные старосты сразу же взялись разжигать костры — варить кашу.

Солдаты, принужденные в каре целый день жаться друг к другу, теперь с удовольствием сидели и ходили свободно, по одиночке.

Вот мушкетер несет большую охапку дубовых веток, нарубленных для костра. Вон уже босиком, — успел сбросить сапоги — бежит молодой солдат и радостно кричит своим:

— Дяденька Максимыч, 6-я рота воду нашла!

Вон толпа солдат с хохотом и шутками старается окружить стадо овец, которые испуганно мечутся по полю.

Проехали мимо толпы мушкетер, внимательно осматривавших захваченные турецкие пушки.

— Из энтих самых он в нас палил!

— Здоровые пушки!

— Глянь, тут у него вся снасть как следует: и пальник и банник!

Кое-где уже слышались разговоры о бое:

— Он кричит: «Аман, аман», а я думаю: «Меня, брат, не оманешь!» Раз его штыком.

Суворов ехал, зорко глядя кругом.

— Это как будто уже апшеронцы? — спросил он у Дерфельдена, указывая на шумную, большую толпу пехотинцев, располагавшихся на отдых.

— Должно быть, они, Александр Васильевич, — ответил Дерфельден.

— Надо, пожалуй, от второй линии захватить Ивана Кузьмича. Пусть-ка хоть с ним принц познакомится! Какой полк, ребятушки? — крикнул, подъезжая к пехоте, Суворов.

— Апшеронский! — ответило из толпы несколько голосов.

Суворов остановил коня.

— Ба, Воронов! Жив, старина? — узнал он ефрейтора. — И Огнев, слава богу, уцелел, — продолжал он, оглядывая мушкетеров. — Молодцы! — весело говорил Суворов.

— Живы еще, батюшка Александр Васильевич! — ответил Огнев.

— Точно так, живы! — гаркнул Воронов.

— А ну-ка, ребятки, где ваш полковник? Покличьте Ивана Кузьмича!

Воронов обернулся к солдатам и, начальственно вытаращив глаза, приказал:

— Их высокоблагородия к их высокопревосходительству!

Но уже и без ефрейторского приказанья неслось от одного к другому:

— Полковника к Суворову!

— Суворов кличет полковника!

— Что, много у вас раненых? — спросил Суворов.

— Человек, почитай, с двадцать, — ответил Огнев.

Воронов недовольно глянул на товарища: ишь, вперед старшего лезет! Степенно ответил:

— В нашем капральстве, ваше высокопревосходительство, только одного ранило — Тяжело?

— Нет, не так чтобы.

— Да он сам вот тут, — прибавил Огнев.

— Зыбин, покажись! — заговорили кругом.

Из толпы бодро шагнул вперед смуглый как цыган мушкетер. Рот у него был повязан окровавленным платком.

— В рот угодило? — нахмурился Суворов.

Мушкетер утвердительно кивнул головой.

— Так точно, в рот, — ответил Воронов.

— Он у нас песельник, — улыбнулся Огнев.

— Болтун. Все лопочет. Оттого ртом и поймал ее, — презрительно вставил Воронов.

Черные глаза раненого улыбались.

— Язык-то, зубы целы? — участливо спросил Дерфельден.

— Целы, ваше превосходительство.

— Только сквозь обе щеки прошла!

— Как иглой прошло! — отвечали солдаты.

— Ну, тогда ничего, скоро заживет. Опять песни петь будешь и с девками целоваться! — пошутил Суворов.

Мушкетеры загоготали.

— А ты, ваше благородие, впервой был в бою? — посмотрел на молодого подпоручика Суворов.

Лосев хоронился за спинами солдат: он натер ноги, поспешил разуться и теперь стоял босиком.

Мушкетеры расступились.

— Так точно, первый раз, — ответил Лосев.

Красный от смущения, он не знал, куда девать босые ноги.

— Страшно было? — спросил, улыбаясь, Суворов.

Подпоручик замялся.

— Страшно вато, — признался он.

— То-то! Война, брат, такое дело — натерпишься! Ну, отдыхайте, ребяташки, сегодня славно постарались! — сказал, отъезжая, Суворов.

К нему спешил полковник Шершнев.

— Подтянись, Кузьмич, поедем, брат, к принцу знакомиться с союзниками! — встретил Суворов командира апшеронцев.

— Да я-то, Александр Васильевич, по-немецки ни гу-гу, — виновато улыбнулся Шершнев.

— Ничего! Зато сражаешься ты по-русски. Поедем!

И они поехали к расположению австрийского корпуса.

Австрийские солдаты узнавали генерала Сувару в этом простецки одетом, небольшом старичке, который ехал на неказистой лошаденке.

— Гляди, вон поехал генерал Сувару! — говорили они один другому.

И за то, что Суворов не стоял на месте в ожидании врага, как их генералы, а смело шел на него, австрийские солдаты сегодня прозвали Суворова «генерал Вперед».

— Vivat, Suvara! Vivat, General Vorwärts! — восторженно кричали они.

Суворов был очень тронут этим. Он махал каской и, приветливо улыбаясь, отвечал:

— Виват, Иосиф! Виват, Кобург!

Навстречу ему уже спешил сам принц Кобургский, окруженный нарядной, цветистой свитой генералов.

Приблизившись друг к другу, обе группы всадников спешили.

— Ваше высокопревосходительство, я восхищен! — начал было принц, подходя к Суворову, но Суворов не дал ему договорить, он крепко обнял принца.

Свита обоих полководцев хотя и более сдержанно, но все же последовала их примеру. Генерал-поручик Дерфельден чуть ткнулся губами в бритую щеку генерала Сплени. Полковник Барко, снисходительно улыбаясь, церемонно поцеловался с генералом Позняковым.

И только простодушный Иван Кузьмич Шершнев искренно заключил в свои мощные объятия какого-то маленького австрийского полковника и, к немалому его удивлению, троекратно, точно на светлое христово воскресение, облобызался с ним.

— Поздравляю с победой, ваше высочество! — сказал Суворов, пожимая руку принца.

— Вас нужно поздравлять, а не меня! Все сделали вы! — широко улыбаясь, говорил принц, с интересом разглядывая генерала Сувару. — Так быстро притти на помощь! Сделать пятьдесят верст в сутки! Это чудо!

— Римляне двигались еще быстрее, — живо отозвался Суворов. — Вспомните Цезаря!

— Но ваша прекрасная диспозиция, ваша замечательная тактика — итти вперед! Мои солдаты уже зовут вас «генерал Вперед», — улыбаясь, говорил принц.

— Все сделали они, наши храбрые солдаты! — отвечал Суворов.

— Нет, нет, победа принадлежит вам! — не уступал Кобургский.

— Честь не мне, а Вилиму Христофоровичу, — указал Суворов на Дерфельдена. — Я только его ученик, он при Галаце показал, как надо бить турок, — весело блестя глазами, говорил Суворов. — Да вот он, мой дорогой полковник Карачай! — радостно встретил Суворов подъезжавшего Карачая. — Карачай — половина победы.

— Ваше высокопревосходительство, вы слишком снисходительны ко мне, — смутился польщенный Карачай.

Но Суворов, прихрамывая, подбежал к нему и горячо обнял: неустрашимый Карачай со своим отрядом показывал сегодня пример всей коннице союзников.

— Мой храбрый Карачай, подойдите, я обниму вас! — сказал принц, делая шаг к Карачаю.

Карачай запнулся. Он глядел на белоснежный мундир принца и на свой пыльный ментик и чуть было не извинился: «Видите, какой я грязный!», но спохватился: ведь секунду назад он в таком же виде мог целоваться с генералом Сувару.

Карачай поспешил к принцу.

Принц обнял своего храброго полковника.

А между тем, в стороне, на пригорке, слуги принца Кобургского уже расстлали большой ковер, ставили приборы, бутылки, холодную закуску. Принц хотел тут же, на поле, отпраздновать столь блистательную победу союзных русско-австрийских войск.

РЫМНИК

Возвышайся, россов слава,
Веселися, наш герой!
Нам труды с тобой — забава,
И победа — каждый бой.
И друзья здесь наши с нами:
Кобург-принц, цесарцы с ним:
Общей силой и сердцами
Иль умрем, иль победим.

Песня рымникская

I

Приступ лихорадки только что прошел. Суворов лежал, обливаясь потом. Он смотрел в потолок низенькой молдаванской хаты и думал все о том же.

Вернувшись после победы у Фокшан на прежнее свое расположение, в Бырлад, Суворов написал командующему армией князю Репнину, что русские могли бы теперь двинуться к Дунаю. Суворов так и написал:

«Отвечаю за успех, ежели меры будут наступательные. Оборонительные же? Визирь придет! На что колоть тупым концом вместо острого? Правый бок чист: очистим левый и снимем плоды!»

Но, конечно, с его доводами никто не посчитался, и союзники продолжали «колоть тупым вместо острого» — стоять на месте, а визирь продолжал наступать.

Вчера вечером от принца прискакал голец: Кобургский снова просил помощи. Он сообщал, что великий визирь будто бы собрал громадную армию в сто тысяч человек, перешел Дунай у Браилова и двинется к Рымнику. У принца был все тот же восемнадцатитысячный корпус, и он умолял Суворова поспешить на помощь.

Суворов и сам знал, что визирь намеревается где-то перейти Дунай, но в Браилове, Галаце или в Измаиле — неизвестно. Как доносили лазутчики, во всех этих пунктах было много турок. Великий визирь хотел, чтобы союзники не могли знать заранее, где он будет переправляться через Дунай.

Главкомандующий Потемкин колебался, не зная, что делать: осаждать ли Бендеры или идти в Молдавию. Его армия медленно, черепащим шагом, двигалась от Ольвиополя к Дунаю.

Суворов, получив вчера вечером письмо принца, решил выждать, посмотреть, что будет дальше: ведь ему нужно наблюдать не только за Фокшанами, но и за Галацем — неизвестно, куда повернет визирь.

Суворов лежал и думал, что-то будет? Ему вдруг показалось, что к дому подъехали. Он приподнял голову. Так и есть: в сенях вестовой Ванюшка говорил с кем-то.

Дверь осторожно приоткрылась, выглянуло курносое лицо казака.

— Ну, входи, входи! — сказал Суворов. — Кого там бог несет?

— Тот самый австрийский офицер, ваше высокопревосходительство.

— Пусть входит!

Суворов, худой и желтый, сел на постели, вытирая полотенцем мокрый лоб и шею.

В комнату вошел уже знакомый Суворову по Фокшанам высокий, длиннолицый майор Траутмансдорф. Плащ майора был весь забрызган грязью. Лицо лоснилось от пота — видимо, майор хорошо гнал коня.

Траутмансдорф уже знал повадки генерала Суворова и без удивления смотрел на его убогую постель, на простой полотняный мундир.

Сегодня генерал-аншеф выглядел особенно плохо, был очень худ. На его посеревшем, изможденном лице живым огнем горели только глаза. И от этого хилого, казалось, немощного старичка весь австрийский корпус ждал помощи, ждал спасения!

— Ну что, где визирь? — не дожидаясь доклада, быстро спросил Суворов.

— Идет на Фокшаны, ваше высокопревосходительство. Уже в шестнадцати верстах от нас. Назавтра ждем боя, — ответил майор, подавая Суворову письмо принца.

Пот еще сильнее прошиб Суворова: значит, он напрасно прождал весь сегодняшний день! Он, Суворов, в первый раз в жизни помедлил, опоздал!

Опираясь о стенку, Суворов встал на ноги. Письмо принца дрожало в его ослабевших от лихорадки пальцах. Суворов не стал читать, что пишет Кобургский.

— Писать некогда. Передайте принцу: выступаем немедленно! — твердо сказал Суворов.

Траутмансдорф не стал терять времени. Он надел треуголку, козырнул генерал-аншефу и скрылся за дверью: принц Кобургский с нетерпением ждал его возвращения.

... В полночь семитысячный корпус Суворова выступил в поход. Ночь была

темная, все небо покрыли тучи. Накрывал дождь. Он шел тихий, но упорный и грозил перейти в обложной.

Впереди Стародубовского карабинерного ехал, ссутулившись, генерал Суворов.

Начинался очередной приступ. Суворова трясло под тонким плащом. Но он, казалось, не замечал лихорадки. Суворова беспокоило другое: он зря прождал целые сутки. Если визирь догадается немедленно атаковать австрийцев, союзники погибнут. Успеет ли он соединиться с принцем, чтобы спасти и австрийцев и себя от поражения, или нет?

II

Целую ночь с небольшим перерывом лил дождь. Стояла непроглядная темень, все небо заволокло тучами. Итти становилось с каждой верстой все труднее: и без того скверную дорогу совершенно размыло. В темноте спотыкались, падали в колдобины, рытвины, ямы. Пехотинцы шли мокрые, забрызганные грязью по пояс. Плащи давно промокли, с каски за шею стекала вода.

Только под утро дождь немного утих. День вставал пасмурный, неприветливый, не похожий на обычный в Молдавии ясный сентябрьский день.

Юго-западный ветер, «средиземный», как называли жители, продолжал без устали гнать низкие, тяжелые тучи.

— Ежели до полудня ветер не переменится, тогда дождь будет до самой полуночи, — сумрачно заметил Огнев.

И действительно, когда после небольшого роздыха тронулись дальше, то не успели пообветриться плащи, как снова полил дождь. Так, под дождем, переходили реку Бырлад.

Зыбин, оправившийся от раны, полученной при Фокшанах, по-всегдашнему веселый, уронил полушутья:

— Сказывают, еще одну реку переходить будем.

— А уже теперь хоть десяток, — мокрей не станешь! — ответил Башилов.

— В самом деле будем переходить, — сказал Огнев.

— Кажись, большая река, ее вброд не перейдешь, — заметил Воронов.

— Австрияк нам понтон сготовит, — сказал Зыбин.

— Он те нагоговит! — улыбнулся Огнев.

Все ждали перехода через Серет, все знали: от Серета до австрийского лагеря несколько часов ходьбы.

Перед походом генерал Суворов сказал солдатам:

— Понатужьтесь, ребяташки, поспешим! А то басурман побьет нашего союзника. Их сто тысяч, а у принца и двадцати не наберется. Но коли мы подоспеем, — вызволим!

И вот слушались любимого генерала, спешили. Шли так, что почти не отставали от конницы.

Было три часа пополудни, когда в стороне блеснула река.

Колонна остановилась. Все оживились. Думали: «Вот уже переходят карабинеры. скоро и мы!»

Но случилось невероятное — войска, свернув в сторону, пошли прочь от реки. Тотчас же по рядам пронеслось:

— Моста нет!

— Австрияк понтонов не навел!

— Вот те и союзники!

— Да что они шутики шутят с нами?

— А может, мы сами не туда вышли? — высказал кто-то предположение.

— Ну вот, скажешь! Что ж Александр Васильевич не знает, куда итти?

— А может, басурман уже побил австрияка?

— Слышать было б...

И вслед за этим тотчас же разнеслась новость: мост есть, но выше по реке, отсюда верст за пятнадцать. Потому что там река уже.

— Вот пропади они пропадом! Еще тащись по этакой грязи!

— Совсем от ног отстанешь!

— За дурной головой ногам непокой!

Но делать было нечего, снова пошла вперед.

А дождь, как назло, все усиливается. Поднялась буря. Раскатившись по небу, загремел гром. Сверкнула молния.

С большой дороги свернули на проселок. Итти стало еще тяжелее: грязь была по щиколотку.

— Нам, грешным, и ветер навстрешный, — сказал Огнев, шлепая по грязи.

— До Ильина дня тучи по ветру идут, после Ильина — против, — поправил Воронов.

— Нынче все против нас: и дождь и ветер! — буркнул Башилов, отворачивая лицо от косога дождя.

— Ничего, лишь бы Суворов был с нами! — отозвался Зыбин.

На повороте они увидели своего генерала. Измученный лихорадкой, желтый, худой, — краше в гроб кладут, — Суворов что-то быстро говорил по-немецки австрийскому офицеру, который почтительно его слушал.

Косой дождь хлестал им в лицо. Офицер все пригибал голову, но Суворов, казалось, не замечал дождя.

Минуту спустя генерал Суворов сбегнул апшеронцев. Ехал молча, не сказал ни слова, видимо, был очень не в духе.

— И ему, брат, несладко! — сочувственно сказал Башилов, указывая на презжавшего генерала.

Суворов поехал к голове колонны, на свое постоянное место: в походах он ехал всегда с авангардом.

Уже вечерело, когда измученные, еле тащившиеся солдаты снова увидели реку.

Еще издали они заметили пасущихся, сытых понтонных австрийских лошадей, значит мост есть. Передние эскадроны карабинеров проваливались куда-то вниз.

Подошли к обрыву и апшеронцы.

Река, вздувшаяся от дождей, шумела где-то внизу. К ней нужно было идти по довольно большому, болотистому лугу. Пехота стала спускаться с крутого обрыва на луг. Луг был весь залит водой. Шедшие впереди эскадроны кавалерии разместили его. Пехота увязала до самых колен. Две пушки, следовавшие за апшеронцами, сразу же засосало — ни с места.

— Ну и нашли, где устраивать переправу! Как нарочно!

— Стоило пятнадцать верст трепать по грязи!

Солдаты ругали все на свете: и австрийцев, и погоду, и злосчастную реку Серет.

А дождь продолжал лить. Он лил как из ведра. Снизу и сверху была вода. Люди, стоя в ней по колено, продрогли окончательно.

— Да чего там замешкались?

— Скоро ли? — Вытягивая шею, смотрели на видневшийся впереди сквозь сетку понтонный мост.

Наконец, по доскам застучали копыта лошадей: авангард перешел на ту сторону. Пехота подвинулась вперед.

— Я только себе местечко нагрел, а тут опять в холодную лезть, — говорил Зыбин, с трудом выдирая ноги из грязи.

Но никто не поддержал его, не улыбнулся даже; было не до шуток.

За авангардом на мост ступили стародубовцы. Впереди карабинеров ехал, нахохлившись, съезжившись под дождем, большой генерал Суворов.

Ветер переменялся. Теперь он был холодный, северо-восточный. Казалось, что он гнал вчерашние тучи назад, к Дунаю. Ветер налетал порывами.

Карабинеры были уже почти на середине реки, когда вдруг сильным порывом ветра понтоны поворотило на сторону.

— Сорвет! Сорвет! — раздалось отовсюду.

Карабинеры на мосту замялись. Суворов повернул назад своего коня и, встав на стремянах, что-то кричал, махая нагайкой. Задние ряды карабинеров, не видя, что делается на мосту, еще напирали на передних, торопясь поскорее выбраться из болота.

Солдаты принялись ругать союзников:

— Опять перегык — понтон порвет!

— Ну, и навели!

— А чем они виноваты? Видишь, как реку вспучило, круглые сутки этакий ливень!

Суворов с первыми эскадронами уже съезжал с моста. Все снова очутились на топком лугу.

— Вот и переправились! Теперь будем здесь ночевать.

— Заснешь! Места сухого нет!

— Где там спать, хоть бы дождь-то перестал! Хоть бы кафтан выжать, а то все мокрое, — говорили солдаты.

Пехоте велено было подняться наверх.

Грязные, мокрые, выбрались из болота апшеронцы.

Австрийские понтонеры, гревшиеся у коистра, торопились вниз, к реке.

Мимо пехоты, в плаще, забрызганном грязью, проехал сумрачный, злой, не похожий на себя генерал Суворов. Его маленькая лошаденка увязала на топком лугу чуть ли не по брюхо. Взобравшись наверх, Суворов, не обращая внимания на дождь и ветер, поскакал куда-то в сторону. За ним поспешали дежурный майор и адъютант.

— Не удержишь, хочет все делать сам, — недовольно говорил адъютанту дежурный майор, шпоря усталого коня.

Пехота, потеряв всякий строй, сбилась в кучу.

Через несколько минут Суворов протрусил назад к обрыву, что-то сказал поджидавшим карабинерам. Карабинеры, эскадрон за эскадронам, пошли в ту сторону, откуда только что возвратился из разведки генерал. Оказалось, что в полуверсте был лес, куда на ночь переводил Суворов кавалерию.

Пехотинцы старались найти местечко посуше. Все-таки здесь было не так мокро, как внизу.

Дождь опять на время стих. Большинство солдат, укрывшись мокрыми плащами, улеглось. О костре нечего было и думать — все намокло. Да и не хотелось возиться с ним, хотелось поскорее уснуть.

Александр Васильевич был в ужасном настроении: его весь день мучила одна мысль: зачем он не выступил 6-го, зачем зря потерял целые сутки? Кобург шлет гонца за гонцом, торопит. Бойтся! Еще бы не бояться: визирь со своей громадной армией стоит от него в двух шагах. Правда, визирь до сих пор не атаковал принца. Это хороший знак: визирь чего-то ждет. Время, стало быть, еще не потеряно.

Но сегодня все как-то складывается против Суворова.

Сначала эта нелепая путаница с местом переправы. Потеряли несколько дорогих, драгоценных часов. Затем несчастье с мостом. Теперь придется ждать, пока на таком сильном течении, через разлившуюся, как весной, реку понтонеры снова наведут мост, пока солдаты починят дорогу через луг, чтобы можно было провезти пушки и повозки.

И в довершение ко всему — этот ливень, редкостный, небывалый в Молдавии в сентябре! Сентябрь здесь обычно — самый лучший месяц в году: ясный, безоблачный. А вот-те на! Проклятый ливень вконец испортил дорогу, измучил бедных солдат.

Суворов не находил себе места. Занятый неприятными мыслями, он забыл о лихорадке. И странное дело, здесь, под проливным дождем, на ветру, озябший, вымокший до нитки, Суворов чувствовал себя здоровым: от волнения лихорадка совершенно прошла.

Суворов велел дежурному майору исправить за ночь дорогу через луг. Из каждого полка отрядили людей рубить фашишник. Казаков разослали по окрестным

деревням собрать молдаван с лошадьми и каруцами возить песок.

Работы до утра хватало.

Передать все этому австрийскому капитану-понтонеру, у которого затряслись губы, когда он увидел, что с его мостом сделала река, Суворов не мог.

Он не мог сидеть сложа руки, когда кругом было столько дела. Он не мог бы спокойно уснуть, не будучи уверенным в том, что к завтрашнему дню все будет готово.

И Суворов только пересел на свежую лошадь и закутался в сухой плащ, который дал ему вестовой. До самого утра он наблюдал за работой солдат и молдаван, сходящихся и съезжавшихся к реке гатить дорогу.

Башилов, наряженный вчера вместе с другими апшеронцами на работу, разбудил Огнева, который лежал, свернувшись калачиком, у межи:

— Вставай, дядя Илья, погрейся!

Башилов держал манерку с кипятком.

Огнев поднялся.

Солнце только что взошло. Было тихо и безоблачно. Только глубокие борозды в песке, спускавшиеся вниз к лугу, напоминали о вчерашнем ливне, да от сырости, от спанья в мокрой одежде ныло тело. Шаровары и кафтан были еще влажны, пахли прелью.

Весело трещали костры. Люди сушили одежду, чистились, грели кипятком.

Все повеселели.

— Ну как, управились? — спросил Огнев, подымаясь.

— Починили. Навалили фашишнику, насыпали песку. Да ты пей, Илья Николаевич, — говорил Башилов, подавая Огневу кружку. — Грейся!

Зыбин проснулся сам. Он моргал красными глазами и, потягиваясь и зевая, говорил:

— До чего сладко спать на брюхе, спиной прикрывшись!

В это время с пригорка проехал окруженный офицерами генерал Суворов.

— Уже встал, — кивнул на него Огнев.

— Какое там встал! Он и не ложился, сердешный. Так с нами целную ночь и коротал. И с коня не слезал, все смотрел за работой да указывал, — отвечал Башилов.

Пока вестовой и Прошка разбивали для Суворова палатку, он отослал принцу Кобургскому письмо:

«Я пришел и, чтобы показать это туркам, думаю атаковать их через несколько часов».

Наконец-таки, перейдя через реку Серет, русские к полудню 10 сентября 1789 года дошли до австрийцев.

Когда австрийские ведеты увидели казачков, они были вне себя от радости.

— Русские идут! Генерал Вперед пришел! Мы спасены! — понеслось по лагерю.

Как и при Фокшанах, русские примкнули к левому флангу австрийцев.

Австрийский лагерь стоял на реке Мильке.

— Гляди, опять река! Сколько их тут, прости господи? — удивлялись солдаты.

— А летом, поди, ручейка не сыщешь!

— Турки, сказывают, уже два дня налетают.

— Пугают!

— Вот мы их уже попугаем!

Третий день русские войска не отдыхали по-настоящему. Став на место, солдаты быстро разбили палатки, и каждый занялся своим делом. Кто в прошлую ночь был наряжен на работу и не спал, поскорее завалился спать. Любители покушать, стокскававшие по свежей кашнице, развели костры. А большинство сушило и чистило забрызганные грязью, измятые кафтаны и шаровары и приводило в порядок амуницию и оружие.

Кавалеристы чистили лошадей, кое-кто уже точил саблю.

Отослав записку принцу, Суворов, прихрамывая, пошел в палатку. Казаки постарались для своего генерала, притащили в палатку добрый воз сена.

Суворов сбросил сапоги, снял каску и кафтан и с удовольствием растянулся на свежем сене. Так хорошо было бы сейчас заснуть: ведь он не спал уже три ночи подряд! Но еще надо было договориться с принцем, осмотреть турецкое расположение и составить диспозицию к завтрашнему бою.

Суворов решил завтра же ударить на турок, чтобы ошеломить их. Он шел три ночи и два дня. Дни выдались ненастные, дождливые. Шел большей частью проселочными дорогами, чтобы турки не узнали о его продвижении.

Суворов ждал принца. Он разложил сене карту и старался представить себе какую позицию выбрал великий визирь

Долго ждать принца не пришлось. Вдали послышались крики «ура». Суворов сунул руки в рукава кафтана и стал натягивать на большую ногу еще недостаточно просушенный сапог.

Суворов успел одеться и выйти навстречу принцу, который, подъехав к палатке, легко спрыгнул со своего кровного серого жеребца.

— Ваше высокопревосходительство, как я рад! — кинулся он к Суворову.

Суворов с удовольствием обнял его и поцеловал в обе щеки:

— Здравствуйте, ваше высочество! Вот мы и снова вместе!

— Простите, что произошло недоразумение с этим мостом. Я не думал, что вы пойдете по столь скверной дороге.

— Некогда выбирать! Скверная, да верная! Самая короткая! — сказал Суворов, откидывая полотнище палатки и пропуская принца вперед.

Кобургский шагнул в пустую палатку. Он уже достаточно знал генерала Сувару и не удивлялся его спартанскому образу жизни.

Приминая сено, они расположились возле карты.

— Ваше высочество уверены, что визирь здесь со всем войском? — спросил Суворов.

— Так говорят лазутчики. Да и по кострам ночью видно!

— Нужно, не теряя времени, ударить. Визирь ждет подкреплений.

— Какие же еще подкрепления? — пожал плечами Кобургский. — Ведь у него и так больше ста тысяч человек!

— Тем лучше, сразу отделаемся ото всех! — уверенно заявил Суворов.

— Но, мой друг... — запнулся принц.

Для него казалось немислимым разбить во столько раз превосходящего численностью врага. От волнения он даже встал.

— Чем больше турок, тем больше у них беспорядка! — выпалил Суворов.

— Но ведь их в четверо больше! — подчеркнул Кобургский.

— А хоть бы и вдесятеро! Все же их не столько, чтобы затмить нам солнце! — твердо сказал Суворов, глядя снизу вверх на высокого собеседника.

— Я проезжал по лагерю, видел: русские войска изнурены походом. Вы так

быстро шли—в дождь, в бурю, без ночлегов! Солдатам нужен отдых! — не переставал возражать принц.

Суворов мельком взглянул на принца: умный, хороший человек, да опять, кажется, трусил! Опять заговорила линейная тактика: как же тут идти на басурман, если по всем ее правилам нужно отступить?

«Ретирада на уме. Придется снова шестомить его», — подумал Суворов.

— Ежели ваше высочество несогласны атаковать визиря, я атакую один! — решительно сказал Суворов и, прихрамывая, пошел к выходу.

— Эй, братец, коня! — высунувшись из палатки, крикнул он вестовому.

Суворов надел каску, положил в карман карту и обернулся к принцу. Кобургский стоял в раздумье, перекусывая зубами травинку.

— Простите, ваше высочество, но я должен ехать. Хочу сам посмотреть турецкое расположение, — объяснил свой отъезд Суворов и вышел из палатки.

Принц пошел вслед за ним.

Суворов легко вскочил на коня и поехал.

Адъютант хотел было нарядить эскадрон для охраны генерала, но Суворов недовольно замахал рукой:

— Не надо, помилуй бог! Пусть урядник и двое казаков!

Принц медленно шел к своему долговязому адъютанту, стоявшему в сторонке, и думал о Суворове:

«С него все станется. Он и с семью своими тысячами атакует сто тысяч визиря».

IV

Суворов осторожно подъехал с казаками к самой Рымне. Лагерь союзников остался далеко позади. Тут уже из-за каждого куста мог выскочить янычар.

Прислушались, осмотрели ближайшие кусты — вблизи, на этом берегу, никого не было.

Суворов спешился в кустах и пошел с урядником и казаком к дубкам, росшим на самой круче. Внизу, под обрывом, пенилась грязно-желтая после вчерашних дождей Рымна.

— Подсобите, казачки! — сказал Суворов, подпрыгивая и хватаясь за сук.

Урядник один легко приподнял генерала.

Суворов ухватился за сук повыше, на нижний стал ногами и быстро полез вверх по дереву.

— Шестьдесят годов, а так легко лезет! — удивлялся казачий урядник, глядевший, как генерал взбирается все выше и выше.

— Не свалился бы, подошвы-то сырые. ствол тоже скользкий! — забеспокоился казак.

— Не свалится! Он, брат, не таковский! — ответил урядник.

Суворов влез, насколько можно было, повыше, поудобнее устроился, обломал мешавшие ветки и смотрел в трубу на турецкое расположение.

Турки стояли между реками Рымной и Рымником, который блестел вдали. Все пространство между ними было занято турецкой армией. Белели сотни наметов, палаток, шатров. На просторных лугах и полях паслись табуны лошадей, верблюдов, буйволов, ослов. Как на громадной ярмарке, толпились телеги, повозки, каруцы, арбы. Тысячи костров горели всюду.

Суворов насчитал три лагеря. Первый лежал почти у его ног, на противоположном берегу реки, у деревни Тыргокукули. У деревенской околицы выглядывали из-за высокого бурьяна жерла турецких пушек.

Суворов прикинул на-глаз: в одном этом лагере было значительно больше войск, чем у него.

Второй лагерь располагался на пригорке соседней деревни.

«Это Бохча», — вспомнил ее название Суворов.

Здесь паслось больше скота, чем у Тыргокукули, и гораздо больше было пушек. Суворов насчитал их до сорока.

«Ну да ничего, мои богатыри возьмут и эти!» — думал он.

Левее Бохчи редел Крынгумейлорский лес. Он кишел людьми и лошадьми. А за ним — опять бесконечные обозы.

Где-то там, у Рымника, как доносили лазутчики, был третий, самый большой лагерь визиря.

— Вот если б принц глянул! Помилуй бог! Расписывал ему лазутчик, но еще мало. Принц свалился бы с дерева от страха. Да, крепки дьяволы! Это не под Фокшанами.

«Позиция у визиря прекрасная», — думал Суворов, слезая.

Мешкать особенно было нечего — того и гляди, заметят басурманы и налетят.

Мысль работала лихорадочно. Диспозиция завтрашнего боя понемногу складывалась в голове:

«Я ударю на Тыргокукули, а принц будет охранять фланг и тыл. А потом соединимся и все разом — на визирия. Турки не ожидают. Растеряются!»

План был хорош, но все-таки чрезвычайно рискован: с каждым шагом русских к Тыргокукули расстояние между союзниками должно увеличиваться, фланг и тыл их — все больше обнажаться.

«Карачай — молодец! Он не допустит, чтобы турки атаковали нас с фланга», — думал Суворов, готовясь спрыгнуть вниз с дерева.

Казаки так же бережно сняли Суворова, и он заковылял к коню.

На полпути к лагерю их встретили два эскадрона гусар Цеклера, высланные принцем для охраны Суворова. А у лагеря нетерпеливо ждал сам принц Кобургский.

— Ну как? — спросил он, подъезжая к Суворову.

— Стоят хорошо, как дома. Но мы их завтра прогоним. Вы подумайте, ваша светлость, а я, простите, поеду немного отдохнуть!

Красные, воспаленные от бессонницы, глаза Суворова смотрели устало. Лицо пожелтело и осунулось.

— Да вы едва держитесь на ногах! Вы сегодня спали? — участливо спросил принц.

— Нет.

— А вчера?

— Нет.

— А позавчера?

— Нет.

— Когда же вы спали?

— Еще в Бырладе.

Принц всплеснул руками:

— Так же невозможно!

— Ваше высочество, я пришлю к вам полковника Золотухина. Вы обсудите с ним, а я поеду спать.

И, слабо улынувшись, Суворов поехал к своему лагерю.

Принц молча смотрел ему вслед.

«Удивительный человек!» — думал он.

V

Зыбину этот ночной марш был особенно несносен. Еще выступая из лагеря, Суворов сам объехал полки и строго приказал, чтобы на марше никак не обнаружить себя:

— Не курить, огней не высекать! Языком попусту не чесать! Команда — вполголоса! Горнисты, барабанщики, замри! Чтоб как снег на голову!

Так всю ночь и шли: ни закурить, ни поговорить. Иди и только берегайся, не звякнуть бы невзначай ружьем, не споткнуться бы о что-либо на дороге.

До первого турецкого лагеря, к которому шли, — говорят, еще верст пятнадцать. Казалось бы, к чему такая сугубая предосторожность? Но раз Суворов приказал, стало быть, надо исполнять.

Хотелось курить, гнало слюну.

— Эх, беда, затянуться нельзя!

Зыбин примечал, он томился не один в их капральстве. Воронов, который всегда много курит, жевал что-то на ходу. Подпоручик Лосев часто сплевывал, видать, тоже охота покурить.

Поговорить бы хоть, отвлечься — и то нельзя.

Впереди далеко видны турецкие огни.

Небось, кашу варят, не ждут гостей!

Вот послышался рев осла, у турок их много.

— Ах ты, пропади пропадом, как ревет! Скрипит, ровно намазаная молдавнская телега!

Зыбин повернулся было к своему соседу Огневу, хотел шепнуть ему, но в полутьме увидал: Огнев недовольно сдвинул брови, замотал головой: «Молчи уж!» Со скуки поглядел на звезды: «Ковш-то где? У нас — чуть повыше и левее...»

И вот так шли и шли втихомолку. Если кто-либо в рядах нечаянно звякал ружьем о водоносную флягу или спотыкался, на него первым выпучивал глаза ефрейтор Воронов. Затем сердито шикал капрал, и, наконец, подбегал, придерживая левой рукой шпагу, подпоручик Лосев: «Что, кто? Тише!»

И в этой напряженной тишине как-то больше клонило ко сну.

... Уже совсем рассело, когда подошли к реке Рымне. Рымна была мелководна, по колено. Поеживаясь, ступили в воду. Пошли через реку. Зыбин насчитал сто восемьдесят четыре шага. Он шел и смотрел, как осторожно, полуприседая, идет Воронов.

— Не любит дядя Ворон водички! — всегда трунил он над любимшим выпить ефрейтором.

Хлюпя набравшейся в сапоги водой, взобрались по крутому, обрывистому бе-

регу. Турецких огней уже не было видно. Впереди темнели кусты.

«Неужели опять проклятые колючки, как там, возле Фокшан? Все руки расцарапаешь, все шаровары изорвешь!»

По рядам прошло тихое:

— Становись в каре!

Дело привычное, ровно щи хлебать! Построились быстро. Стояли, ожидая сигнала идти вперед.

Барабанщик дядя Ваня, который умел барабанить и в то же время показывать, как сапожник колет шилом, всучивает дратву, уже стоял наготове. Он сразу повеселел, сморкался наземь, не заботясь о том, что получается довольно громко.

Кавалерия уже заняла свою всегдашнюю третью линию. Пехотные каре были впереди.

К каре апшеронцев подъехала группа всадников. Зыбин узнал нового своего командира полка, широкоплечего полковника Апраксина и высокого, одутловатого генерал-майора Познякова. Посреди них на небольшой лошаденке сидел генерал-аншеф Суворов.

А рядом с ним — вихрастый казак Иван. Затесался, будто и он чин. А ведь только возит за генералом Суворовым его тяжелую саблю! Сам же Суворов — только с нагайкой.

Указывает ею в сторону, машет. Видно, чем-то недоволен.

— Замешкались! Все дело испортят! И еще этот Тищенко — словно за смертью поехал! — услышал Зыбин, как говорил Суворов.

Генерал-аншеф со свитой проехал к передней линии гренадер и егерей.

Солдаты чуть оживились, стояли вольно, откашливались, сморкались.

Суворов возвращался назад, когда сзади, от третьей линии, послышался конский топот. Все увидели мчащегося генеральского адъютанта.

К удовольствию Зыбина, Суворов остановился возле их каре. Зыбин слышал, как генерал-аншеф быстро спросил у адъютанта:

— Ну что, скоро ль принц? Чего он там замешкался?

— Поспешают, ваше высокопревосходительство! — отвечал запыхавшийся адъютант. — Я как сказал, что ежели вы отстанете, мы тотчас же одни ударим на турок, так австрийские офицеры кинулись подго-

нять солдат: «Скорее, скорее! Суvara кричит: «Вперед!» Если мы не поспеем, русские пойдут одни. Их разобьют и разобьют нас».

Суворов рассмеялся.

— Только испугом и можно взять! Что же, Александр Адрианович, — обернулся он к генералу Познякову, командовавшему первой линией, — с богом вперед!

Каре двинулись на турецкий лагерь, который был расположен у деревни Тыргокукули.

✕ Суворов взял на себя главную и самую опасную задачу — наступать на стотысячную турецкую армию, а принцу Кобургскому поручил обеспечить тыл и фланг.

Шли через кусты, через бурьян, по пшеничной стерне, по будьям кукурузы, пересекали луга, на которых трава была по пояс. Версты три прошли спокойно. Турки еще не обнаружили неприятеля. Они безмятежно спали, потому что знали: перед ними стоят в шесть раз меньшие силы австрийцев.

Но вот на левом крыле раздался выстрел, за ним другой. Наступление было обнаружено. И еще не успели апшеронцы пройти кукурузное поле, как заговорили пушки турецкой батареи, защищавшей лагерь.

В первой линии тотчас же заиграли генерал-марш, ударили барабаны, и полки с распушенными знаменами быстрым шагом пошли вперед.

Деревня, занятая турками, их лагерь, батарея, — все было как на ладони, вот тут, казалось, уже в полуверсте. И вдруг бежавшие со штыками наперевес войска первой линии остановились: перед ними был глубокий овраг. Он пересекал путь русским каре. Через овраг вела только одна небольшая дорога. Всем каре по ней сразу было не пройти.

Войска передней линии остановились в замешательстве.

— Что там такое? Чего стали? — нетерпеливо спрашивали задние.

Барабаны как-то сами умолкли. Настроение сразу понизилось. Стоять под турецкими ядрами и пулями было не очень приятно. Пали раненые.

Не обращая внимания на свистящие вокруг пули и ядра, к оврагу подскочил сам генерал-аншеф Суворов.

— Чего стали? Эка невидаль! Фанагорийцы, вперед! Сбить батарею! Вперед.

богатыри! Ведь вы русские! — крикнул Суворов.

Гренадеры кинулись в овраг, только ж-под ног посыпался песок. Вот они уже внизу, вне турецкого огня. Вот поднимаются, бегут вверх с ружьями наперевес.

— Ура! — крикнул чей-то один голос.

— Ура! — подхватили оба батальона фанагорийцев.

Гренадеры ударили в штыки.

Тотчас же за фанагорийцами, — так же быстро, но уже в полной безопасности, — пересекли овраг шедшие сзади за ними апшеронцы.

В турецком лагере стоял переполох. Видно было, как по дороге из деревни уносятся верховые, мчатся каруцы, кибитки, арбы, убегают пешие. Этот неожиданный удар ошеломил турок.

Батарея замолчала, она была уже взята русскими.

Апшеронцы только взобрались на верх обрыва, когда к их строю подскакал верховой турок. Он держал в руке белый платок.

— Неужели сдаются?

— Ага, пощады запросили! — обрадовались апшеронцы.

Турок, к удивлению всех, заговорил на русском языке:

— Вы разве русские? Вы переодеты австрийцы. Русские тут не могут быть, они еще в Бырладе! — кричал издали турок, разглядывая апшеронцев.

— А ты подъезжай поближе, мы те покажем, кто такие! — крикнул из середины каре полковник Апраксин. — Бей его, сучьего сына! — прибавил он, сообразив, что это разведчик под видом парламентаря.

Но хитрый наездник уже повернул коня и стрелой помчался назад, к лесу. Несколько пуль полетело ему вдогонку.

— Вот ворюга!

— Откуда он по-русски знает?

— Эх, далековато стоял! Если б хоть на шагов десяток поближе, я б его окстил!

Это говорили в передней фаше.

А между тем, из лесу Каята, слева от деревни, уже сыпались тысячи турецких всадников. Они намеревались ударить во фланг русским, переходившим овраг. Сегодня спаги были не одни, каждый всадник вез с собой янычара, причем янычары были какие-то черные. Они стояли на стременах, ухватившись одной рукой за седло, а в другой держали ятаган. У многих из них в зубах блестели кинжалы.

— Глядите, ваше благородие, сегодня не только белые арапы против нас, а и черные, — сказал Воронов молодому подпоручику. — Я этаких — и то за пятнадцать годов первый раз вижу.

— Это мурины, — говорили мушкетеры, готовясь встретить гостей.

Но первый яростный удар турецких спагов и янычар обрушился не на апшеронцев. Левее их, из оврага, только что поднялись шесть эскадронов бригадира Бурнашева. Синие мундиры карабинеров потонули в разноцветных кафтанах и чалмах налетевших турок.

Карабинеры не выдержали ужасного натиска и сломя голову помчались назад, к оврагу.

Турки, ободренные успехом, кинулись с диким воем на пехоту.

Апшеронцы встретили их дружным залпом пушек и ружей.

Но турок было слишком много. Еще миг — и огромная волна их все-таки проскочила эту огненную преграду и обрушилась на каре.

Черные африканские янычары уже спрыгнули на землю. Не боясь быть раздавленными лошадьми спагов, они лезли между всадниками, с остервенелым криком бросаясь вместе со спагами на русскую пехоту.

Около получаса турки ожесточенно лезли на каре.

В это время Бурнашев успел перестроить свои эскадроны и смело кинулся во фланг турок.

Кроме того турки попали под перекрестный огонь смоленцев, перешедших овраг левее.

Турки дрогнули и побежали.

Теперь спаги удирали одни, бросив африканцев-янычар на произвол судьбы.

Янычары кидались к ним, стараясь вскочить на стремя, но спаги, чтобы облегчить себе отступление, безжалостно рубили своих же товарищей. Но и тех, которым удалось вскочить на стремя, ждала печальная участь: русские карабинеры и венгерские гусары рубили и спагов и янычар.

Смешавшаяся турецкая конница понеслась было к своему лагерю, но оттуда на них лавой вылетели казаки, которые с арнаутами уже хозяйничали в турецком лагере и деревне.

Турки повернули назад, к лесу Каята. Распаленные схваткой, карабинеры и гу-

сары хотели было преследовать врага, но в пороховом дыму показался Суворов.

— Степан Данилович! — крикнул он бригадиру Бурнашеву. — Пусть бегут, помилуй бог! У нас и без них еще дела много!

Действительно, хотя здесь, в лагере, турок стояло вдвое больше, чем всего русских, но это была только незначительная, может быть, десятая часть того, что ждало впереди.

Горнист заиграл аппель.

Карабинеры и гусары возвращались назад.

VI

Прошка не считал себя трусом: пусть еще какой-либо генеральский денщик побудет в стольких сражениях, как он! Небось, другие, — к примеру, денщик генерала Познякава или бригадира Вестфалена, — пусть бы они постояли вот так под пулями! Так нет же, все остались за рекой, в Вагенбурге.

А Прошка с первой минуты боя здесь, в огне!

Хотя Прошка был верхом, но он не дружил с конницей. Как при ней можно находиться денщику? Трубач протрубит — и конница, марш-марш, уже понеслась на врага. Еще минуту назад на лугу стояли сотни всадников, а тут, глядь, остался один Прошка.

У Прошки, как и у его барина, при себе не было никакого оружия, одна солдатская, никудышная, короткая полусабля. Ею разве отобьешься от чортова турка? Прошка возит с собой эту полусаблю только потому, что она хорошо годится в денщицьем деле: дров наколоть, мяса, если случится, разрубить, а на худой конец и кол для палатки очесать.

Полусабля вся в зазубринах. Александр Васильевич, как увидит ее, всякий раз ругается:

— Это пила, а не сабля! Эх ты, лентяй, пресная шлея! Наточить не можешь!

— Чего же ее точить, Ляксандра Васильич, — скажет Прошка, — коли она через день снова такая же будет? А лучину колоть — она и так гораздо хорошо колет!

Александр Васильевич знает Прошку, махнет рукой: мол, тебя не переделаешь!

Нет, генеральскому денщику место в бою одно — с пехотой, в середине каре, с мувькантами да с лекарем.

Прошка и одет по-пехотному, хотя ни строя, ни ружейной экзерциции не знает.

И сегодня Прошка пристроился к пехоте второй линии. Сначала он шел с ростовцами, а потом Александр Васильевич услали их куда-то влево, где пуше всего наседали басурманы, и Прошка с несколькими ранеными солдатами оставил каре. Раненые поплелись назад, к реке, к Фокшанам, а Прошка втиснулся в другое каре, к старым знакомым, апшеронцам. И стоял в середине его.

Когда на каре налетали с всегдашними, неистовыми криками турецкие всадники, Прошка невольно хватался за свою тупую саблю и читал «Отче наш», так страшен был этот ураган.

Но ничего, — бог милостив, — апшеронцы мужественно отбивали все атаки. После очередного турецкого наскока с какой-либо стороны каре на середину его вели раненого с рассеченной головой или перерубленной рукой. Прошка не мог видеть крови, отворачивался.

В середине каре было душно от массы столпившихся, плотно сжатых людей, оттого что по-летнему жгло сентябрьское солнце. Через три дня Воздвиженье, а такая жара!

А от коня еще душнее!

Прошка то слезал с коня, то опять садился на него, чтобы посмотреть, не видно ли где-нибудь поблизости Александра Васильевича.

Прошка глядел на небо; солнышко подымалось все выше и выше. Прошка недовольно качал головой. В обычное время барин уже давно отобедал бы, а сегодня когда-то придется! Со вчерашнего вечера, с ужина, ничего не брал в рот. Ночью и ранним утром, на походе, Прошка несколько раз приставал к барину:

— Ляксандра Васильич, скушайте курочки!

— Не хочу! — отмахивался он.

И все-то выдумывает, хочет есть! Ведь в эту пору дома, в лагере, не на войне, ест так, что от тарелки не оттянешь. А здесь, как запоют пули, как загудят ядра, — готов не пить, не есть! Чудной человек! Прошка знает, почему Александр Васильевич не хочет есть: солдаты еще не ели, а он один ни за что не станет.

«Так солдату-то что? Солдат здоров. А ведь его всю дорогу лихоманка трясла. Отощал так, что смотреть страшно. Как еще в седле держится? И к тому же ста-

рый человек. Храбрись, брат, не храбрись, а без малого шестьдесят!»

Перешли реку, с полчаса стояли, ждали, когда принц перейдет, — вот бы тут в самый раз перекусить. Прощка подъехал к барину:

— Скушайте, Ляксандра Васильич, крыльшко! Курица протухнет, спортится! — врал Прощка, зная, что барин бережлив и не любит, чтобы добро пропадало зря.

— Отстань! Сам ешь! Думаешь, у меня только твоя курица на уме? — рассердился Александр Васильевич.

Ночью, как всегда здесь, в Молдавии, холодно. За ночь курица не испортилась, но в такой духоте, того и гляди, в самом деле протухнет. «Мясо быстро душок найдет», — беспокоился Прощка.

И он вновь пристально смотрел по сторонам, не мелькнет ли где-нибудь знакомая буланая лошаденка.

Александр Васильевич целое утро все летает то туда, то сюда. Где турецкий огонь посильнее, туда и мчится. Будто нужно ему, генерал-аншефу, самому лезть в огонь! Уж сколько раз, бывало, чуть голову не сложил! Два года назад, при Кинбурне, чудом ушел от смерти, а все не угомонился.

Наконец, среди высоких киверов и ярких доломанов венгерских гусар мелькнули знакомая каска и белый канифасовый кафтан Александра Васильевича, сделавшийся от пыли и пота серым. И вот он подлетел к апшеронцам, благо турки отхлынули хотя на минуту.

Суворов что-то быстро говорил полковнику Апраксину, командиру полка, который верхом на лошади стоял за спинами своих мушкетеров.

Прощка задергал поводьями, ударил каблуками своего застоявшегося коня, протрусил к Апраксину и бесцеремонно поместился с ним рядом. Он приподнялся на стременах, чтобы лучше было видно, и крикнул через головы солдат:

— Ваше высокопревосходительство, Ляксандра Васильич!

Суворов быстро глянул на него:

— И ты тут? Жив, Прощка?

— Ваше высокопревосходительство, извольте покушать! — сказал умоляюще Прощка.

(С глазу на глаз Прощка никогда не величал бы так барина и не говорил бы таким ласковым тоном, но тут целый полк слышит, нехорошо!)

— Батюшка-барин, скушайте курочку! Вы же голодные! — просил Прощка и уже тащил с плеч солдатский, яловичной кожи потертый ранец, в котором были хлеб, курица, брынза и фляга с водкой.

— Не я один голоден. Все еще не ели! — нахмурился Суворов и уже глядел в сторону, собирався скакать дальше.

— Ляксандра Васильич, ну хучь брызвы кусочек!

— Ежели будешь приставать с глупостями, я попрошу его высокоблагородие поставить тебя под ружье! — сердито бросил Суворов и ускакал.

— Глупости, глупости! — бурчал, насыпившись, Прощка, отъезжая вглубь каре. — Со вчерашнего дня не ел, уже от ветра валится, а все глупости! Под ружье! Да лучше б под ружье, чем так-то, не евши! «Все не евши!» — передразнивал он Александра Васильевича. — Так тебе же, — говорил Прощка, будто обращался к нему самому, — больше надо, ты же здесь всему делу голова!

VII

— Ваше высокопревосходительство, полковник Карачай в пятый раз пошел в атаку! — отрапортовал Суворову запыхавшийся ординарец.

Суворов, смотревший вниз, в лощину, порывисто обернулся:

— В пятый раз?

— Точно так, в пятый!

— Ай да Карачай! — восхищенно сказал Суворов, обводя всех глазами.

Этот смуглолицый венгерец, бесстрашный в бою, лихой кавалерист и до резкости прямой человек (как он отрезал тогда при всех какому-то австрийскому полковнику, что тот неумело вел свой полк!), еще с Фокшан пришелся Суворову по душе. Суворов его полюбил и был очень доволен, что и в этот раз, как при Фокшанах, Карачай командует отрядом, соединяющим русских с австрийцами.

Окруженный адъютантами и несколькими офицерами, которых Александр Васильевич взял из разных кавалерийских полков на сегодняшний бой к себе в ординарцы, Суворов стоял на краю обрыва

Он смотрел туда, вниз, в лощину, откуда доносились дробные перекаты ружейной пальбы, иногда перебиваемые громом пушек, и яростные завывания и неистовые крики турок — обычная музыка турецкого боя. Клубы поднятой пыли и порохового

дыма плавали над ложиной. Даже в трубу трудно было разобрать, что там происходит. Одно оставалось несомненным: конные турецкие толпы налетали на союзников как волны прибой — беспрерывно одна за другой.

Полки Суворова стояли непоколебимо, за них он не боялся. Не очень беспокоил Суворова и принц Кобургский, хотя сегодня они волей-неволей были разобщены — их войска не шли рядом, как при Фокшанах, а отстояли друг от друга верст на пять. Но Суворов не боялся, что австрийцы дрогнут: каждый австрийский солдат знал, что, если он побежит, его ждет верная смерть от кривой турецкой шашки. Суворова беспокоило другое: хватит ли у мужественного Карачая живой силы противостоять со своими восемью эскадронами и двумя батальонами этому бешеному натиску многих тысяч турок?

Великий визирь мало того что выбрал весьма удобную для защиты позицию, но и чрезвычайно искусно руководил боем. Увидев, что русские и австрийцы разведены, он бросил в середину их тысячи спагов. Визирь хотел смять Карачая и вбить клин между принцем и Суворовым.

«С умом задумано, да без ума сделано. Ему не дробить бы силы, а кинуть все на одного из нас — и тогда конец!» — сказал про себя Суворов.

Суворов слал ординарца за ординарцем к Карачаю, чтобы знать, как он.

Карачай — молодец. Он не ограничивался защитой, он знал, чем поразить турок, все время ходил в атаку, но турки продолжали наседать.

Вот показался еще один ординарец, корнет венгерского гусарского полка. Он мчался, сколько было сил у его маленькой, легкой лошаденки, почти пригнувшись к ее шее. Яркий ментик отлетал назад.

«Должно быть, туго приходится бедному Карачаю, на корнете лица нет», — встретилась Суворову.

— Ваше высокопревосходительство, полковник Карачай пошел в атаку шестой раз! Просит подкрепления. Пехоты! — выпалил корнет.

Суворов, не говоря ни слова, круто повернул коня и поскакал к егерям.

— А ну-ка, ребяташки, подсобим полковнику Карачаю! Сделаем туркам карачун! — весело крикнул он. — Вперед! Марш!

Егеря повернулись и быстрым шагом пошли в ложины.

Суворов поехал назад. Навстречу ему спешил казачий есаул-ординарец.

— Что Карачай? Держится? — спросил Суворов.

— Так точно, ваше высокопревосходительство! — отрубил есаул. — Седьмой раз пошел в атаку.

Суворов ползакрыв глаза и широко улыбнулся.

— Молодец, помилуй бог, молодец!

Потом ударил плетью коня и взлетел на холм. Он хотел глянуть в трубу, что там внизу, но сразу из ложины раздалось «ура».

— Наконец, побежали басурмань! Сейчас можно будет полдничать, — сказал с облегчением Суворов и поехал к пехотным каре.

Он хорошо изучил турок: если спаги побежали от гусар Карачая, то за ними отступят по всей линии. Надолго ли, но отступят.

Суворов был прав: последние отряды турок, занимавшие деревню и лес Каята, ускакали по направлению к деревне Бохча, которая виднелась верстах в полтора.

Русские войска заняли обезлюдившую, разграбленную турками, опустошенную деревню и небольшой, редкий лесок.

Полуденное солнце стояло над самой головой.

Войска были утомлены боем, этим многочасовым стоянием в тесных, душных рядах каре, проголодались, хотели пить.

И так приятно было хотя немного отдохнуть, поесть и напиться! В деревне нашлись два колодца, а в лесу протекал ручей.

— Полдничать! Отдыхать с полчаса! По человеку от капральства за водой! Не мешкать, не спать, строй не бросать! — сказал Суворов, проезжая мимо войск.

Бой затих по всей линии. У австрийцев тоже прекратилась стрельба. На всем фронте наступила тишина.

Солдаты оживились. Разминались, расправляя затекшие руки и ноги, вытирали с лица пыль. Легко раненные, оставшиеся в строю, перевязывали раны.

Большинство село на землю. Куряли, ели, пили принесенную в манерках воду.

Суворов на этот раз не смог отбиться от Прошки. Денщик сунул-таки в руки барину кусок курицы и хлеб. Суворов торопливо поел и выехал один из лесу. Он хотел еще раз осмотреть турецкую позицию.

— Ваше высокопревосходительство, куда же вы один поедете? Еще налетят баурманы! — удерживал его командовавший кавалерией бригадир Бурнашев. — Я сейчас хоть взвод гусар отряжу!

— Вот тогда наверняка налетят. А на одного и внимания не обратят. Тоже полдничают, ишь притихли! — сказал Суворов и один поехал вперед.

Он проехал саженей сто от леса и стал на пригорке.

Турок поблизости не было. Только в полуверсте отдыхал спешившийся небольшой отряд, сабель в пятьдесят.

Суворов смотрел, прикидывая, как поступить.

Впереди, верстах в двух, виднелся редкий Крынгумейлорский лес. Суворов издалека увидел орудия батареи. Перед лесом копошилось много людей: турки, по своему обыкновению, рыли перед лесом окоп.

Здесь их самый последний рубеж. Здесь они будут защищать свой главный лагерь, который расположился за лесом, защищать не на живот, а на смерть.

Можно было тотчас же атаковать главную турецкую позицию, окоп докончить все равно не успеют. Но оставалось одно препятствие — деревня Бохча.

Бохчу миновать никак нельзя, ее батарея прекрасно ударит во фланг. Придется сначала выкурить турок из нее, чтобы не стояла на дороге.

План был готов. Суворов поспешил назад. Медлить было нечего: из Крынгумейлорского леса на равнину снова выезжали тысячи всадников.

«Сейчас визирь еще раз ударит на нас, чтобы задержать. Проспали окоп, голубчики! Проспали!» — думал Суворов, рысью возвращаясь к своим.

Через несколько минут полуденная тишина вновь была нарушена: заиграла музыка, забили барабаны, и русская пехота двинулась в обход деревни Бохча.

VIII

Казаки, карабинеры,
Гренадеры и стрелки —
Всякий на свои манеры
Вьют Суворову венки.

Песня

Пот катился по впалым щекам Суворова; после лихорадки он всегда прошибал быстро. Голова кружилась от слабости, от волнения, от голода — целый день сегодняя и поесть толком некогда. Но глаза гляде-

ли весело: атака деревни Бохча успешно.

Русские пушки били чрезвычайно метко. Ядра ложились в самой деревне. Дымилась подожженная брандугелями мазанка.

Напрасно турки перетаскивали тяжелые неповоротливые орудия с места на место. Их огонь причинял мало вреда. И так же напрасно прибегали они к своему излюбленному средству — бросали на русскую пехоту, наступавшую с трех сторон на деревню, тысячи спагов. Мушкетеры, гренадеры, егеря столько раз за день благополучно отбивали конные атаки, что и эти не могли поколебать их: каре спокойно выдерживало страшный натиск разъярившихся спагов.

Все было хорошо.

И только принц Кобургский немного раздражал Суворова. Отделенный от Суворова несколькими верстами, принц начал терять самообладание. Он каждую минуту нуждался в моральной поддержке Суворова, словно ребенок, то и дело оглядывающийся на свою няню.

Правда, великий визирь не забывал и об австрийцах. Он непрерывно слал на них все новые и новые толпы спагов. Австрийской пехоте и венгерским гусарам тоже хватало сегодня работы. Нужно было иметь много выдержки, чтобы столько часов подряд отбиваться от врага, который был вчетверо сильнее.

Но совсем незачем было слать через каждые десять минут ординарца к Суворову с одной и той же просьбой:

— Скорее соединиться, а то нас раздавят!

«Эк его забирает! Да разве я сам не хочу этого?» — думал он и спокойно отвечал одно и то же каждому ординарцу Кобургского:

— Только вперед! Ни шагу назад! Иначе погибнем. Вперед!

Наконец, турецкие пушки снялись и затархтели по дороге из Бохчи к Крынгумейлорскому лесу.

— Ого-го! Улепетывают!

— Скатертью дорога! — смеялись солдаты.

Спротивление турок было сломлено: гренадеры слева, мушкетеры справа ворвались в деревню.

Суворов стоял у плетня, поджидая к себе начальников линий, чтобы отдать приказания.

— Иван, поклещь поскорее полковника

Золотухина! — обернулся он к своему ка-
зку.

Суворов еще раз рассматривал турецкую позицию у Крынгумейлорского леса, — теперь до нее было рукой подать, — и думал. У великого визиря здесь, наверняка, еще тысяч сорок свежего войска, а солдаты союзников дрались уже целый день. Нужно обязательно поразить чем-то воображение турок. Утром их ошеломило то, что перед ними неожиданно оказались русские, которых они вовсе не ждали, теперь же надо было придумать что-то иное.

Суворов смотрел в зрительную трубу на длинный турецкий окоп, который тянулся вдоль леса. Он еще не совсем был окончен, кое-где турки продолжали рыть. Видно было, что они собирались отчаянно защищаться. Даже и сейчас турок было вдвое больше, чем союзников.

И вдруг в голове Суворова мелькнул план смелой, дерзкой атаки.

Он опустил трубу и нетерпеливо оглянулся: генералы, командовавшие тремя линиями каре, уже съезжались к нему.

Первым прискакал аккуратный барон Вестфален. За ним, лихо перемахнув через невысокий плетень, примчался поджарый Бурнашев, командовавший кавалерией. Пожелтевший от недавнего приступа лихорадки, подъехал Позняков. И, прищипывая усталого, заморенного коня, спешил расторопный командир фанаторийцев, молодой полковник Золотухин.

— Степан Данилович, твоим молодцам сейчас будет работа, — улыбаясь, встретил Бурнашева Суворов.

И он рассказал генералам свой план атаки Крынгумейлорского лагеря.

— Ну, Вася, ты с принцем знаешься! Дети, брат, к нему и передай! — обратился Суворов к Золотухину, садясь на коня.

— Ванюшка, а ну-ка давай мою саблю, теперь пригодится! — сказал он вестовому и, взяв ее, поехал вместе с генералами к войскам, которые уже выравнивались за деревней.

Русские снова тронулись вперед. Они на ходу перестраивались для атаки. Всю пехоту Суворов поместил в одну линию, а кавалерии приказал стать не сзади и не во флангах, а между пехотными каре.

То же сделал и Карачай, шедший между русскими и австрийцами.

Суворов смотрел: как австрийцы? Что делает принц? А вдруг оробеет?

Австрийская конница еще стояла сзади

за пехотой. Но вот ее ряды заколыхались, она двинулась вперед. Австрийцы принимали тот же боевой порядок, что и русские.

— Согласился! Уговорил-таки Золотухин! — улыбаясь, сказал Суворов ехавшему рядом с ним Бурнашеву.

С каждым шагом войска союзников сближались. И, наконец, соединились. Радостное «ура» прокатилось из конца в конец. Оба корпуса, целый день порознь отбивавшие все атаки вчетверо сильнее врага, теперь шли на него одним фронтом.

Пестрые, беспорядочные толпы турецким спагов, занимавшие всю обширную равнину перед Крынгумейлорским лесом, стремительно понеслись на фланги, чтобы не загоразивать тридцати пушек, которые стояли у леса.

В то же время было видно, как сотни всадников и пеших убегали назад, к Рымнику.

В длинном окопе уже сидела наготове отборная турецкая пехота: «дальгичи» — янычары, вооруженные только ятаганами и «дели», давшие обет никого не щадить и самим не просить пощады.

Турецкая артиллерия начала стрелять. Она всегда не отличалась меткостью, а сегодня, в этом переполохе и смятении, которые царили у турок, их пушки стреляли из рук вон плохо, ядра перелетали через ряды союзников.

По лугу к лесу двигалось много тысяч человек, но стояла тишина, не слышно было ни говора, ни музыки. И эта зловещая тишина действовала на турок: многие из янычар все-таки не выдержали и бросились бежать из окопов в лес.

Оставалось не больше полуверсты.

«Пора!» — решил Суворов.

Он отделился от высоких лошадей стародубовских карабинеров на своей низкорослой лошаденке, выскочил перед фронтом и, обернувшись к войскам, вырвал из ножен саблю:

— Вперед, богатыри! Ура!

Произошло невероятное: вся кавалерия союзников вдруг вынеслась вперед и с дружным «ура» и тяжким топотом помчалась на турецкий окоп. Сзади за конницей бежала с ружьями наперевес пехота.

Суворова тотчас же обогнали. Он видел, стародубовские карабинеры живо перемахнули через неглубокий окоп и ни-

венький бруствер и врубались в толпы янычар и спагов.

Турки были подавлены такой совершенно неожиданной, невысказанной атакой кавалерии их окопов.

И без того уже расстроенная, армия великого визиря окончательно дрогнула и побежала.

IX

До полудня великий визирь не выезжал из своего лагеря у деревни Одая. Он очень ослабел от лихорадки и продолжал лежать. К нему то и дело мчались гонцы: от Гаджи-Соитара-паши, командовавшего передовым двенадцатитысячным корпусом у Тыргокукули, от аги, стоявшего в центре, возле Крынгумейлорского леса, у Мартинешти, с главными силами в семьдесят тысяч янычар и спагов.

Когда неожиданно появившиеся русские напали на Гаджи-Соитара и потеснили его, великий визирь несколько не беспокоился: у него ведь оставалось в запасе еще столько войска! Кроме того обнаружилось нечто довольно приятное — казалось, что неверные наступают с двух сторон, двумя небольшими отрядами, а в середине идет третий, совсем малочисленный.

Великий визирь усмехнулся.

«Аллах омрачил их разум, они сами вырыли себе могилу, — подумал он. — Три пальца легче сломать по одному, чем вместе».

И он приказал Гаджи-Соитару возобновить атаки, а храброму Осману-паше с двадцатью тысячами броситься на австрийцев и на средний, малочисленный отряд.

Но, видимо, нынешний день был несчастлив для нападения: десятки раз бросались на врага спаги и столько же раз возвращались ни с чем назад.

Яркий румянец покрыл худые, чахоточные щеки великого визиря. Превозмогая слабость, он встал, оделся, приказал подать коляску и поехал к Крынгумейлорскому лесу. Великий визирь ехал не один; за ним ехали бесконечной вереницей двадцать тысяч спагов, которые еще не были в бою и рвались померяться силами с врагом.

Редкий Крынгумейлорский лес дрожал от гула пушек и ружейной пальбы. И вдруг эта пальба замолкла по всей линии.

Великий визирь заторопил кучера, ему хотелось поскорее выехать за этот редкий

лес, наполненный обозами, людьми и шадьями, и увидеть своими глазами бегут неверные под натиском храбрых рецких всадников. Он так понимал наступившую внезапно тишину.

Но его ждало разочарование: на ленившем после обильных дождей болотном лугу были там и сям разбросаны кое-где четырехугольники пехоты, словно рахат-лукум на тарелке. Союзники все так же стояли против турок.

А слева этот русский «топал-паша» — так называли турки Суворова — уже бил Гаджи-Соитара не только из деревни Каята, но даже из лесу. Остатки корпуса Гаджи-Соитара спешно отходили к Ботца.

Великий визирь покачал головой:

— Хаир аламет деюль!¹

Было, в самом деле, похоже на то, сегодня несчастливый день для атаки.

Рыжий Гаджи-Соитар, вызванный к визирю, был от стыда краснее своей бороде. Заикаясь и дрожа, он уверял, что его люди дрались как львы, но сегодня — дурной день. Первый турок, убитый в его отряде, лег головой к своим.

Стоявший тут же двухбунчужный паша из войск аги сказал, что на их крыле первый убитый турок лежал как раз наоборот — головой к австрийцам. Паша кланялся пророком в том, что он видел это сам, и приводил в свидетели своего адъютанта.

— Кешке!² — сказал великий визирь слова паша и тут же отдал новое распоряжение: на левом крыле против русских — обороняться, а на правом — еще раз попробовать наступать.

Бой возобновился.

Великий визирь сидел в коляске, нарывно кашлял, никак не мог согреться, хотя солнце жгло как летом, и ждал результатов боя.

Австрийцы стояли на месте. И что еще больше удивляло великого визиря — даже малочисленный русско-австрийский отряд занимавший центр, стойко выдерживал все атаки. А ведь на них были брошены свежие, еще не бывшие в бою войска!

Проклятый же «топал-паша», кажется, выбивал Гаджи-Соитара из Бохчи. Русские пушки стреляли без перерыва и так метко, что турецким артиллеристам ничего не оставалось, как поскорее уходить из Бохчи.

За артиллерией тотчас же кинулись от-

¹ Это плохой знак.

² Дай бог!

ступать к Крынгумейлорскому лесу пехота в конница.

«Топал-паша» занял Бохчу.

На Гаджи-Соитаре не было лица; даже обороняться сегодня невысказимо — не везет!

— Их пушки стреляют сами. Вы слышали, как они часто стреляли? Так не может управиться с пушкой никакой человек! — бил себя в грудь Гаджи.

Великий визирь, наконец, уразумел: в такой день нужно только защищаться. И он велел поскорее кончать окоп, который ага очень предусмотрительно начал еще утром.

Защищать Крынгумейлорскую позицию осталось тысяч до сорока янычар с тридцатью орудиями. Достаточно было и конницы для обеспечения флангов.

«Топал-паша» соединился с принцем, и они составляли теперь одну дугу. Хотя они поставили кавалерию в первый ряд, попеременно с пехотой, но по сравнению с войсками великого визиря их все-таки было мало.

Великий визирь уехал за Крынгумейлорский лес, чтобы не подвергать себя излишней опасности, — пушки неверных уже обстреливали окоп.

Очень неприятно подействовало на великого визиря то, что из лесу, по направлению к реке Рымнику, ехали группами и в одиночку спаги и, придерживая широкие шаровары, чтобы удобнее было идти, шли янычары.

Великий визирь не успел проехать и с версту, как его настигло ужасное «ура». Он велел повернуть назад, чтобы узнать, что случилось, и услышал невероятное: союзники атаковали окоп своей конницей.

Беглецы говорили, что окоп взят, что его защитники перерублены, что спаги смяты, что русские уже в лесу.

В самом деле, из лесу сломя голову бежали пешие и конные. Великий визирь приказал подать боевого коня, с трудом сел в седло и поскакал к лесу.

Навстречу ему катилась обезумевшая, ничего не понимавшая от страха, беспорядочная многотысячная толпа.

Великий визирь пробовал было уговаривать беглецов, подымал над головой коран, именем пророка заклинал остановиться, но никто не хотел его слушать. Конь визиря не мог прорезать эти толпы, его повернули назад. Великий визирь несколько десятков саженей бежал назад, увле-

ченный этим потоком. Наконец, он как-то смог осадить коня.

В стороне от главного потока беглецов он увидел два орудия. Артиллеристы, видимо, только что переправились через Рымник и спокойно следовали к месту боя, не зная о случившемся. Великий визирь приказал юз-баши,¹ командовавшему ими, стрелять в бегущих.

Артиллеристы послушно сняли орудия с передков, но, пока они заряжали, ездовые обрубали ятаганами постромки и бросались наутек. Тогда и орудийная прислуга последовала их примеру.

Из лесу бежали все новые и новые толпы, как бурно волнующиеся, расшвырявшие морские волны.

Всюду царили смятение и ужас. Это был настоящий киамет.²

Тогда великий визирь понял, что так угодно аллаху. Он кое-как пересел в коляску. Его телохранители уже не раз отбивали поползновения беглецов-пехотинцев завладеть лошадьми и коляской великого визиря.

— Башине язили иды!³ — покорно повторял великий визирь, прижавшись в угол коляски. — Башине язили иды!

Он так боялся погони, что, когда с многочисленными счастливыми, уцелевшими от стотысячной армии, переправился по мосту через реку Бузео, то велел сечь за собой единственный мост, не заботясь с том, что будут делать на том берегу его разбитые, бегущие без оглядки войска.

ИЗМАИЛ

Почитаю Измаильскую эскаладу города и крепости за дело, едва ли еще где в истории находящееся.

Екатерина I

Нет крепче крепости, отчаянее обороны, как Измаил.

Суворов

I

Главная квартира командующего Дунайской армией, светлейшего князя Потемкина сияла огнями. К ярко освещенному дворцу то и дело подъезжали кареты, коляски, брички, полковые кибитки.

Сегодня у Светлейшего был очередной бал — не для тесного круга избранных,

¹ Капитан.

² Страшный суд.

³ Так угодно судьбе!

а для всей знати, которая жила в Яссах, возле ставки главнокомандующего, в надежде на княжеские милости.

В густой темноте ноябрьского вечера ярко горели смоляные факелы, освещая подъезжавших гостей.

Расторопные лакеи и гайдуки помогали приезжавшим всходить на высокое крыльцо.

Шуршали шелка нарядных дам, блестящие раззолоченные мундиры, ордена и ленты военных, мелькали разноцветные фраки иностранцев.

Гости торопливо избегали по высоким ступенькам, прислушивались, не гремит ли уже роговая музыка, не началось ли представление, не опоздали ли они?

Но в княжеских покоях было тихо, только журчали фонтаны да слышался приглушенный шопот гостей.

Все было готово к балу: музыканты сидели на своих местах, черноглазый капельмейстер Сартти листал ноты, поглядывая назад, на ту дверь, откуда должен появиться Светлейший. Из-за атласного занавеса выглядывали голые ноги балетных танцовщиц.

Гости сидели, стояли осторожно, на цыпочках переходили по мягким коврам от одной группы к другой.

Вот проковылял толстый, неуклюжий секретарь Светлейшего Попов. Его ширококостное татарское лицо было чем-то озачено. Вот, держа золотой поднос, на котором стояла чашка с любимыми кислыми щами Светлейшего, пробежал лакей, и все смотрели ему вслед. Смотрели на массивную, золоченую дверь княжеской приемной, где в ожидании звонка стояло несколько адъютантов.

Светлейший как ушел после обеда к себе в спальню, так и не выходил оттуда. Гости строили всевозможные догадки, сплетничали.

Генеральские жены шушукались, осматривая наряды племянниц Светлейшего, и старались угадать, которая из них сегодня является любовницей князя. Или, может быть, уже все они надоели, и Потемкин поэтому скучает?

Подагрические, пожилые генералы вспоминали, что у Светлейшего последнее время что-то побаливала нога. Уж не это ль? Но хирурги Массо и Лонсимоан были среди гостей, значит что-то другое, не нога.

В группе молодых штабных офицеров рассказывали, что уже вчера с утра Светлейший был «в опасном положении», был

не в духе. Он послал адъютанта Пашку Лонгинова за кофе. Не успел Пашка вернуться налево кругом, как Светлейший послал ему вдогонку фон Зейна, а за фон Зейном — Петрова и так разогнал всех до самого полковника Бауера.

На кухне поднялся переполох. Кофешенк от волнения уронил поднос. Наконец, полковник Бауер схватил чашку и поспешил с ней к князю. Сахар, сливки и сухари нес сзади Пашка Лонгинов. Потемкин разочарованно взглянул на Бауера, на поднос с чашкой кофе и досадливо махнул рукой:

— Не надо! Я только хотел чего-нибудь ожидать, но и тут меня лишили удовольствия.

И лишь в куче иностранцев, где было больше лазутчиков, чем дипломатов, действительно знали все. Здесь говорили о пустяках, пересмеивались, но все знали причину плохого настроения Светлейшего: русские войска, которые с октября стояли под неприятельской крепостью Измаил на Дунае, сняли осаду, часть войск генерала Павла Потемкина, племянника Светлейшего, осаждавшего Измаил, уже отступила, и осадная артиллерия тащилась по грязи к Яссам на зимние квартиры.

Дело было в том, что русские под Измаилом страдали от холода, живя в палатках, голодали: подвезти хлеб по осенней распутице и бездорожью было трудно, и ни один маркиз не решался ехать к далекому Измаилу.

Кроме того войскам восемь месяцев не выплачивали жалованья. В армии насчитывалось много больных, и настроение было ужасное.

Кончался четвертый год войны с турками, а сделано было мало — взято несколько второстепенных крепостей.

Союзники-австрийцы заключили с турками мир. Екатерина II осталась одна. На западных границах угрожали другие враги, которых сколачивала против России вероломная Англия.

Иностранцы имели все основания радоваться.

.. Князь Потемкин, немывтый, нечесанный, в одном халате, лежал на широком диване. Он тупо уставился своим единственным зрячим глазом в бархатные разводы дивана и лежал не двигаясь.

На Светлейшего часто нападала хандра. Он целыми часами лежал вот так, пересыпая в руках драгоценные камни или рас-

жладывая их на подушке. Но сегодня Потемкин был особенно мрачен. Его сильно удручало положение на фронте.

Сегодня утром в ставку из-под Измаила прискакал гонец. Он передал неприятную весть: генералы, стоявшие под Измаилом, постановили снять осаду, так как взять крепость было невысимо. Часть войск уже отступала на север, на зимние квартиры.

Турки крепко сидели в неприступном Измаиле. У них в досталь было хлеба и снарядов, и седой Айдозли-Мехмет-паша только посмеивался над русскими.

Гонец рассказывал, что в русском лагере — уныние, голод и холод, что войска спят не раздеваясь, так как боятся турецких вылазок. Гарнизон Измаила был многочисленнее русского осадного корпуса.

Это известие действовало неприятно, потому что Измаил нужно было во что бы то ни стало взять, взять сейчас, чтобы все враги видели, что с Россией шутить нельзя.

Вместо этого русские войска уже отступали из-под Измаила. Придется зимовать, а тем временем к весне англичане готовят против России новых врагов на севере.

Что делать?

Об этом и думал весь день князь Потемкин.

Надоело лежать. Он встал и вышел из спальни.

Он шел, высокий, громоздкий, неряшливый. Его волосы были всклокочены, лицо невыто. Шелковые чулки сползли. На одной ноге чулок упал так, что совсем закрыл алмазную пряжку, но Потемкин не замечал этого.

Среди гостей было много девиц и дам, а он шел, распахнув халат, ничуть не стесняясь того, что видны его голые ноги, волосатые, старчески-дряблые, в узлах синих веш.

Увидев Светлейшего, гости поднялись со своих мест. Капельмейстер Сартти уже поспучал по шопитру палочкой, но любимый адъютант князя, полковник Бауер, прекрасно знавший все причуды Потемкина, испуганно замахап руками, показывая Сартти, что играть еще не время.

Потемкин, не обращая внимания на поклоны расступившихся перед ним гостей, подошел к шахматному столику, стоявшему у стены.

Возле стола в почтительной позе засты-

ли игроки — молодой офицер и стриженный в скобку черноглазый, низкорослый купец.

Потемкину как-то сказали, что в Туле живет купец, который прекрасно играет в шахматы. Светлейший немедленно вызвал его к себе в ставку.

Потемкин взглянул на расставленные фигуры и опустилс в кресло.

— Играйте! Садитесь! — крикнул он игрокам.

Молодой офицер робко присел на краешек стула, а купец, знавший, что Светлейший любит его, уселся свободно.

Игра продолжалась.

Потемкин сидел, подперев щеку пухлой рукой. От этого лицо его перекосило. Оно приняло еще более злое выражение. Зрячий глаз смотрел как-то дико.

— Трубку! — чуть обернулся он.

Стоявший сзади за креслом полковник Бауер тотчас же подал ее. Длинный чубук трубки был весь усыпан крупными яхонтами и изумрудами.

Потемкин курил, пуская дым прямо в лицо молодого офицера, который только моргал глазами.

Светлейший внимательно следил за игрой.

Купец дожимал своего противника. У офицера на доске было еще достаточно фигур, но уже не хватало ферзя. Купец играл и подшучивал над партнером.

— Напрасно, ваше благородие, защищаться: от моей ферязи не уйдешь! Она у меня как Суворов — все берет! — сказал купец, снимая ферзем вражескую фигуру.

Бауер даже отступил назад, услышав такое, не совсем осторожное слово: как знать, понравится ли Светлейшему это сравнение?

И точно, Потемкин вдруг порывисто встал и быстрыми шагами пошел в спальню.

Гости смотрели, что будет дальше. Купец, забыв о шахматах, сидел ни жив, ни мертв.

Но скоро все стало ясно. Из комнаты Светлейшего вышел адъютант Пашка Лонгинов. Он держал пакет. Лонгинов побежал через залу к парадному крыльцу.

В кучке иностранцев произошло оживление. Английский посол постарался незаметно выйти из зала. Через минуту он вернулся с поразительной новостью: Потемкин приказал Суворову взять Измаил.

Иностранцы насмешливо улыбапсь: на

дворе декабрь, время упущено. Да и крепость оставалась, как прежде, неприступной. Все напрасно!

А Потемкин, сразу повеселев, одевался к балу и думал:

«Посмотрим, как-то он справится с Измаилом!»

II

Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны, только тщетны они, ежели не будут истекать от искусства, которое возрастает от испытаний, при внушениях и затверждениях каждому должности его.

Приказ Суворова

Подпоручик Лосев держался поближе к домам, к полосе света, падающего из окон на улицу. Возле домов вилась протопанная в грязи, извилистая тропинка. По ней приходилось итти след в след, и Лосев, пристально глядя себе под ноги, то семеня, то шагал громадными шагами, стараясь не слишком попадать в грязь.

Сегодня подпоручик Лосев был дежурным по полку. Он ходил проверять караулы, а теперь спешил к генерал-аншефу Суворову.

Темные осенние вечера тянулись в Бирладе невыносимо долго, делать было нечего. Ложиться спозаранку спать не хотелось, а для того чтобы ходить по молдавским ханам или играть в карты — нужны были деньги.

Генерал-аншеф, не переносивший безделья, каждый вечер собирал у себя человек пятнадцать офицеров. Он давал одному из них какую-нибудь историческую книгу: Корнелия Непота, Квинта Курция или сочинение о фивском полководце Эпаминонде. Офицер читал вслух, а остальные слушали. После чтения начиналась беседа о прочитанном. Суворов задавал вопросы, говорил сам, разбирал боевые действия, о которых только что читали.

Большинство офицеров никогда не читало книг, и потому на эти чтения ходили с неохотой, стараясь под любым предлогом освободиться от них. Беседы у генерал-аншефа считались малопривлекательной служебной повинностью.

Но все-таки нашлись и любознательные офицеры, которые были непрочь подучиться. Они охотно ходили к Суворову. К ним принадлежал подпоручик Лосев. Лосев впервые узнал на этих чтениях об Але-

ксандре Македонском, Тюренне, Евгении Савойском.

Сегодня Лосев сильно опаздывал. Он знал, что на самое чтение уже не успеет, но рассчитывал попасть хотя на беседу.

Суворов занимал две небольшие комнаты у одного богатого молдаванина. В средней, которая была побольше, происходили эти чтения. Комната набивалась офицерами до отказа. Сидели на лавках у стола, на диване, на стульях, а то и просто на полу, поджав по-турецки ноги.

Комната была жарко натоплена: Суворов очень любил тепло и дома сидел без кафтана, в одной рубахе.

И эта духота еще больше располагала ко сну людей, не привыкших слушать, когда читают.

Лосев шел и с улыбкой вспоминал, как прошлый раз, когда читали о Второй Пунической войне, о переходе Аннибала через Альпы, вдруг послышался сочный храп. Все невольно обернулись. Прикорнувшись в углу дивана, спал пожилой майор Смоленского полка. Соседи незаметно толкали его локтями, но майор продолжал безмятежно спать. Наконец, он открыл глаза.

— Иван Акимович, изволь табачку! Он хорошо сон отгоняет! — сказал Суворов и протянул ему свою табакерку.

— Я не спал, я все слышал, — смущенно залепетал майор, но все-таки взял щепотку табаку.

«О чем-то сегодня читали?» — думал Лосев, пробираясь в темноте по грязной улице.

Вот и дом, в котором живет генерал-аншеф. В его трех окнах горел свет, значит еще не разошлись по домам.

Лосев взбежал на крыльцо, прошел большие сени, впотымах, по привычке, нащарил рукой дверь и открыл ее.

Он увидел то, что видел неоднократно: комната была полна офицеров. Посреди комнаты стоял генерал-аншеф и что-то живо говорил.

Лосев поклонился генерал-аншефу, который, увидев его, ласково улыбнулся. Суворов давно заметил любознательного подпоручика. Лосев не пошел дальше, а сел тут же, на пороге, и стал слушать, что говорит генерал-аншеф.

— Принц Конде не должен был атаковать. Мерси занимал выгодную горную позицию. Конде надо было ударить с фланга. Тогда Мерси сам откатился бы за Черные горы. А кто припомнит еще такой

же пример? — спросил Суворов, обводя своих учеников глазами.

Все молчали.

Сидевшие на диване старались спря- таться за спину товарища, отводили в сто- рону глаза, думая: «Только бы не меня спросил!» Хуже чувствовали себя те, кому пришлось сидеть в одиночку, на стуль- ях, — они были на самом виду. Впереди других сидел тучный капитан. Учеба на старости лет давалась ему нелегко. Он си- дел красный и потный, не столько от жарко натопленной комнаты, сколько от напря- жения. Капитан старался во все вникнуть.

— Ну, Матвей Егорыч, ты что ска- жешь? — обратился к нему Суворов.

— Не могу знать, ваше сиятельство! — поднялся капитан.

Суворов разом помрачнел. Он закрыл глаза, что делал всегда, когда ему что-либо не нравилось, а потом взглянул на оробев- шего капитана своими зоркими, молодыми глазами. Взглянул неласково, сердито. И быстро зашагал из угла в угол, говоря:

— Немогузнайство — чума! Немогузнай- ство — позор! Немогузнайство — робость, трусость! Из немогузнайки какой солдат? Вот неожиданный вопрос — и пришел в замешательство. А что ж будешь делать, ежели вдруг неприятель? Нас не спросив- ши, валит на тебя? Тоже не могу знать? Лучше ошибись, но не жди! Как-нибудь поступи! Лучше обмолвись, но не молчи! Не промолвился тем, что обмолвился. На обмолвку есть поправка!

Капитан стоял, готовый провалиться сквозь землю от стыда.

— Сиди! — махнул рукой на него Суво- ров. — Ну, кто ответит на мой вопрос? — остановился он.

— Ваше сиятельство, у Аннибала в Аль- пах было так, — поднялся фанагорийский поручик, которому Суворов часто поручал чтение.

— Верно, верно! А еще? — говорил уже более веселым голосом Суворов.

— Леонид при Фермопилах, — вырва- лось у Лосева.

— Молодец, правильно! Ксеркс не мог взять Леонида с фронта, — глянул на Ло- сева генерал-аншеф. — Вот и нашлись и отбились, а то — не могу знать!

Суворов секунду помолчал.

— Ну, а теперь пора спать! На сегодня довольно.

Офицеры поднялись.

III

Суворов растворил настежь дверь, чтобы проветрить комнату, и ходил из угла в угол. Думал все о том же, что больше всего волновало его.

Безрезультатно кончался еще один год войны с Турцией, которая велась Потем- киным так бездарно.

Суворов с одной самой слабой дивизией громил главные силы турок, а Потемкин с громадной армией в это же время зани- мался осадой второстепенных турецких крепостей.

Год назад Суворов нанес страшное по- ражение туркам при Рымнике. Импера- трица щедро наградила его за это — дала орден Георгия I класса и титул графа Рым- никского, а Иосиф Австрийский присвоил Суворову титул рейхсграфа Римской импе- рии. И все-таки Суворов не был удовлет- ворен: главнокомандующий Потемкин ни- как не воспользовался его победой.

Если бы Потемкин послушался Суво- рова и тогда же двинул войска за Дунай к Балканам, война была бы давным-давно окончена: после Рымника турецкой армии не существовало, солдаты разбежались по домам. Но Потемкин не отправил за Ду- най Суворова и сам не двинулся с места. Это была грубая, непростительная ошибка.

За год турки сумели оправиться от рым- никского поражения. Они собрали силы и снова стояли на Дунае.

Потемкин воевал из рук вон плохо. За четыре года войны он всеми правдами и неправдами сумел взять лишь мелкие тур- ецкие крепости — Тульчу, Исакию, Килию. Но что в том проку? На Дунае все так же стоял грозный, несокрушимый Измаил. Крепость не так давно — лет пятнадцать назад — была заново укреплена француз- ским инженером де Лафит-Клове, гарнизон имела большой, и не считаться с ней было невозможно. Разве поставишь против Из- маила заслон и пойдешь мимо?

Потемкин полгода простоял под Очако- вом, и это стоило здоровья и жизни пяти- десяти тысячам человек. А все потери со- юзников при Рымнике не доходили даже до одной тысячи.

После того как летом австрийцы заклю- чили с турками перемирие, по которому сьязались не пускать русских в Валахию дальше реки Серет, положение русской ар- мии ухудшилось. Действия ее ограничива- лись теперь узким пространством между

Галацем и морем. Театр войны на Нижнем Дунае был очень труден, здесь тянулись пустынные болота.

Думаю об австрийцах, Суворов невольно вспомнил о своем друге, принце Кобургском. Суворову жаль было лишаться такого милого, умного, покладистого товарища.

Кобург получил новое назначение. Они часто переписывались друг с другом. Принц Кобургский в письмах неизменно называл Александра Васильевича своим «высоким учителем». Недавно, перед отъездом к новому месту, принц прислал Суворову хорошее письмо. Александру Васильевичу захотелось еще раз прочесть его. Он подошел к столу, достал из ящика письмо и с удовольствием прочел:

«В будущую пятницу я уезжаю к моему новому назначению в Венгрию. Путешествие это тем тяжелее для меня, что еще более удаляет от Вас, мой дорогой и достойный друг. Я узнал цену Вашей великой души. Наш дружеский союз развился среди явлений величайшей важности, и при всяком новом случае я научался удивляться Вам как герою и уважать Вас как достойнейшего человека».

— Вот это искренние, настоящие слова! Полководец не бог весть какой, но сердечный человек! И умница: коли сам не знает, то, по крайней мере, не мешает другим! Не то что этот Светлейший, заносчивый Полифем!

Суворов сунул письмо в ящик, схватил каску и вышел.

«Проверю посты и спать», — думал он.

Еще не начинало светать, а Суворов, по обыкновению, был уже на ногах. Он встал, полчаса побегал по комнате, чтобы расхлослась кровь, умылся, окатился холодной водой и сел пить чай. И тут неожиданно-негаданно прискакал от Потемкина голец с пакетом.

«Что еще он там выдумал? На какой праздник меня просит?» — подумал Александр Васильевич, вскрывая пакет.

Суворов поднес бумагу к свече, прочел и не поверил своим глазам: Потемкин поручал ему взять Измаил!

В секретном ордере так и было сказано:

«Для сего, Ваше сиятельство, извольте поспешить туда для принятия всех частей в Вашу команду».

У Суворова даже захватило дух:

«Наконец-то! Вот оно! Разбить с двадцатью пятью тысячами сто тысяч турок у Рымника, конечно, нелегко. Но ведь и Румянцев бил их почти так же у Кагула. А вот взять Измаил — с этим ничто не сравнится! За такое дело — конечно, фельд-маршальство. А тогда у Суворова будет не какая-либо жалкая дивизия, а целая армия.

К ордеру было приложено собственноручное письмо Светлейшего:

«Измаил остается гнездом неприятелю, и хотя сообщение прервано чрез флотилию, но все он вяжет руки для предприятий дальних, моя надежда на бога и на Вашу храбрость, поспеши, мой милостивый друг. По моему ордеру к тебе присутствие там личное твое соединит все части. Много там равночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного. Рыбас будет Вам во всем на пользу и по предприимчивости и усердию. Будешь доволен и Кутузовым; взгляди всю и распорядись и, помоляся богу, предпринимайте: есть слабые места, лишь бы дружно шли.

Вернейший друг и покорнейший слуга, князь *Потемкин-Таврический*».

«Он мне рекомендует Кутузова! Я Михаила Илларионовича тридцать лет знаю. А пойдут у меня дружно!» — думал Суворов.

— Прощка, где чернила? — нетерпеливо спросил он.

— Да вот они! Аль не видишь? — неласково сказал Прохор, подавая пузырек.

Александр Васильевич присел и написал Потемкину ответ:

«Получа повеление Вашей Светлости, отправился я к стороне Измаила».

IV

Суворов поместился в одной мазанке с вестовым и казачьим сотником, который, боясь стеснить генерал-аншефа, все порывался уйти ночевать к своим казакам.

— Да полно, ложись здесь! Хватит там и без тебя народу! — сказал Суворов.

Сотник послушался и лег вместе с генеральским вестовым на лавке. А Суворову принесли соломы, и он расположился на полу.

Целый день ехали к Измаилу. Когда уже стало настолько темно, что задние не

видали едущих впереди, остановились в молдаванской деревушке на ночлег.

Александр Васильевич проспал часа три и проснулся — больше спать не мог.

Суворов лежал, глядя в темноту. Он ждал, когда хотя немного четче обозначатся окна. Их было, как во всякой молдаванской хате, три, в честь святой троицы.

Сотник и вестовой, уставшие за день, спали крепким, молодым сном. Им не надо было думать о турках, Измаиле, о славе России. Суворов же не мог спать. Он думал о том громадном, ответственном деле, которое ему поручали. Вся Европа знала, что Измаил — неприступная крепость. Враги России надеялись на нее. Штурмовать Измаил решили бы немногие генералы.

Суворов решился.

Во взятии Измаила заключалось все: честь русской армии, благополучие России и безопасность ее границ на берегах Черного моря.

Взятие Измаила давало такую славу, которую уже не посмел бы оспаривать у победителя никто из завистников. Ни один штабной сплетник не посмел бы тогда сказать, что генералу Суворову просто-напросто везет, как говорили после каждой очередной победы Суворова.

Обо всем этом и думал, лежа, Александр Васильевич. Он невольно вспоминал всю свою тридцатилетнюю боевую жизнь. До сих пор он не проиграл ни одного сражения. Были блистательные победы, как Козлуджи, Фокшаны, Рымник, но такие же победы одерживали и другие полководцы, например Румянцев, разбивший турок при Кагуле. Со взятием же Измаила не могло сравниться ничто.

В прежних победах Суворов несколько раз вынужден был делить свою славу с другими: Козлуджи — с Каменским, Фокшаны и Рымник — с принцем Кобургским. Здесь же Суворов был единоличным начальником.

И разве можно спокойно отдыхать здесь, на полдороге, когда под Измаилом предстает много работы?

Надо не упустить последние дни, удобные для штурма: мороз по утрам жал все слабее и сильнее, начинались обычные зимние туманы. В безветрие они могли держаться до самого полудня. В такие дни ничего было и думать о штурме.

Суворов знал, что войска под Измаилом мерзнут, болеют, терпят голод.

Нет, медлить нечего! Дорога каждая минута! Надо ехать, надо оставить весь конвой, всех казаков здесь: пока казачки встанут, пока соберутся, Александр Васильевич с Ванюшкой будет уже далеко.

Хорошо, что с ним Ванюшка, а не этот лентяй и брюзга Прошка.

И Суворов стал торопливо одеваться.

V

Прошка второй день отчитывал своего всегдашнего врага, вестового казака Ванюшку.

И как было его не ругать?

Когда Александр Васильевич получил в Бырладе приказ князя Потемкина отправляться к неприступному Измаилу, он не посмотрел на свои шестьдесят лет, тотчас же поскакал верхом, хотя дорога была грязная, тяжелая, и от Бырлада до Измаила добрых сто верст.

Прошка не поехал с барином. Он знал: за Александром Васильевичем не утонишься. Как ни поспевай, а барину все будет казаться, что Прошка его задерживает. Недаром Суворов, взяв с собой из Бырлада конвой в сорок человек, уже на половине дороги оставил его и поскакал с вестовым вперед. Ванюшка тоже готов был целые дни не слезать с коня.

И вот это прежде всего злило Прошку: ему было досадно, что с барином поехал не он, а этот прохвост Ванюшка.

Уезжая из Бырлада, Александр Васильевич не хотел ждать ни минуты, и Прошка еле успел завязать в платок смену белья, полотенце, мыло и синий плащ Александра Васильевича, служивший ему и плащом и одеялом, чем угодно.

Александр Васильевич по-всегдашнему несколько не думал о том, как будет жить под Измаилом. Обо всем этом приходилось заботиться Прошке.

Прошка пустился в дорогу на следующий день вместе с войсками. Суворов отправлял к Измаилу Фанагорийский гренадерский полк, 150 охотников из своего любимого Апшеронского полка, 200 казаков и 1000 арнаутов. Везли сорок лестниц и несколько возов фашинов — больше двух тысяч штук.

На одном возу с фашинами кое-как построился и Прошка. Хотя Прошке было не шестьдесят, а всего-навсего тридцать пять лет, но он предпочитал ехать сто верст в телеге, а не верхом. Прошка захва-

тил все, что, по его мнению, могло пригодиться барину под Измаилом.

Спать без подушки несладко, на одном артельном солдатском квасе да на черствых сухарях долго не протянешь. Надо везти подушку, надо везти горшки-миски. И, на всякий случай, надо взять с собой генеральский мундир со всеми орденами. Прошка был уверен, что Александр Васильевич возьмет Измаил, и тогда придется ехать к Светлейшему с докладом.

Обо всем этом Прошка помнил. А что сделал для барина казак Ванюшка?

Возле Измаила была только одна полуразрушенная, давно оставленная своими хозяевами, небольшая деревушка Броска.

Александр Васильевич, как увидел, что солдаты живут в землянках, пожелал остаться в палатке на ветру, в этих придунайских туманах. Суворову, конечно, было не до того; он о себе никогда не заботится. Но что сделал Ванюшка? Ванюшка прекрасно знает, что Суворов хотя и не боится холода и даже зимой ежедневно обливается холодной водой, но очень любит тепло. И Ванюшка забыл, что графу как-никак уже шестьдесят лет.

Ванюшка не постарался сделать так, чтобы Александр Васильевич хотя не мерз.

Барин приказал ему разбить палатку. Ванюшка и рад стараться, — благо работа небольшая.

Из Бырлада войска шла к Измаилу четыре дня, и вчера, в Николин день, они, наконец, увидели черные, неприветливые волны осеннего Дуная и черные, грозные измаильские стены, под которыми уже третий месяц томились русские войска.

Их встретили радостно, с музыкой, барабанным боем. Еще бы, шло подкрепление, ехали с провизией долгожданные маркитанты!

Прошка первым делом узнал, где стоит генерал-аншеф, граф Александр Васильевич Суворов-Рымницкий. Он так и спросил полным титулом у какого-то старого алексопольского мушкетера.

— Это батюшка наш Александра Васильича? — переспросил мушкетер.

— Экий ты непонятливый! Ну да, он! — возмутился Прошка.

— Они, их сиятельство, живут в палатке, вон тама! Видите, вон она! — указал мушкетер на трепыхавшую под ветром знакомую палатку.

Она была разбита на самом юру, на пригорке.

Прошка велел фурлейту ехать туда.

Прошка ехал, предвкушая, как сейчас он отомстит казаку Ванюшке за то, что не он, Прошка, сопровождал барина к Измаилу. Повод для этого был.

Прошка ясно уже представлял себе, как живет здесь, под Измаилом, его барин. И он не ошибся: в палатке его ждала знакомая картина. На бариновом сене, на всегдашней постели Александра Васильевича, храпел Ванюшка. Парень он был молодой, и ему ничем, что ветер треплет полотнище палатки и свободно разгуливает по ней.

— У наших казаков обычай таков: где просторно, тут и спать ложись? Нет того, чтобы подумать о барине, устроить ему как лучше! — отчитывал Прошка разбуженного вестового.

Ванюшка привык к брюзжанию Прошки, только улыбался.

— Да чего ты, Прохор Иваныч, вьелся? Александр Васильевич сами захотели в палатке жить, — оправдывался казак.

— Захотели, захотели! — хмуро повторял денщик. — Не знаешь разве Лясандра Васильича? Ему лишь бы к солдату поближе! А твоя-то голова где была? Этакий человек — и на холоду, в палатке! У тебя на уме завсегда только одно: нажрался да и на боковую!

Казак смущенно молчал.

— Вон же мазанки есть! — продолжал Прошка, оглядываясь. — Кто в них живет?

— Офицеры да генералы, — ответил Ванюшка.

— Наш-то главное их всех! Они молодые, в тепле, а он, старик, шестьдесят годов, — и в холоду! Сымай живо палатку!

Прохор сложил палатку на телегу, туда же взвалил сено и поехал прямо к ближайшей мазанке. Она показалась ему неплохой, в двух ее крохотных окошечках каким-то чудом уцелели тусклые стекла.

— Кто здесь живет, братец? — спросил Прошка у солдата, рубившего возле мазанки тростник.

(Прохор глянул и подумал: «Ну, и сторона, прости господи! То навозом топят, то тростником!»)

— Их высокоблагородие, майор князь Друцкой-Соколинской! — не без важности ответил солдат.

Прошка невольно улыбнулся: тоже мне чин!

— Ну, так вот, братец, собирайся не-

ждля и съезжай! — сказал он, слезая с телеги.

Княжеский денщик так и застыл от удивления, с тесаком в руке.

— Здесь будет жить сам его сиятельство, граф, генерал-аншеф Ляксандра Васильевич Суворов-Рымникский. Понял? — отчеканил Прошка и стал спокойно закуривать трубку.

— А ну, ребятаки, подсобите парню уложиться! — кивнул он фурулейту и ехидно улыбавшемуся Ванюшке.

Княжеский денщик даже не возражал, так подействовала на него эта спокойная уверенность Прошки.

— Ничего, — как бы оправдывался он, — мы вон в тую мазанку переберемся! Там наш секунд-майор Юрковский живет. Давеча квартирмейстр приезжал, сказывал: много войска придет и здесь какой-то принц Хистальский будет жить. Так пусть лучше свой, русский живет! Печка тут справная, вьюшки только нет. Я крышку от манерки пристроил. И тростнику я вам, дяденька, оставляю, — заискивающе тараторил княжеский денщик.

Мазанка была тоже не бог весть что, но все-таки в ней стол, лавка, печь. Все же не на ветру, не на морозе!

Прошка знал, что Александр Васильевич осерчает на него за этот переход. Если бы не штурм, Суворов в мазанке все равно не ужился бы. Но сейчас ему не будет времени вникать во все. Не за этим ходить.

Так оно и вышло. Александр Васильевич сначала сильно напустился на Прошку: да как ты смел, да кто тебе велел? Но Прошка только сопел носом. А потом поставил на стол горшок щей и сказал:

— Кушайте лучше, столько дней без горячего!

И Суворов уселся обедать.

Не успел он отобедать, как стали приходить генералы: длинноносый, хитрый Рибас, красавец Платов и старый знакомый, генерал Кутузов.

Суворов поехал вместе с ними смотреть крепость, как всегда не доверяя никаким планам, все хотел проверить сам.

Прошка тоже пошел посмотреть поближе на Измаил. Издалека чернели его высокие стены да бастионы.

Прошка не подошел к крепости так близко, как Суворов со своей свитой. По генералам даже начали стрелять с крепости из ружей.

«И чего, прости господи, лезть на рожон? Вот неровен час — подстрелят! — недовольно думал он, с тревогой следя за белой канифасовой курткой Суворова. — Еще нехватало, чтоб басурманы ударили по ним из пушки!»

Но турки, видимо, не придавали никакого значения этой небольшой группе. Чем могла она угрожать Измаилу? Турки даже перестали стрелять по Суворову из ружей.

Его маленькая каска с зеленой бахромой продолжала мелькать почти под крепостными стенами. Суворов показывал, куда должны быть направлены атакующие колонны.

А Прошка не приблизился и на пушечный выстрел.

«Береженого и бог бережет. И отсюда увижу», — думал он.

Прошка остановился у расположения какого-то полка мушкетеров и внимательно разглядывал турецкую твердыню. Отсюда ее стены, кое-где обшитые камнем, были еще выше, чем казались издали. Прошка только качал головой:

— Вот так крепость! Одно слово — неприступная!

— Что, дяденька, глядишь, каков пирожок? По нашим ли зубам? — весело спросил у него какой-то солдат.

— Стены-то, стены! — качал головой Прошка. — А пушек сколько!

— Стены никак четыре сажени, — словоохотливо сообщил мушкетер.

— А ты почему знаешь, что четыре? — спросил Прошка.

— У нас в полку лестницы делают.

— А под стенами что, ров? — расспрашивал Прошка.

— Кабы ров! А то, дяденька, настоящая река: шесть сажень ширины да глубины, сказывают, пять.

— Ишь ты, проклятущая! — вырвалось у Прошки.

VI

Хатенка была маленькая, от порога до красного угла едва выходило семь шагов.

Суворов ходил и думал: ждаться больше нечего. Войска Павла Потемкина вернулись все, его богатыри, апшеронцы и фангорийцы, пришли вчера из Бырлада, с маркитантами; батареи насыпаны, лестницы и фашины для штурма делают в каждом полку; к вечеру окончат рыть

ров и насыпать такой же четырехсаженный вал, как в Измаиле; ночью сегодня Суворов покажет солдатам, как забрасывать фашинником ров, как приставлять лестницы и лезть на вал. Пора слать измаильскому сераскиру письмо Потемкина с предложением сдать крепость.

Суворов улыбнулся, вспомнив, какую приписку сделал Светлейший в конце своего письма к туркам:

«К исполнению назначен храбрый генерал, граф Александр Суворов-Рымникский».

«Суворова турки хорошо знают, — подумал он. — «Топал-паша» надолго останется у них в памяти!»

Александр Васильевич шагнул к столу, присел и, взяв бумагу, написал:

«Сераскиру, старшинам и всему обществу. Я с войском сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи — воля, первые мои выстрелы — уже неволя, штурм — смерть».

Помахал листком, чтобы засохли чернила. Сложил длинное потемкинское письмо и свою коротенькую записку и подал адъютанту, сидевшему на лавке у окошка:

— С трубачом к Бендерским воротам! К остальным — копии! У Михаила Илларионовича есть мулла, пусть переведет по-турецки.

— Слушаю-с, — ответил адъютант, принимая письма и направляясь к двери.

— Погоди! — остановил его Суворов. — Трубач и казак без пики. Письма на дротик. Затрубит. По отзыву — дротик с письмами воткнуть и отъехать назад. Дожидаться ответа. Понял?

— Точно так.

— Погоди! При них обязательно офицер, знающий турецкий язык. И чтоб поживее!

VII

Советовать со многими, а определять или приговор делать с двумя или с тремя, а лучше всего — одному с собою.

Монтескуэли

Суворов соскочил с коня, бросил поводья вестовому и вошел в мазанку.

Денщик Прохор спал, растянувшись на лавке.

— Вставай! — разбудил его Суворов. — Сейчас придут генералы.

Прошка нехотя поднялся и, позевывая, вышел.

Суворов заходил из угла в угол.

Сераскир только что прислал ответ на письма, которые вчера отправил ему Суворов. Турки предлагали заключить на десять дней перемирие, чтобы успеть отправить гонца к визирю — узнать, можно ли сдать Измаил русским. Сераскир предупредил, что если русские не согласятся на перемирие, то турки будут защищаться до последнего.

Уловка была ясна: турки просто-напросто хотели оттянуть штурм на несколько дней. Уже начинались зимние туманы, во время которых нечего было и думать штурмовать Измаил. Перемирие было на руку только туркам.

Офицер, передававший письма, говорил с мухафисом,¹ старым трехбунчужным Мегмет-пашой. Вручая ему ответ сераскира Мегмет гордо сказал:

— Скорей Дунай остановится в своем течении, а небо упадет на землю, чем Измаил сдастся!

Суворов разослал своих ординарцев рассказать во всех полках об этом заносчивом ответе турок и решил поскорее штурмовать Измаил. Все приготовления были уже сделаны.

Сейчас Суворов ждал генералов на военный совет. Он созывал их не потому, что колебался или не знал, что предпринять. У Суворова не было никаких сомнений: Измаил должен быть взят и будет взят во что бы то ни стало, от этого зависела безопасность южных границ России. Суворову хотелось эту свою уверенность в победе вселить в генералов; ведь еще так недавно, до его приезда, они вынесли решение отступать от Измаила.

Впрочем, в войсках с приездом к Измаилу генерала Суворова настроение сразу же изменилось. Суворов каждый день объезжал полки и подолгу говорил с солдатами и младшими офицерами. Он не скрывал того, что Измаил превосходно защищен, что взять его будет чрезвычайно трудно.

— Стены высокие, рвы глубокие, но мы, русские, должны Измаил взять! — говорил Суворов.

— С тобою, батюшка, возьмем! — уверенно отвечали солдаты.

¹ Губернатор.

Суворов несколько раз прошел из угла в угол, потом остановился, глядя на единственную в мазанке короткую лавку. Прикинул в уме:

«Потемкин, Самойлов, Кутузов, Мекноб, де Рибас — пять. Львов, Вестфален, Арсеньев... Человек двенадцать будет. Тут одним генерал-поручикам только поместиться. А где же я генерал-майоров посажу?»

Суворов вышел из мазанки.

— Прощка! — сказал он денщику, который сидел на завалинке. — Надо найти доску! Будет много народу, а сесть не на чем.

Прощка засопел от неудовольствия: приходилось куда-то итти, что-то делать.

— Тоже скажете, доску найти! — поднялся он. — Что это, в Москве аль в Рождествене?

— Не умничай! Сам знаю, где мы. А нужно достать! — вспылил Суворов.

— Батюшка-барин, мы скамелечку найдем, — подскокил расторопный Ванюшка. — У того, как его, у майора есть, знаешь, Прохор Иваныч!

— Ну вот, и ступайте! — повернулся Суворов.

Больше он не слушал Прощки, который по-всегдашнему не соглашался с вестовым. Суворов в раздумье ходил возле мазанки.

Диспозиция была уже написана вчера. Кажется, в ней ничего не упущено, каждая часть, каждый офицер, каждый солдат имели свое точное место и назначение. Рабочие для подноски лестниц и фашии — тоже. Что делать флоту на Дунае — тоже известно. И все-таки хотелось еще раз продумать: не упущено ли что-нибудь?

День стоял холодный, но Суворову даже в его легком канифасовом кафтане было жарко. Он расстегнул кафтан, а маленькую каску бросил на кучу тростника, лежавшего под стеной.

В это время к мазанке подъехал адъютант, которого Суворов послал известить генералов о совете.

Суворов, казалось, не заметил его.

— Все исполнено, ваше сиятельство! — подошел к Суворову адъютант.

— Бери бумагу! Пиши! — приказал Суворов.

Адъютант быстро достал бумагу и карандаш.

— Садись! — показал глазами на завалинку Суворов. — Много писать.

Адъютант сел. Суворов, стоя над ним, диктовал. Он хотел в прибавлении к диспозиции сказать точнее о резерве, о том, где и как поставить обоз.

Прощка и вестовой притащили скамейку и кусок доски. Из мазанки слышалось неумолкаемое брюзжанье Прощки. Денщик был сильно зол на Ванюшку за то, что он высочил вперед с предложением. Прощка ведь тоже знал, где можно достать скамейку. Прощка давеча перечил барину так, по привычке, а в душе не хуже Ванюшки был готов исполнить поручение Александра Васильевича. И теперь злился на казака.

— Не туда, не этим концом! Оряси-на! — шипел он.

Суворов ничего не слышал, он был поглощен своим делом. Даже когда к мазанке стали подъезжать, один за другим, генералы, он продолжал диктовать. Суворов лишь на секунду оборачивался к приехавшему.

— Александр Николаевич, пожалуйста в избу, я сейчас, — сухо сказал он бездарному генералу Самойлову, который до приезда Суворова был за то, что осаду Измаила нужно снять.

— Осип Михайлович, посиди, голубчик! — приветливо встретил он расторопного, хитрого де Рибаса.

— А, Миша! — по-дружески кивал он своему любимцу, генералу Кутузову, который когда-то, тридцать лет назад, служил у него в полку ротным командиром.

У мазанки уже стоял целый табун лошадей. Генеральские ординарцы и вестовые шептались в стороне.

Последним приехал Павел Потемкин.

— Перепиши! Я погляжу, не пропустил ли чего, — бросил адъютанту Суворов и пошел в мазанку.

В тесной мазанке было полно. Генералы с трудом разместились на двух скамейках. Сидели плечом к плечу. На обломок доски, концы которого Прощка положил на обе скамейки, смело уселся только де Рибас. Казачьему бригадиру Матвею Платову нехватило места. У самого порога стояло пустое ведро. Платов опрокинул его вверх дном и кое-как примостился на ведре.

Генералы сидели, разговаривая вполголоса. В мазанке было душно. Тучный Кутузов вытирал вспотевшее лицо платком.

Суворов быстро вошел в мазанку; генералы даже не успели встать со своих мест. — Сидите, господа! Сидите! — замахал он рукой.

Он не пошел к столу, на котором лежала карта Измаила и горели две свечи, а остановился у порога возле Платова. Суворов обвел всех глазами и подумал, что-то станут говорить сегодня Потемкин, Самойлов, Львов? Те, кто был за отступление от Измаила.

Суворов сказал:

— Измаил — крепость без слабых мест. Гарнизон его — целая армия. Но напрасно турки считают себя в безопасности за каменными стенами. Русские солдаты достанут их и там. Против русского оружия ничто не устоит. Два раза наши войска подходили к Измаилу и два раза отступали. Теперь, в третий раз, остается либо взять Измаил, либо умереть под его стенами. Решайте: штурм или отступление?

Все глянули на самого младшего из присутствовавших, Матвея Платова: он должен был говорить первым.

Черноусый Платов быстро поднялся со своего места. Ведро с грохотом упало набок, но Платов даже не посмотрел на него.

— Штурм! — решительно сказал он.

— Штурм! — подхватили бригадиры Орлов и Вестфален.

— Штурм! Штурм! — единодушно заговорили все генералы.

Суворов просиял: значит, дошло! Значит, уверены! Он порывисто обернулся к Платову и обнял его:

— Спасибо, Матвей!

— Спасибо, спасибо! — говорил Суворов генералам, которые встали со своих мест.

Он поочередно жал каждому руку, приговаривая:

— Сегодня — молиться, завтра — учиться, послезавтра — победа либо славная смерть!

VIII

День Измаила роковой.
Жуковский
Пал Измаил. Он пал
как дуб могучий,
Взлезающий веками
великан.
Байрон

Ночь была непроницаемо темная, низкие тучи заволокли все небо, а от Дуная, который шумел где-то справа, подымался густой туман.

И в этой темноте исчезли грозные, четырехсаженные стены Измаила, его широкие, наполненные водой рвы и крепкие каменные бастионы.

В «ордукалеси»¹ не было видно ни огонька.

В густом мраке декабрьской ночи лишь ярко горели бивуачные костры русских войск, с трех сторон охвативших Измаил. В русском лагере было тихо, но спали в нем немногие: Суворов назначил на сегодня, в 5 часов утра, штурм Измаила, и ждать оставалось уже недолго.

Ночь была холодная, сырая. Люди жалась поближе к огоньку. Костры горели жарче обычного: в них валили все топливо, что было запасено на неделю. Завтрашнюю ночь все надеялись ночевать уже не под открытым небом, а в домах Измаила.

Сегодня у бивуачных костров только сидели и разговаривали. Никто не латал кафтана, не выкраивал из старой рубашки онуч, не чистил ружья. Никто, как обычно у огонька, не смотрел, скоро ли поспеет каша или закипит в котелке вода.

У каждого давным-давно было вычищено ружье, отточен штык. Ранец со всем солдатским добром сдан в обоз. А есть как-то никому не хотелось, да перед самым штурмом бывалые люди и не советовали.

Подпоручик Лосев сидел у костра.

Когда Суворов, выезжая из Бырлада к Измаилу, сказал, что возьмет с собой 150 мушкетеров-апшеронцев, Лосев упрямил полковника отправить и его. Восемь дней они уже прожили здесь, под Измаилом. Суворов сам учил полки, как забрасывать фашинником рвы, как взбираться по четырехсаженной лестнице на вал.

И вот, наконец, наступил долгожданный день штурма.

У подпоручика Лосева до сих пор еще шумело в ушах от непрерывной пушечной пальбы, которая продолжалась сегодня целые сутки. Шестьсот русских орудий — с батареей, с судов Дунайской флотилии и с острова Сулин, лежащего против Измаила, — били по турецкой крепости, не умолкая. И только час тому назад канонада прекратилась. Можно было разговаривать, не надрываясь.

Лосев сидел у костра вместе со своими

¹ Армейская крепость. Турки так называли Измаил, потому что в нем могла поместиться целая армия.

мушкетерами. Из стариков 2-го капральства, в котором служил Лосев, пришли Измаил Огнев, Воронов и Зыбин. Только Башилов остался в Бырладе, его трепала лихорадка.

С вечера, пока еще стреляли пушки, мушкетеры говорили мало: было неприятно натуживаться и кричать, как неприятно и самому переспрашивать. А когда смолкла пальба, понемногу разговорились.

Заговорили о родине, представляя, какие снега теперь там, как в это время в деревнях встают до света молотить. Потом кто-то вспомнил, что сегодня — 11 декабря и, стало быть, завтра солнце поворачивается на лето, а зима на мороз.

— Говорят, с этого дня зима ходит в медвежьей шкуре, стучит по крышам, ночью будит баб топить печи, — сказал Огнев.

— А у нас сказывают, — поддержал его какой-то рябоватый мушкетер, — на солновороты медведь в берлоге ворочается с боку на бок.

— Где это «у нас»? Ты откуда? — серьезно спросил у него ефрейтор Воронов.

— Из Тулы, — ответил рябоватый мушкетер.

— Хорош заяц, да тумак, хорош парень, да туляк! — улыбаясь черными цыганскими глазами, вставил Зыбин.

— А ты-то сам какой? — вспыхнул рябоватый.

— Он, наверно, рязанец косопузый. Мешком солнышко ловили, — поддержали рябоватого его земляки.

— Не угадал, брат! — засмеялся Зыбин.

— Он из Калуги, — сказал Огнев.

— А, Калужя! Козла в тесте соложёном утопили!

— Что, попало? — смеялись над Зыбиным.

— Ничего, — не сдавался он, — калужанин поужинает, а туляк ляжет и так! В это время послышался топот копыт, и из темноты раздался голос:

— Какой полк?

— Апшеронский! — ответило сразу несколько голосов.

Все обернулись.

И в свете костра увидели знакомую фигуру генерал-аншефа. Суворов был в обычных, худо сшитых и худо лакированных сапогах, с широкими раструбами выше колен, в белом суконном кафтане

с зелеными китайчатыми обшлагами и в своей всегдашней маленькой каске.

— А, молодцы-апшеронцы! Храбрецы! Богатыри! Под Козлуджей, Фокшанами, Рымником делали чудеса. Сегодня пре-взойдут сами себя!

— Постараемся, батюшка Александр Васильевич!

— Не выдадим! — зашумели мушкетеры.

— Раньше времени в город не лезть! Пороховые погреба беречь! Безоружных не убивать! — говорил Суворов.

— А как у тебя, князь, часы? Верно поставлены? — обернулся он к полковнику Лобанову-Ростовскому, который подошел, услышав, что с его апшеронцами говорит сам Суворов.

— Поставлены как у всех, ваше сиятельство, — ответил полковник, вынимая из кармана часы. — Без двух минут три. Сейчас должна быть первая ракета.

— Посмотрим, так ли, — сказал Суворов, запрокидывая голову назад и глядя вверх.

Все невольно последовали его примеру. Смотрели и ждали.

И точно — вдруг раздался треск, и над головами в черное, покрытое тучами небо взлетела яркая ракета.

... 1-я колонна, впереди которой шли апшеронцы, уже несколько минут стояла у самой крепости. Колонна должна была по диспозиции взять командный редут Табия, спускавшийся к самому Дунаю.

За апшеронцами пятьдесят рабочих несли фашины, топоры, кирки, ломы. А дальше шли белорусские егеря и фанаторийцы.

Колонна стояла тихо. Ждала последней, третьей ракеты. Слышно было, как кто-то сзади, среди рабочих, вдруг кашлянул и сразу же оборвал, видимо зажал рот рукой.

В Измаиле у турок было тихо. Из-за стен чуть доносился приглушенный шум, да на валу громко переключались часовые, а в городе где-то лаяли собаки. Одна вдруг завывала.

— Чует недоброе, — шепнул Лосеву рядом стоявший Зыбин.

Справа однообразно шумел, бился о камни Дунай.

Лосев прислушался, не слышать ли, как на судах подъезжает к Измаилу от Сулины десант де Рибаса. Ведь и они должны

в эту минуту быть где-нибудь недалеко. Но ничего не услышал.

От реки тянул густой туман. Знобило не то от холода, не то от волнения.

Небо все так же было в тучах. До рассвета оставалось часа два.

И вот, наконец, высоко взвилась последняя ракета. Не успела она погаснуть в черном, беззвездном небе, как сразу же загремели пушки. Стреляли с реки, с судов. Ядра прочерчивали небо.

Притаившийся, затихший было Измаил, оказывается, и не думал спать — турецкие батареи тотчас же заговорили в ответ. Огонь от пушечных выстрелов вырывал из темноты то черную, блестящую полосу широкого Дуная, то высокие стены Измаила с жерлами пушек.

На смотреть было некогда. Апшеронцы побежали вперед.

У самого рва они рассыпались, и пока рабочие забрасывали шестисаженный ров фашинами, апшеронцы стреляли по редуту, на огоньки турецких выстрелов.

Но вот фашины уложены.

— Вперед, ребята! — закричал полковник Лобанов-Ростовский и первый кинулся через ров.

Лосев бежал вместе со всеми. Пули звекли вокруг. Под ногами хрустел фашиник. Кто-то упал, убитый, его не успели оттащить в сторону, спотыкались, падая друг на друга. Кто-то провалился в ров, фыркал, отплевывался, но плыл к турецкому берегу. Пули чокались о фашины, пенили воду широкого рва.

Ров перебежали. Дальше дорогу преградил крепкий палисад.

Какой-то мушкетер с остервенением ударил прикладом в толстые бревна. Напрасно!

— Рабочие, сюда! Топоров скорее! Ломы давай! — кричали все — и офицеры и солдаты, оглядываясь назад.

Апшеронцы, бросившись ко рву, отгеснили рабочих, и теперь получилась заминка. Каждая минута была дорога.

2-я колонна, шедшая слева, уже взбиралась на вал. Слышно было, как там кричали:

— Лестница мала, надвяжи ее!

— Лезь так! Вперед! Ура!

— Чего тут смотреть! Айда через палисад! — вдруг крикнул Огнев и в одну секунду ловко перемахнул через палисад. За ним посыпались все. Тарахтя ружьями и флягами, обрывая на себе пуговицы и кар-

маны, задевая друг друга, лезли апшеронцы.

Когда перескочили за палисад, пришлось остановиться: впереди оказался второй, но на этот раз меньший, ров. Бежавшие первыми попали в него и, вскрикивая от ледяной воды, перебирались на другой берег. Ров был неглубок, вода доходила только до пояса.

Ждать, пока рабочие прорубят палисад и протащат фашины, было невозможно, тем более что турки с редута Табия засыпали пулями остановившихся апшеронцев. Палили убитые и раненые.

Мушкетеры стали прыгать через ров. Некоторые обрывались в воду.

— Ваше благородие, давайте прыгать! — крикнул Зыбин, в секундной вспышке оружейного выстрела снова увидевший возле себя подпоручика Лосева.

Лосев прыгнул вслед за ним. На той стороне рва собирались апшеронцы. Они снова залегли и стали стрелять по редуту, давая возможность переправиться егерям и фанаторийцам. Палисад уже трещал под ударами топоров.

Но неожиданно на апшеронцев кинулись от редута толпы турок. В темноте трудно было разобраться. Только по крикам «алла» догадывались, где враг. Апшеронцы вскочили и приняли турок в штыки.

Лосев, больше наугад, ударил кого-то штыком, ударил другого. И тут перед его глазами сверкнул яркий огонь, что-то больно стукнуло по голове, тысячи искр посыпались из глаз — и все исчезло.

... Лосев очнулся от того, что ему лили на голову холодную воду. Он с трудом поднял отяжелевшую, как будто не свою голову.

Чуть светало. Уже можно было кое-что различить. Он увидел, что лежит возле рва и что над ним склонился мушкетер Огнев.

— Живы, ваше благородие? А я уж думал, убили, окаянные! — обрадованно сказал мушкетер.

Лосев, держась за Огнева, сел. Все плыло у него перед глазами. И почему-то он видел только одним левым глазом.

Ров, через который давеча они перепрыгивали, был заполнен фашинами. Кругом валялись трупы турок и русских. Воздух дрожал от пушечных и ружейных выстрелов, от криков «алла» и «ура». Где-то сверху призывно били барабаны.

— Где мы? Как штурм? — спросил, оглядываясь, Лосев.

— Маленько поспешили. Пришлось прыгать назад, через ров. А там подоспели с фашинами егеря и турок погналы, — рассказывал Огнев.

— Зыбин жив? Мы бежали с ним вместе, — спросил Лосев у Огнева.

— Жив еще. А вот ефрейтора нашего Воронова ранилы в ногу.

Лосев силился открыть правый глаз, но не мог; когда он моргал левым глазом, в правый кололо.

— Что, у меня глаз выбит? — упавшим голосом спросил Лосев.

— Нет, ваше благородие, глаз, должно, цел. В бровь маленько царапнула пуля. Сохрани господи, чуть правее взяла б, ну, тогда конец! — сказал Огнев, осматривая глаз. — Вот залепим сейчас землицей со слюной рану, она засохнет и заживет!

Огнев приложил к глазу подпоручика влажный комочек земли. Лосев вытащил из кармана платок:

— Завяжи, братец!

Огнев перевязал голову.

— Ну вот, я побегу, у нас и так силы мало. А офицеров почти всех перебили, прямо страсть! Генерал Львов ранен, полковник Лобанов-Ростовский ранен.

— Кто же командует? — спросил Лосев.

— Полковник Золотухин, — ответил Огнев и, взяв ружье, побежал вдоль замкнувшего бастиона.

Лосев остался сидеть. В голове у него звенело, перед единственным зрячим глазом плылы яркие круги.

Он нащупал флягу — цела. В ней было немного водки. Глотнул. Стало яснее. Взял что-то ружье и с трудом поднялся. Пошатываясь, пошел вперед.

Навстречу ему тащились раненые. Придерживая обрубок левой руки, из которой хлестала кровь, шел мушкетер. Лосев узнал его, это был апшеронец, тот рябоватый туляк.

— Ой, рученька моя, рученька! — приговаривал он.

Трое солдат, спотыкаясь, несли на плаше поручика-фанагорийца. Он был ранен в обе ноги.

— Я вам приказываю, оставьте меня здесь! Разве я не начальник ваш? Возвращайтесь назад, там вы нужнее!

— Сейчас, ваше благородие, только за палисад вынесем. Там из лезерву понесут дальше. А то как же своих раненых оставлять? — наставительно говорил старик-егерь.

Поручик, увидав Лосева, приподнялся и лихорадочно возбужденным голосом сказал:

— Горопытсь, подпоручик! Там командовать некому, всех офицеров выбили!

Лосев ничего не ответил. Он глотнул еще раз из фляги и уже совсем твердо пошел вперед.

Суворов расположился с несколькими штаб-офицерами на пригорке, в полуверсте от Измаила. Александр Васильевич выбрал этот пункт, потому что он был в середине всего полуколуца русских войск.

Пока стояла густая темень и вся местность освещалась только огнями выстрелов, наблюдать, как проходит штурм, было невозможно. Приходилось всецело полагаться на донесения начальников колонн да почаще самому слать ординарцев.

Суворов волновался, как ни в одном сражении. Он не мог устоять на месте. Его тянуло туда, где кипел жестокий рукопашный бой. Впервые за все тридцать лет боевой деятельности он вынужден был оставаться где-то позади.

Суворов ходил по небольшому пригорку — от его склона, где со своими конями толпились спешенные тридцать казаков его конвоя, до костра, у которого на барабанах, с бумагой и карандашом в руках, сидел белообрый полковник, барон Тизенгаузен.

Это был один из любимцев князя Потемкина. Светлейший прислал его «для примечания военных действий, для журнала и абресса», а попросту говоря — для слежки за Суворовым и для того, чтобы потом был предлог дать своему любимцу крест.

В последние дни к Суворову из Ясс наехало множество разных сиятельных иностранцев и русских погреть у Измаила руки. Но Суворов всех их прикомандировал к колоннам и полкам. Барон же оказался хитрее остальных: он оградил себя от опасности, получив у Светлейшего точное назначение.

«Примечай, примечай!» — иронически думал Суворов каждый раз, доходя до него и круто поворачиваясь налево кругом.

В первые минуты, когда тишину разорвали пушечные залпы, когда со всех сторон в темноту понеслось громко «ура» и ему тотчас же стало вторить заунывное «алла» турок, Суворов беспокоился об одном — как бы в темноте колонновожатые не напутали чего. Темнота, ночь, с одной

стороны, были на руку русским. Суворов всегда уважал ночной бой. Как ни были готовы турки к обороне, но все-таки ночной удар получался неожиданным. Кроме того неприятель не мог видеть, какие силы атакуют, и при этом стрелял наугад. Но, с другой стороны, темнота имела некоторые неудобства: в ней трудно ориентироваться.

Почти все колонны начали штурм в одно назначенное время. Только 2-я колонна генерала Львова пошла на штурм несколькими минутами раньше. К 6 часам утра храбрый Ласси был уже наверху вала. От него прискакал к Суворову первый ординарец с донесением.

Суворов был рад, — дело шло.

Тизенгаузен схватил ординарца за рукав и стал расспрашивать его о бое. Ординарец мог только сказать:

— Турки дерутся отчаянно. У нас много поранено и убито. Секунд-майор Неклюдов первым бросился со стрелками в ров. Без лестниц взошел на бастион. Его ранили.

— Спешите, братец, назад! Потом расскажете. В штурме каждый человек дорог! — перебил расспросы барона Суворов.

Все колонны неустранимо продвигались вперед под градом пуль и картечи, штыками пробивались через толпы янычар, карабкались на высокие валы.

Хуже других приходилось 3-й колонне генерала Мекноба. Ему выпала труднейшая задача — штурмовать Измаил с севера. Валы здесь были выше, чем в других местах крепости, а рвы шире. Лазутчики и разведка сообщали, что на этих валах стоит со своими отборными янычарами сам сераскир, испытанный в боях Айдозли-Мегмет-паша.

В первые же минуты атаки был ранен командовавший стрелками колонны принц Гессен-Филиппстальский. Генерал Мекноб сам повел войска вперед.

Мужество русских солдат и офицеров сломало отчаянное сопротивление турок. Большой бастион, наконец, пал, но храбрый Мекноб был ранен.

Суворов слал то одного, то другого офицера к колоннам, рассылал в разные стороны ординарцев.

Уже начинало светать, когда от 6-й колонны генерала Кутузова пришло неприятное донесение: турки с особой силой наседали на его колонну и дважды оттесняли бугских егерей до самого края валов. По-

ложение колонны стало критическим, большинство офицеров выбыло из строя. Только сам Михаил Илларионович, как всегда счастливый в бою, и на этот раз еще уцелел, хотя и дрался плечом к плечу с егерями в рукопашном бою.

— Скачи к Кутузову! Передай: назначаю его комендантом Измаила! — приказал Суворов одному из офицеров.

Офицер не успел еще вернуться назад, как Суворов уже отчетливо увидал в зрительную трубу: весь этот бесконечный главный вал крепости, общим протяжением в шесть верст, был в руках у русских. Продырявленные пулями, порубленные острыми турецкими саблями, русские знамена развевались на измаильских стенах.

Враг не устоял и отступил во внутрь города, в лабиринт узеньких, кривых улиц, в которых каждый дом, конечно, станет крепостью. Впереди предстояло еще много дела, много жертв, но главное было ясно: русские войска побеждали.

Стоять здесь, на пригорке, и уже ничего не видеть, что делается там, за этими высокими стенами, Суворов больше не мог.

— Коня! — обернулся он к казакам и с юношеской легкостью прыгнул в седло.

— Ваше сиятельство, у нас все-таки много потерь. Вот бригадир Рибопьер убит, — начал вкрадчиво Тизенгаузен.

Суворова передернуло: в этих словах потемкинского любимчика он почувствовал первый укол. Он сразу догадался, в чем станут обвинять победителя Измаила. Суворов резко оборвал Тизенгаузена:

— В штурме убит один, а в осаде от холода и голода умерло пять! Простая арифметика, помилуй бог!

И, пришпорив коня, он помчался к Хотинским воротам, которые изнутри уже открывали русские егеря.

Еще несколько часов тому назад бывшая несокрушимой, грозная турецкая крепость теперь широко раскрывала перед Суворовым свои ворота.

IX

Сегодняшнее утро казалось Суворову бесконечно длинным: приходилось сидеть и ждать, а заполнить время было нечем. Это не у себя дома.

Александр Васильевич приехал из Измаила в Яссы ночью. Он не переносил никакой парадности и хотел избежать всей этой натянутой, торжественной встречи,

которую князь Потемкин готовил победителю Измаила.

Суворов ехал в Яссы без всякой свиты и конвоя, в простой полковой кибитке. Ехал он не по большой дороге, где его ждали, а окольным путем, и в Яссы постарался приехать ночью.

В Яссах Суворов остановился у знакомого полицеймейстера. Он строго-настрого приказал полицеймейстеру не рассказывать о его приезде, спокойно поспал часа три и встал, по привычке, до зари.

Конечно, являться в такую рань к главнокомандующему со строевым рапортом было бесполезно. Светлейший, несомненно, еще сладко спал после очередного бала. Суворов решил подождать, пусть уж отоспится человек после трудов праведных.

Но все-таки он не вытерпел и слишком рано стал готовиться к приему. Суворов надел парадный, шитый золотом мундир со всеми орденами и звездами, надел подарок императрицы — золотую, украшенную бриллиантами шпагу. Одежда, приготовилась, и от этого ждать стало еще несноснее.

Суворов всегда чувствовал себя в парадной одежде стесненно. Приятнее было ходить в будничном канифасовом кафтане и свободных старых ботфортах. А в мундире давит воротник, и кажется, будто жмет подмышками.

Суворов расхаживал по небольшой комнате и думал:

«Вот, наконец, исполнилось то, чего он ждал все долгие годы: он совершил такой подвиг, который сразу выделяет его из всех русских генералов. Теперь уж Суворову не придется быть в подчинении у какого-либо тупоумного «Ивашки» или всех этих заносчивых Каменченков и Репниных! Даже сам Потемкин не сможет помешать ему вести операции так, как это найдет нужным Суворов: ведь и Александр Васильевич будет таким же фельдмаршалом, как Потемкин! Если австрийский император наградил за Рымник принца Кобургского фельдмаршалством, то уж за Измаил Суворову надо дать и подавно! Никакая бездарность не станет больше на его пути».

Суворов нетерпеливо поглядывал то на хозяйские часы, то на дверь: полицеймейстер пошел разведать, встал ли Светлейший.

Наконец, в половине девятого он вернулся:

— Ваше сиятельство, можно ехать. Свет-

лейший уже встал. Ждут вас. По улицам стоят гусары, смотрят, не едете ли вы.

— Ну что ж, коли так — поедем, — весело отозвался Суворов. Он заложил за обшлаг мундира приготовленный рапорт, надел каску и вышел.

Полковник Бауер не отходил от высокого венецианского окна: отсюда открывалась вся Дунайская улица, по которой должен был ехать из Измаила граф Суворов. Светлейший приказал немедленно же доложить ему, когда покажется карета Суворова. Потемкин хотел сам встретить его у крыльца.

Вот по улице протарабанила каруца на своих невероятно толстых, без спиц, — таких, какие делают в детских игрушечных повозках, — неуклюжих колесах. Гусары, стоявшие у перекрестка, хорошо подстегнули нагайками худых лошадей молдаванина, постарались, чтобы он со своей грязной каруцей поскорее убрался в переулок.

Вот проехала в дрожках смазливая горничная госпожи Браницкой. Гусарский корнет заулыбался, проскакал рядом с дрожками несколько сажений, вероятно говорил какой-либо вздор кокетливой горничной, потом вернулся на прежнее место, лихо покручивая усы. Он был доволен не только девушкой, но и собой.

Вот из переулка на Дунайскую улицу, тяжело громыхая, выехал какой-то неуклюжий, старомодный рыдван. Когда-то, лет пятьдесят назад, он был покрашен и даже кое-где позолочен, но теперь все облупилось. Он был расшатан и стар, в нем все дребезжало, скрипело, звенело. Рыдван с трудом тащил трое лошадей, запряженных по-молдавски, цугом. Кучер то и дело щелкал своим длинным бичом.

— Это еще что за черепаха? — улыбнулся Бауер, глядя на допотопную карету.

Гусарский корнет тоже потешался, увидев это чудовище. Он кивнул головой солдату. Тот подскочил было к рыдвану, но слуга, стоявший на запятках кареты, что-то ответил, что вполне удовлетворило гусар. Корнет отвернулся и со скучающим видом продолжал смотреть в ту сторону, откуда ждали Суворова.

А смешной рыдван тащился прямо ко двору Светлейшего.

— Кто же это? — соображал Бауер. — Какой это домине? Епископ, должно быть, или захудалый князь?

Но такой кареты на дворе Светлейшего полковник Бауер еще ни разу не видел.

«Загородит мне всю улицу! Из-за нее ничего не увидишь», — смотрел он то так, то этак на подбъезжавшую карету.

И вдруг ясно увидел: в рыдване мелькнули расшитый золотом генеральский мундир и каска. Это Суворов!

Бауер сорвался со своего поста и побежал в кабинет к Светлейшему.

Потемкин торопливо пошел навстречу Суворову. Не успел он сойти с высокой лестницы, как Суворов одним духом был уже рядом с ним. Потемкин заулыбался своим единственным зрячим глазом, раскрыл широкие объятия, и маленький граф Суворов утонул в них.

Они троекратно поцеловались.

Суворов ждал первых слов Светлейшего. Вот сейчас Потемкин поздравит его с фельдмаршалством, будет говорить с Суворовым как с равным.

— Скажите, Александр Васильевич, чем могу я наградить ваши заслуги? — спросил Потемкин.

«Что вто? Неужели он ослышался? С ним опять говорят как с подчиненным, с обыкновенным генералом, который выиграл заурядную баталию?»

Суворов вспыхнул. Он невольно отступил шаг назад и, прикрыв глаза веками, сказал с дрожью в голосе:

— Ничем, князь! Я не купец и не торговаться сюда приехал. Кроме бога и государыни никто наградить меня не может!

Одутловатое, пухлое лицо Потемкина побледнело. Вся ласковость исчезла из его единственного зрячего глаза. Он круто повернулся и пошел в залу.

Сзади за ним шел генерал-аншеф граф Суворов-Рыминский. Он уже понял, что его мечты напрасны, что все пропало, что плетью обуха не перешибешь.

Суворов дрожащими руками вынимал из-за обшлага приготовленный рапорт.

Адъютанты и слуги Потемкина, присутствовавшие при этом разговоре, недоумевающе посматривали друг на друга, перешептывались: что он сделал? как он смел?

Через минуту из залы стремительно бежал граф Суворов. Он был бледен. Не видя никого вокруг, Суворов быстро сбегал по ступенькам высокого крыльца вниз и, не обращая внимания на приглашения кучера и лакея: «Ваше сиятельство, пожалуйте!», быстро пошел по улице.

Неуклюжий, старомодный рыдван тяжело громыхал вслед за ним.

Х

Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый Росс!
Державин

Во дворце, что стоял на большой дороге у Невы, в этом, как его все называли «Конногвардейском доме» и на широкой площади возле него уже несколько дней шла спешная работа. Десятки разных мастеров — художников, обойщиков, маляров, столяров, штукатуров и прочих — работали круглые сутки, благо стояли белые ночи.

Ломали разные мелкие пристройки, прилепившиеся ко дворцу и портившие общий вид, сносили длиннейший грязный забор тянувшийся вдоль Невы, — забором виднелись остатки каких-то сараев, — строили пышные триумфальные ворота, устанавливали стеллажи для иллюминации.

Площадь была полна народа.

Из города ко дворцу по грязной дороге тянулись вереницы подвод. В деревянных ящиках везли бережно укутанные в солому хрустальные люстры, сверкавшие на солнце прозрачными льдинками подвесок. Князь Потемкин взял из лавок напрокат 200 люстр.

На других возах лежали длинные, — в полтора человеческого роста, — зеркала. В них отражалось все: весенняя петербургская слякоть, чуть подсиненное северное небо, широкая Нева, грязные лапти мужиков-подводчиков, малиновый кафтан какого-то иностранца-художника, который в башмаках и шелковых чулках смело шлепал по лужам, за всем смотрел, отдавая приказания налево и направо.

С другого конца ко дворцу подбъезжали возы с тускло желтевшими, многопудовыми глыбами воска для шкаликов и иллюминации. Светлейший взял из придворной конторы 400 пудов воску.

Медленно тащились возы с кадками диковинных заморских растений. У них все — и листья и цветы — было как-то не похоже ни на что свое, русское, но красиво.

В самом доме видна была немалая суеда, слышался стук молотков.

Художники, закинув вверх головы, стояли, осматривая дело рук своих; измазанные в извести, сновали маляры; декораторы разворачивали яркие штофные ткани.

В настезь раскрытые высокие окна виднелись вазы и статуи из мрамора: голые девки, не очень стыдливо, одной ручкой, прикрывавшие крутую грудь, жилистые

бородачи, пухлые, но не сопливые, а чистенькие ребятишки с крылышками.

Все эти приготовления делались к большому празднику, который захотел устроить князь Потемкин в благодарность за царские милости, за ласковый прием, за торжественную встречу, оказанную ему как победителя турок, покорителю неприступного, гордого Измаила.

О будущем празднике в Таврическом дворце говорили удивительные вещи: будто по железным трубам потечет горячая вода, чтобы одинаково тепло было во всех высоких покоях, чтобы не иззябли матушка-императрица и все знатные гости.

Говорили, будто для простого люда на площади перед дворцом будут поставлены столы с угощением — медовыми квасом и сбитнем, с разными подарками — лаптями, котами, шляпами, кушаками, лентами.

Императрица не могла никакими чинами и орденами наградить больше князя Потемкина, потому что он уже все имел. Екатерина подарила Светлейшему этот богатый дворец, который был пожалован Потемкину в первый раз три года тому назад и который Потемкин продал тогда в казну за 460 тысяч рублей. Кроме дворца Светлейший получил фельдмаршальский мундир, украшенный драгоценными камнями, стоившими 200 тысяч рублей.

И князь Потемкин решил дать в честь взятия Измаила такой бал, какого еще никто никогда не давал в Санкт-Петербурге.

По грязной, весенней дороге из Санкт-Петербурга на Выборг медленно тащилась ямская тройка.

На козлах, рядом с ямщиком, трясся толстоносый солдат. Сонными, осовевшими глазами он тупо глядел по сторонам. В повозке никого не было, повозка была пуста.

Чуть впереди тройки, по обочине дороги, по вытоптанной пешеходами и уже просохшей тропочке, быстро шел старик.

Он был в сапогах, белых полотняных штанах и такой же куртке. Легкий ветерок трепал завитки его седых волос. Шляпу старик держал в руке.

Он шел, глядя на зеленеющие поля, на жаворонков в вышине, на голубое небо, но думал не о небе и не о зеленях.

...Князь Потемкин хорошо отомстил Суворову за его солдатскую прямоту.

Солдат, участников измайловского штур-

ма, наградили серебряными медалями, офицерам дали золотые кресты, а Суворов за взятие Измаила не получил ничего.

Разве можно считать назначение подполковником в лейб-гвардии Преображенский полк за награду?

Конечно, полковником в нем — сама императрица, но подполковник-то не один, а еще до Суворова насчитывалось десять человек. Все родовитые Репнины и Салтыковы, вся бездарь вроде Долгорукова или Разумовского удостоились этой великой чести раньше Суворова.

Своего возлюбленного Потемкина императрица встретила как победителя, как Цезаря, а о Суворове не вспомнил никто.

Его душила злоба. Он никак не мог примириться с этой несправедливостью, с этим вероломством.

Суворов распахнул кафтан и бежал по обочине еще быстрее.

«Цитерное молодечество¹ выше всяких военных талантов, выше побед! — возмущенно фыркал Суворов. — А он-то, он сам о чем думал? О справедливости! Дон-Кихотом был, Дон-Кихотом и остался!»

И, наконец, сегодняшняя «купоросная пилюля» — назначение Суворова к войскам в Финляндию осмотреть, надежны ли укрепления на северных границах России!

Все это понятно даже младенцу.

Завтра в Таврическом дворце Потемкин дает бал в честь взятия Измаила. Не пригласить, обойти Суворова, которому Россия обязана взятием Измаила, нельзя, а пригласить — значит, чествовать Суворова. Потемкин нашел благовидный предлог услатить его подальше.

Победителя выгнали из Петербурга.

«Вот она, благодарность! — скривился Суворов. Вот он, «вернейший друг», как называл себя в письмах к Суворову князь Потемкин. — Ну что ж, веселитесь, а я тем временем потружусь. Мое дело не пропадет. Границы России должны быть крепки везде — на юге и на севере. Работы много, нечего тянуть за ногу!»

Суворов обернулся и нетерпеливо махнул рукой. Ямщик ударил по лошадям. Тройка подкатила. Суворов вскочил в повозку и бодро приказал:

— Погоняй!

И тройка, разбрызгивая во все стороны грязь, помчалась вперед...

¹ Любовные похождения.

Вадим Шефнер

ВАЛААМСКИЕ МОНАХИ

Они могли в колокола греметь,
Поклоны бить, молиться и поститься,
Не пить вина и женщин не иметь
И думать, что за это все простится.

К ним добр был бог. И все прощал он им
За жизнь богоспасительную эту.
Мы строже бога. Мы им не простим,
За все измены призовем к ответу.

И вот стряслась небесная беда, —
И, осеня крыльями просторы,
Ревут, как трубы Страшного суда,
Советских истребителей моторы.

И вот стряслась последняя беда, —
Тут не помогут с богом разговоры, —
По нашей воле остров навсегда
Покинули монахи и шюцкоры.

1940

Н-СКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ

(ПО РАССКАЗАМ И ВОСПОМИНАНИЯМ УЧАСТНИКОВ БОЕВ ЗАПИСАЛ И. МОЛЧАНОВ)

Да, час настал! И мы идем
Бесстрашно в бой с врагами.
И имя Сталина несем
Как боевое знамя.

А. Твардовский

1. Финны бряцают оружием. Провокация в Майниле. Конец нашему терпению

(По рассказу В. И. МОСКВИНА, Героя Советского Союза, старшего лейтенанта, начальника штаба полка)

Стояла глубокая осень. Наша дивизия проводила последние перед зимними квартирами полевые учения на Карельском перешейке. Учения прошли, и мы уже собирались обратно в Ленинград, на наше постоянное жительство, когда неожиданно командира нашего полка, майора Яромичева вызвали в штаб дивизии.

— Белофинны сосредоточивают на границе войска. Возможны всякие неожиданности. Нашему полку приказано пойти в оборону границы, — сказал Яромичев, возвратившись в полк.

Что ж, в оборону — так в оборону! Воины страны социализма готовы в любую минуту выполнить любое задание своего правительства. Разожгли костры, пообогрелись, поужинали, затем развернули грузовики и боевые машины и двинулись к границе.

По приказу командования, мы должны были занять оборону на протяжении границы от деревни Аккаси до Белоострова. Справа, невдалеке от Аккаси, была расположена другая деревня — Майнила, та самая Майнила, которую и обстреляли глотом белофинны, вызывая нас на войну.

Границей в этом месте служила река Сестра, узкая, извилистая, местами быстрая, местами омутистая речонка. Обходя Майнилу, она бежала на запад, как бы вглубь финской территории, затем резко поворачивала на юг и, пробежав километров десять, не менее резко загибалась на восток, к Белоострову, образуя таким

образом большой выступ нашей территории, зажатый с трех сторон вражеской землей. На южной половине этого выступа нам и приказано было развернуть полк в оборону.

Мы подошли к границе в полночь, остановились на полянке, окруженной сосняком и кустарником, примерно в километре от Сестры-реки. Тихо залегли спать.

Рассвело. Ночной выбор полянки под стоянку оказался очень удачным. Сосняк и кустарник мешали врагу обнаружить нас. Тут и решили остановиться. Бойцы принялись рыть землянки, маскировать орудия, обоз, а мы с майором Яромичевым и командирами батальонов Токалевым, Угрюмовым и Лебедевым пошли на линию границы выбрать места для наблюдателей, дозорных и боевого охранения, а заодно и поглядеть, что делает враг на своей территории.

Сестра-река проходила то по низкой, болотистой местности, то зарывалась в кустарники, то пересекала небольшие сосновые рощи. Правый, вражеский, берег ее был обрывистее, круче нашего, советского. Накольные проволочные заграждения опутывали его, словно паутиной.

По дороге за проволочными заграждениями тянулся обоз с сеном. Вozy были сложены как-то по-необычному: то слишком длинные, то слишком высокие. Прячась за кустарником, мы разглядывали эти странные вozy с сеном, качающиеся на колесах. Передний воз вдруг трянуло на ухабе так, что сено пластами сползло

на землю, и на обнаженной телеге мы разглядели 37-миллиметровое орудие. Белофинны-возчики, шустрые не по-мужицки, тотчас опять заложили пушку сеном и долго подозрительно глядели на наш берег.

— Видели? — кивнув на обоз, сказал майор Яромичев. — Передние восемь возов — пушки, остальные — снаряды.

— Да, готовятся! — выговорил тихо комбат 2 капитан Угрюмов, наблюдая за обозом.

Особенно долго мы задержались в кустарниках, там, где река делала крутой поворот на восток, к Белоострову. На финском берегу, неподалеку от реки, виднелись домишки деревни Луутахянтя, сосновая роща справа, за нею крыша большой казармы, а влево — не то пожарная каланча, не то наблюдательный пункт. Километрах в двух от реки к югу, на станции Куоккала, дымили паровозы — оттуда, видимо, и шли обозы с «сеном». Нас остановил какой-то подозрительный грохот, лязг железа, неистовый стук топоров. Мы даже видели, как справа Луутахянтя падали сосны. Решили, что белофинны заготавливают на что-то бревна, должно быть, на строительство переправы через реку.

С небольшой возвышенности у погранзнака 57 мы увидели вдалеке за ложиной какое-то длинное черное чудовище, медленно ползущее по земле. Что бы это могло быть? Знали, что там — железная дорога. Но катящийся впереди плоский черный квадрат никак не походил на паровоз. Да и вагоны тоже были какой-то странной формы — без окон, без дверей, без колес, с закруглениями в виде куполов вверху.

— Бронепоезд! — сказал кто-то из нас.

Да, это был бронепоезд. Мы отчетливо разглядели его в стереотрубу наблюдательного пункта нашей погранзаставы, расположенного близ погранзнака 57. Пограничники доложили нам также и о своих наблюдениях: усиленное движение поездов по железной дороге, подвоз к границе военного снаряжения, войск.

Сомнений не осталось: белофинны лихорадочно готовились к войне.

В тот же день мы развернули полк в оборону. Усиленные дозоры. Усиленное наблюдение. Потянулись напряженные дни и еще более напряженные ночи. Выпал снег, начались морозы. По утренним

зорькам особенно отчетливо долетал до нас все тот же грохот и лязг металла на территории врага. Звонко стучали топоры, падали деревья. Где-то вдалеке гремели выстрелы, то одиночные, то очередями: белофинны, должно быть, пристреливали оружие.

Наблюдатели доносили о скоплениях войск в Луутахянтя, в Куоккала, о постройке блокгаузов, оснащенных пулеметами, о передвижении батарей, о подозрительной возне на дорогах, возле мостов через ручьи, впадающие в Сестру-реку. Возня эта происходила преимущественно в ночное время, а когда рассветало — наблюдатели улавливали в объективы перископов и стереотруб поставленные по бокам дорог небольшие столбики, окрашенные в красный цвет. Для чего финны вкапывали эти крашенные столбики, разведать оказалось трудно.

По мере того как враг готовился к войне, росло ожесточение и наших бойцов. Каждый день можно было слышать разговоры:

— И чего это нянчиться с ними, с этими белофиннами? Ударить бы разок как следует, перестали бы задирать!

— Ударить? Ишь ты, молодец какой! Мы за мир, а не за войну.

— Но ведь они вызывают!

— Мало ли что вызывают! Надо сначала все мирные дорожки до конца протри. А вдруг они опомнятся, скажут товарищу Молотову: «Извините, Вячеслав Михайлович, нас, безумцев! Согласны мы на ваши предложения».

— Дожидайся, опомнятся! Не своим умом живут — чужим. Так-то и позволят им джентльмены опомниться...

Ожесточение нарастало. Находясь в дозорах, в боевом охранении границы, бойцы видели, что враг готовится к войне не на шутку, что война вот-вот вспыхнет. И в крови каждого бойца закипала ненависть к провокаторам войны.

26 ноября, часов около четырех дня, я и майор Яромичев стояли в группе командиров у командного пункта полка. Батальоны только что пообедали, и бойцы отдыхали в землянках. День был безветренный, лес молчал, кругом стояла тишина. Вдруг откуда-то справа до нас докатился тяжелый гул разрыва, за ним второй, третий, а потом еще и еще. Семь разрывов! Определили ориентировочно —

на нашей территории. Что бы это могло быть?

Связист с командного пункта сказал, что командира полка требуют к телефону. Майор Яромичев скрылся в землянке. Вышел он оттуда минуты через четыре с потемневшим лицом.

— Провокация, товарищи! — выговорил он глухо. — Белофинны обстреляли наши войска в районе Майнилы. Четверо убитых, девять раненых...

Майору не ответили. Негодование сжало наши сердца. Пали наши товарищи... Враг обагрил свои грязные лапы кровью наших людей... Враг бросил нам вызов. Война!

— Спокойствие, товарищи! — сказал вдруг своим обычным суровым голосом командир полка. И распорядился: — Командиры стрелковых батальонов, пулеметных, минометных, артиллерийских и танковых подразделений — ко мне!

Сыграли тревогу. Не прошло и трех минут, весь полк с приданными к нему подразделениями был на ногах. Батальоны выстраивались перед своими землянками. Выкатывались из укрытий пулеметы, минометы, с пушек сдергивались чехлы. Весть о вражеской провокации облетала все ряды, и бойцы, выпрямившись, грозно сжимали винтовки.

Когда мы вышли из землянки командного пункта полка, голоса возмущения и негодования, катившиеся по рядам, смолкли. С горящими глазами люди ждали боевого приказа. Майор Яромичев поднялся на землянку. Батальоны колоннами подошли к командному пункту полка.

— Товарищи, — сказал майор Яромичев, — враг вызывает нас на войну. Сейчас вы займете огневые рубежи. Но... передаю приказ командира дивизии товарища Кирпоноса: ни одного выстрела! Не поддаваться провокации! Мужественно, с достоинством воздержаться от ответного обстрела!

— Сердце горит, товарищ командир! За кровь наших товарищей враг должен ответить своей кровью! — выкрикнул кто-то из урюмовского батальона.

— Ни одного выстрела! — повторил сурово майор Яромичев. — Вопросы войны решают весь советский народ, наш вождь товарищ Сталин, наше правительство. Дисциплина! Железная дисциплина! Будем ждать решения народа. Конечно, — доба-

вил майор Яромичев, — если враг попытается перейти границу, тогда, безусловно, огонь. Жестокий, уничтожающий огонь!

Бойцы залегли на огневых рубежах. Винтовки — на прицеле, в пулеметах — ленты, наготове и минометчики и артиллеристы. Враг притаился, как наблудившая собака. Тишина. Потрескивал только раздираемый морозцем лед на Сестререке.

Вечером батальоны выделили делегатов проститься с товарищами, павшими от провокационного вражеского обстрела. Делегаты возвратились из Майнилы утром. Подробности: пало трое рядовых и один младший командир, ранено семь рядовых, младший командир и младший лейтенант. Из штаба округа приезжала комиссия. Правительству переданы точные данные произведенного расследования. И опять болью сжались сердца советских людей.

В тяжелом напряжении проходили эти последние дни перед войной. Советское правительство, делая последнюю попытку предотвратить войну, потребовало от финляндского правительства немедленно ответить войска от границы на 20—25 километров и тем предотвратить возможность повторных провокаций.

Вечером 28 ноября радио передало ответственную ноту Финляндии. Наглая, вызывающая нота! Обстреляв нашу территорию, убив наших товарищей, белофинны заявляли, что они-де и не стреляли вовсе и что-де у нас, видимо, произошел несчастный случай на учениях войск. А что касается отвода войск с границы, то и они, белофинны, потребовали, чтобы мы также отвели свои войска... в Ленинград. Что могло быть возмутительнее этого?

Радио передало также сообщение о новых провокациях. Белофинны обстреливают наши войска, переходят нашу границу, нападают на наши пограничные заставы. Белофинские снаряды рвутся на нашей земле, унося в могилу наших людей.

Тут уже нашему терпению пришел конец.

Батальоны снова стояли колоннами на полянке перед командным пунктом полка. На землянке командного пункта — снова майор Яромичев. В прозрачном морозном воздухе звенели слова боевого приказа командующего войсками ЛВО командарма 2-го ранга Мерецкова:

«... Восточная часть Финского залива и Ленинград всегда были предметом хищных воцелений империалистов.

... Вместо того чтобы обеими руками ухватиться за советские предложения и пойти навстречу элементарным требованиям обеспечения мира, финские правители, вопреки воле народа, сорвали мирные переговоры с Советским Союзом и отвергли его предложения об укреплении дружественных отношений.

... Подлая финская военщина обагрила свои грязные лапы священной кровью наших бойцов.

... Выполняя священную волю Советского правительства и нашего Великого народа, приказываю:

Войскам Ленинградского Военного округа перейти границу, разгромить финские войска и навсегда обеспечить безопасность северо-западных границ Советского Союза и города Ленина, колыбели Пролетарской революции.

За нашу любимую Родину!
За великого Сталина!

Вперед, сыны Советского народа, войны Красной армии, на полное уничтожение врага!»

Тысячеголосое «ура». Над головами грозно поднялись винтовки. Войны страхи социализма клялись выполнить приказ командования по-боевому, с отвагой и мужеством, раз и навсегда отбросить врага от ворот нашего прекрасного города Ленина и оружием обеспечить мир на северо-западе Европы.

В землянке командного пункта полка собрались комбаты. Намечались ориентировочные направления действий подразделений полка на вражеской территории. Майор Яромичев познакомил командиров с отдельными разведывательными данными.

С наступлением темноты разведчики, саперы, стрелковые подразделения, пулеметчики, гранатометчики, минометчики потянулись на исходное положение. Вместе с пехотой двинулись на исходное положение и артиллеристы полка, бить по ближайшей цели с прямой наводки. Пулеметы и пушки встали за прикрытиями, почти на самом берегу реки. Бесшумно скользили по мягкому снегу грузовики, подвозя боеприпасы и строительный материал для саперов. Связисты тянули линию связи к командным пунктам батальонов, к артиллеристам и минометчикам. Радиотехники устанавливали на соснах громкоговорители.

Часам к двенадцати ночи все было готово.

Мало кто уснул в эту памятную, волнующую ночь. Бойцы подавали политрукам заявления: «Пойду в бой коммунистом»; «Буду драться с бесстрашием и мужеством члена коммунистической партии»; «Если убьют, напишите родным: пал в бою за родину, за Сталина, за коммунизм».

Слегка забрезжило. Бойцы глядели в небо. Там, в небе, вот-вот вспыхнет мощная ракета — это и будет сигналом к бою, к первым грозным залпам нашей артиллерии.

Ракету пускал я. Никогда не забуду этой большой и торжественной минуты. Майор Яромичев неотрывно следит за часами, подсчитывает вслух:

— Семь пятьдесят пять... Семь пятьдесят шесть... Семь пятьдесят семь...

Три минуты до начала войны! Все, кто был в это время на командном пункте полка, встали, застыли в неподвижности.

— Семь пятьдесят девять...

Я поднял мощную ракету над трубой. Сердце замерло.

— Восемь!

Я опустил ракету в трубу, она наткнулась на боек, с треском выскочила и шипя ринулась в небо. В то же время величаво и торжественно грянул «Интернационал».

Война началась.

2. Первые полчаса. Разговаривают пушки

(По рассказу И. И. ШИРСТОВА, политрука батальона полковой артиллерии, орденоносца)

Описав в небе дугу, ракета рассыпалась на сотни маленьких, ярких звезд, медленно спускавшихся в густом, влажном воздухе к земле. За ночь потеплело, и в отсветах горящих звезд я увидел, как

набух и оползал с кустарника, где стояли орудия нашей батареи, снег, как выпрямились за орудиями, ожидая команды, наши артиллеристы. Обвел я взглядом и тот берег, затаившиеся домишки Луутахянтя,

сосновую рощу справа и наблюдательную вышку слева. Это наши цели. Они отчетливо видны. Секунд пятнадцать спускались на землю искристо-белые звездочки.

Сигнал подан.

— За Родину! За Сталина! По заданным ориентирам — огонь! — скомандовал лейтенант Кармазин.

Тотчас же подали команду командиры всех взводов батарей:

— Ориентир номер три, десять снарядов — огонь!

— Ориентир номер два, шрапнелью — огонь!

— Ориентир номер пять, гранатой — огонь!

Пламя длинными, красными языками лизнуло воздух, земля дрогнула, снаряды со свистом понеслись за реку. В багровой вспышке разрыва мы увидали, как развалилась башенка каланчи вражеского наблюдательного пункта, стоявшего справа от деревни.

— Точно! Молодцом, Овчинников! — весело крикнул наводчику орудия командир взвода младший лейтенант Купава. — Еще очередь! Снести с лица земли это вражеское сооружение! Огонь!

— Точно! Спасибо, Деменчук! — поблагодарил своего наводчика и младший лейтенант Шепатуров.

Мы разглядели также, как рвались наши снаряды в сосновой роще, справа от деревни.

В воздухе над нашими головами стоял уже сплошной свист, визг, вой от пронесшихся на вражескую землю тяжелых снарядов. Открыли огонь дивизионная и корпусная артиллерия. Сотни орудий, расставленных по всему фронту, от Сестрорецка до Ладожского озера, полыхая огнем, сыпали на голову зарвавшегося врага грозные ворошиловские гостинцы. В мягком, влажном воздухе гудели мощные удары гаубиц, слышался протяжный рев тяжелых, дальнобойных орудий. Разрывы снарядов, то близкие, то далекие, сотрясали землю.

По всему горизонту заиграли зарницы. Зарево пожаров обгавило холмы, рощи, заснеженные поля на вражеской территории. Горели строения кордонов, казармы, артиллерийские сооружения, сараи с пулетными гнездами.

В гуле канонады порой можно было различить залпы, похожие на удары грома, доносившиеся до нас откуда-то

из-за Куоккала. Это вступили в дело могучие крепостные орудия Кронштадта и его фортов. Славные моряки-артиллеристы обстреливали вражеский форт Ино.

Но ни грохот выстрелов, ни вой летящих снарядов, ни раскаты гула разрывов не могли заглушить звуков «Интернационала», передаваемого по радио.

Огненные языки орудий нашей батареи всё лизали и лизали воздух. Каланчи наблюдательного пункта белофиннов уже не было. Снаряды разметали окоп вражеского дозора, слева от деревни. Поредели деревья в сосновой роще.

— Точно! — деловито восклицали командиры взводов, поощряя удалых молодцов-наводчиков.

— Во славу Родины! Во славу Сталина! — отвечали артиллеристы.

Неожиданно метрах в ста двадцати за спиной у нас, на нашей земле, грохнул взрыв. Осколки разорвавшегося снаряда с шипением пронеслись в воздухе. Одним из осколков отбило у сосны огромную ветвь.

Через минуту метрах в ста от исходной позиции 2-го батальона взметнулся в небо огромный столб огня и черного дыма. Затем за холмом вправо громыхнул третий взрыв. Враг открыл орудийный огонь. В окопчике командного пункта лейтенант Кармазин уже разговаривал по телефону с наблюдателями.

— Откуда стреляют? — спрашивал он у наблюдателей.

Минута молчания.

— Вражеский бронепоезд? Где? — Командир батареи чутко приник ухом к трубке. — Примерно, платформа Оллила близ Белоострова? Хорошо, спасибо! Продолжайте наблюдение!

Лейтенант Кармазин тотчас же связался с командным пунктом полка:

— Нас обстреливает вражеский бронепоезд. Ориентир, примерно, платформа Оллила. Немедленно передайте об этом на командный пункт артиллерии дивизии!

Бронепоезд врага успел выпустить еще три снаряда по нашим позициям. Взрывы грохнули совсем близко, к нам долетели комья мерзлой земли. На мгновение нас заволочло черным, смрадным дымом. Наводчики заворчали: дым скрыл цель. Лейтенант Кармазин приказал укрыться за бронированными щитами, но это было уже ни к чему.

— Бронепоезд подбит! — донесли наблюдатели.

В Луутахянтя, озаряемой пожарищами, заметили перебежку противника. Батарея открыла по деревне ураганный огонь. Особенно мастерски работал наводчик Овчинников. Ни одного снаряда впустую! Падали крыши, в стенах домов образовывались огромные дыры, и огонь изнутри золотил их.

Я пошел на позицию 3-го взвода пожать руку славному наводчику. Я был уже шагах в десяти от кустов, где укрывались орудия, как вдруг над головой застрекотали пули. Стреляли с того берега, из Луутахянтя. Я это разобрал точно. По полету пуль я определил, что стреляют из крайних домишек слева. Под-

ползая к орудию, я хотел было передать ориентир командиру взвода младшему лейтенанту Купава, но тот уже знал его сам.

— Третий дом слева. Фундамент. Пулеметная огневая точка. Пять снарядов!

— Есть третий дом слева! — отвечал Овчинников, направляя на цель орудие.

Через минуту дом рухнул. Пламя залило тонкие, сухие бревна.

— Отлично, Овчинников! Молодец! — опять поблагодарил наводчика младший лейтенант Купава.

— За Родину! За Сталина! — отвечал коротко артиллерист.

Мы продолжали огонь.

3. На вражеской земле. Первые бои. Луутахянтя—Куожкала—Териоки

(По рассказу И. М. КОБЗАРЯ, старшего лейтенанта-орденоносца, начальника штаба угрюмовского батальона)

Ночь уходила, день развешивался всё шире и шире. Уже не так явственно полыхали зарницы залпов, хотя визг и вой пролетающих над головой снарядов усиливались к концу артиллерийской подготовки с каждым мгновением. Поблуднели пожарища на том берегу реки. Зато отчетливее выступили сосновая роща за Луутахянтя, с оборванными теперь кронами на передних деревьях, березы, схваченные узорчатым инеем, унылые поля и болота с торчащей из-под снега осокой и холмы вдалеке.

Занять деревню Луутахянтя, поселок Куожкала, перерезать железную дорогу, выбить врага из казармы за сосновой рощей и выйти к Териокам — вот что предстояло нам сделать в этот первый день войны.

Когда загремели пушки и пламя пожаров озарило вражескую землю, мы пошли с командиром батальона, капитаном Угрюмовым по подразделениям проверить еще раз готовность батальона к бою.

Небо повизгивало, гудело. Повизгивали и гудели матёрые ели. Бойцы укрывались в окопах. По лесу разбежался треск противотанковых орудий батареи младшего лейтенанта Андреева, пускавшей снаряд за снарядом на вражеские позиции в деревне Хапала, севернее Луутахянтя.

Под прикрытием артиллерийского огня саперы уже строили две переправы через реку Сестру для танков и обоза. Развед-

чики перебрасывали с берега на берег жерди, чтобы первыми перейти на территорию врага.

Минуты за четыре до конца артиллерийской подготовки мы с Угрюмовым вышли на левый фланг 4-й роты и залегли почти на самом берегу реки. Рядом с нами залегли наши посыльные и писарь батальона красноармеец Успенский. Вражеский берег напротив нас был разрезан ручьем, выбегавшим из-за крутого холма. На холме виднелись перила небольшого мостика на дороге в деревню. По обочинам дороги местами стояли красные столбики.

Угрюмов, прислушиваясь к гулу пожарища и к грохоту разрывов снарядов, пристально оглядывал вражеский берег.

— Ракета! — крикнул вдруг посыльный Угрюмова.

И в самом деле, высоко в небе сияла ракета, на этот раз зеленая. Она разорвалась, и светящийся зеленый дождь стал падать на землю.

— За Родину! За Сталина! Вперед! — загремело всюду по берегу.

Из-за деревьев, из кустарника, из окопов в ложине вырывались бойцы и стремительно бежали к переправам через реку, по которым уже перешли на тот берег разведчики и пулеметчики. Громкоговорители снова разнесли по лесу величавую мелодию «Интернационала». Лед потре-

скивал под жердяным настилом. Бойцы преодолели реку рывком — и вот они уже на земле врага, карабкаются по крутому склону берега, бегут вглубь.

Мы также были уже на той стороне реки (перешли по льду) и крепко пожимали друг другу руки. Глаза Угрюмова сияли:

— Поздравляю, товарищи! Час расплаты настал! Дорого заплатят провокаторы за смерть наших товарищей. Драться, не страшась и не отступая, по-сталински! Вперед, только вперед!

Вышли на бугор. Подбежал связной из команды разведчиков.

— Товарищ командир батальона! На дороге и по обочинам дороги, под снегом, подозрительные заряды. Под мостиком — динамит, к нему провода, — доложил связной.

— Провода порезать, перед зарядами поставить знаки! — распорядился Угрюмов.

— Есть, товарищ комбат.

Связисты подтянули к комбату линию связи. На бугор подоспели пулеметчики Кожанов и Зайцев. Разведчики двигались уже впереди, по полю, близ Луутахянтя. Комбат приказал поставить пулемет на бугре, обеспечить движение разведки вперед.

6-я рота подходила к деревне с восточной стороны. опередила комбата и 4-я рота, держа направление на сосновую рощу справа Луутахянтя. Врага не было видно, но пули похвистывали все время, в отдалении гремели пушки, стучали пулеметы.

Вдруг впереди, там, где двигалась наша разведка, вверх взметнулся столб черного дыма, и в то же мгновение людей оглушил рев взрыва. Еще столб дыма — и опять такой же рев взрыва. И еще столб — и рев взрыва. Бойцы залегли, думая, что противник начал артиллерийский обстрел. Угрюмов метнулся вперед, а навстречу ему бежал тот же связной и еще издали кричал:

— Вся земля запоганена! Мины, значит!

— Убитые есть?

— Двое наших ранено: Чуримов и Литвенко. Окопчик был впереди. Снайпер, подлюга, сидел. Бойцы, конечно, снайпера выбили, бросились в окопчик, а там шинель да сумка офицерская. Потянули за шинель, — и тут мина, значит.

— Немедленно доставить раненых на пункт первой помощи! — распорядился командир батальона.

Подошли к минному полю. Из снега действительно выступал закругленной головкой красный столбик, а за ним зияли воронки недавних взрывов. Угрюмов смело подошел к одной из воронок, тщательно осмотрел, затем стал разгребать руками обрызганный черной земляной пылью снег по краям. Вскоре он держал в руках конец нитки, потянул за него — взрыва не последовало. Видимо, нитка соединяла только эти две взорвавшиеся мины.

Я пригнулся низко к земле в другой воронке и, разглядывая в уровень глаза плоскость поля, заметил, что поле покрыто маленькими заснеженными бугорками. В иных местах между этими маленькими бугорками поверх снега виднелись нитки, натянутые как струна. Я подозвал Угрюмова. Но исследовать поле мы не успели. Впереди, метрах в полтора от нас, рякнули один за другим четыре взрыва. Затем еще и еще. И тотчас же дробно застучали пулеметы. Там завязался бой.

Оставив перед минным полем бойца предупредить подходящие резервы, мы бросились вправо по следам разведки к месту боя.

4-я рота подтягивалась к лесному завалу перед сосновой рощей. Огромные сосны и березы были беспорядочно навалены одна на другую, преграждая путь. Комли деревьев были подвязаны к шням жгутами проволоки. Осторожные разведчики покачнули одно из подвязанных деревьев длинной жердью, и тотчас же из-под деревьев вырвались столбы черного дыма.

Завал надо было обойти, за ним до сосновой рощи простиралась широкая поляна. Едва бойцы из взвода лейтенанта Шведова сделали несколько шагов по поляне в направлении сосняка, как снова рякнули предательские взрывы, а из сосняка застрочили пулеметы. Рота залегла.

Все тот же связной-разведчик (фамилия этого славного бойца — Жигалов) доложил комбату, когда мы подбежали к завалу:

— Этот бурелом тоже минирован, товарищ комбат. Обходы также. Поляна за сосняком также. В сосняке — траншея. Белофинны бьют оттуда из пулеметов. — И продолжал, не дожидаясь вопроса: — Убит один пулемет, товарищ комбат. Только пулемет.

— То есть как пулемет? — спросил Угрюмов.

— А вот как, — рассказывал Жигалов. — Когда они, значит, застрочили из своей траншеи, наши пулеметчики также выкатили пулемет, вон там, справа. Залегли за ним. Место неудобное показалось — бугорок впереди мешал. Они и стали толкать пулемет к бугорку. Только толкнули, — пулемета и нет. Мина была, значит, а не бугорок.

Вражеские пулеметы били по завалу, простреливали поляну насквозь. Особенно сильно простреливалась правая сторона завала — подступы к сосняку, видимо, не были минированы, а защищались огнем пулеметов. «Если подавить пулеметы — в сосновую рощу можно ворваться с фланга», — решил Угрюмов.

На командный пункт, к завалу, вызвали командира минометного взвода, младшего лейтенанта Арянова.

— Подавить пулеметные точки врага! — приказал комбат.

— Есть подавить, — ответил Арянов, и уже минуты через две во вражескую траншею с шипящим визгом полетели наши мины.

В лесу загромыхали резкие взрывы, черный дым стал обволакивать сосняк.

Враг замолчал. Первым в рощу ворвался взвод лейтенанта Шведова, за ним потянулись и все другие подразделения. В развороченной нашими минами и еще курящейся дымом траншее лежали трупы белофиннов.

Пока минометчики обстреливали траншею, мы с Угрюмовым разглядывали поляну, стараясь разгадать систему минных заграждений врага. И здесь мы заметили такие же заснеженные бугорки, как и на том поле, которое обошли. Здесь также от бугорка к бугорку тянулись нитки, тонкие шнурки, проволока. Они, несомненно, соединялись с минами: стоило наступить или потянуть за нитку или шнурок — тотчас в воздух с ревом взлетали столбы земли.

— Глядеть под ноги! Двигаться только по разведанной местности! Не лезть в завалы! Обходить дороги, помеченные красными столбиками! Не прикасаться ни к одному предмету, оставленному врагом! — вот какой приказ передал капитан Угрюмов во все подразделения батальона. — Осторожность, осторожность и осторожность!

Подступы к местечку Куоккала защищало вязкое торфяное болото. Оно начи-

налось сразу же за сосновой рощей и простиралось до первых нарядных домиков местечка.

Батальон развернулся по болоту широким фронтом. Плохо промерзший мох оседал, в следах хлопала вода. Особенно тяжело доставалось пулеметчикам: они несли свое оружие на себе и вязли с ним по колено. Но эта преграда не задержала батальона.

Когда полчаса спустя батальон подошел к местечку, у крайнего домика нас уже поджидал боевой разведчик-связной Жигалов, чтобы доложить о результатах разведки. Широкая улыбка озаряла его потное лицо.

— Так что, товарищ комбат, — весело доложил связной Угрюмову, — путь расчищен. Пожалуйста, без всякой опаски! Ни одного красного столбика! Ни одного белофинна! Удрали, черти.

— Удрали? — улыбнулся Угрюмов.

— Точно, товарищ комбат. Удрали.

Угрюмов понимал, почему белофинны отдали Куоккала без боя (боялись обхода с фланга), но спросил связного:

— А отчего же они удрали? Войну за-теяли, а сами удирают?

— Да как же им не удирать, товарищ комбат? — воскликнул связной. — Смотри-ка, — показал он рукой на сгрудившихся бойцов, — молодцы-то против них какие! На голове — сталь, в руках — сталь, с бокков — сталь, а в сердце — Сталин!

— Bravo, Жигалов! Молодчага! — одобрили шумно бойцы.

Кто-то крикнул:

— Отныне это наша земля, товарищи! Наша, советская! Да здравствует Сталин! Могучее «ура» прогремело на окраине Куоккала.

Прошли железнодорожные пути, взорванные убежавшим врагом, остановились под соснами парка. Разведчики доложили, что они разыскали «Пенаты» — домик, в котором жил величайший из русских художников И. Е. Репин.

К домику поставили часового.

На коротком привале бойцы с волнением выслушали сообщение комиссара части о вчерашней речи по радио главы советского правительства, товарища Молотова. Воздух огласили восторженные крики:

— Да здравствует Родина!

— Да здравствует коммунизм!

— Вперед! Уничтожим врага! Оружием

могушим войну у наших границ! С нами Сталин, товарищи! — И батальон неудержимо ринулся вперед, к Териокам.

Шли по левую сторону полотна железной дороги, одна из рот — по берегу залива. Сквозь раздираемые ветром облака временами проглядывало солнце. Местность за Куоккала потянулась снова болотистая, кочковатая, с редкими кустарниками и протупившей сквозь снег осокой.

Угрюмов распорядился итти осмотрительнее, обходить подозрительные места.

Путь преградил глубокий противотанковый ров. Стенка рва с вражеской стороны, взятая в деревянные крепления (колья, жерди, бревна), возвышалась метра на полтора над плоским болотом, по которому мы шли. По гребню насыпи злоещим валом проходило плетение колючей проволоки, преодолеть которую, не сделав в ней проходов, было невозможно. Враг не стрелял, видимо выжидая, когда мы подойдем ко рву вплотную.

— Выкатить пулеметы! Прочесать гребень насыпи! Минометчикам быть наготове, ударить по пулеметным точкам врага! — распорядился Угрюмов. И когда пулеметы прочесали насыпь, комбат вновь распорядился: — Ножицы, вперед!

Тотчас из цепи залегших бойцов смело выбросились вперед десятка четыре красноармейцев. Пригибаясь к земле, они стремительно побежали ко рву. Вот они уже во рву, вот карабкаются по отвесной стенке рва вверх, помогая один другому, устраивая живые лесенки, и вот зазвенела под ножицами проволока. Безудержным рывком выбросился в ров весь батальон, бойцы полезли на насыпь по спущенным сверху лестницам (враг их оставил), и вскоре уже батальон двигался по ту сторону рва.

Еще ров, еще минированный завал. Преодолели! Впереди, за широкой поляной, густой лес. Треск пулеметов — враг притаился в лесу. Упал, выдвигая на огневую позицию пулеметы, командир пулеметного взвода Стороженко. Убит.

От взрыва наших мин, пущенных мастерски минометчиками, опушка леса заволоклась черным дымом. Один из взводов, во-время направленный Угрюмовым, ударил по врагу с фланга — враг снова бежал.

Вот и Териоки. Нас отделяет от города лощина, местами голая, местами пересечен-

ная кустарником. Видны высокие дома предместья. Всего каких-нибудь километр-полтора — и мы у цели. Боевое задание будет выполнено. Мы первыми войдем в Териоки!

Отброшенный нами от Луутахянтя и Куоккала, от рвов и завалов, выбитый из леса, враг остервенел. Пулеметы бьют слева, справа, с крыш и чердаков домов города. Ревут, рвутся мины.

На железнодорожном полотне поднимается вверх широкий, багрово-черный столб дыма — это белофинны взорвали железнодорожный мост через ручей, отделяющий предместье от центра города. На том берегу ручья — несусветный завал, засада. Засада и слева в кустарнике, на побережье залива.

— Красные столбики, товарищ комбат! — вновь докладывает разведчик-связной Жигалов. — Кустарник опутан шнурками. Мины! Убито двое наших товарищей.

Темнеет. Еще каких-нибудь полчаса — и ничего кругом не будет видно.

— Сталинцы не отступают! Вперед! — передают связные командирам подразделений приказ комбата.

Разгорается жаркий бой. Наши минометы забрасывают вражеские засады минами. Грохочут взрывы. Отважные разведчики обрезают с кустов шнурки, прокладывают в кустарнике тропы. На бугорки, на голом пространстве лощины, ложатся ветки, тут — мины.

Один по одному, все ближе подвигаются бойцы к предместью. Снайперы бьют по окнам чердаков, пулеметчики поливают свинцом улицы, а гранаты летят в бетонированные погреба, откуда слышится стрельба.

Враг не выдержал натиска, бежал.

Стемнело. Мы заняли предместье.

Бойцы жарко дышали. В сапогах хлопало: когда ложились, ползли — снег набивался в голенища, таял. Командир батальона, капитан Угрюмов, поздравив бойцов с выполнением боевой задачи, приказал устраиваться на ночлег. Выставили сильное боевое охранение. В первых домах разместили раненых, другие дома заняли бойцы.

Неожиданно кривые улочки предместья зловеще озарило зарево пожара.

Враг поджег город.

4. *Терпиоки в огне. Мятсякюля — Ино. «Кукушки».*
«Угрюмов — чорт», — сказали пленные шюцкоровцы

(Продолжение рассказа И. М. КОБЗАРЯ)

Командный пункт батальона мы расположили в небольшом домишке в центре предместья. Связисты протянули линию связи во все подразделения. Угрюмов то и дело спрашивал командиров подразделений, накормлены ли бойцы, обсушились ли, как устроились на отдых. Комбат лично проверил боевое охранение. Враг тревожил не переставая: пулеметные очереди, треск автоматов, винтовок слышались то справа, то слева, то разом по всему фронту.

Пожар разрастался. Море огня поднималось, лизало черное небо над при вокзальной частью города. Вокзал уже догорал, обдавая ельник брызгами искр; подалее, на взгорке пылали санатории. Огонь охватил и дома по главной улице города.

В полночь пулеметы врага затрещали близко от нашего боевого охранения. Пули застрекотали, зазвенькали по улочкам предместья. Враг ринулся в контратаку. Пришлось поднять всех пулеметчиков и отрезать врага свинцом.

Контратаку отбили, но бой еще не кончился, когда домишки предместья закачались от грохота наших танков, прорвавшихся, наконец, через минные поля. Грозные танки остановились на улочке, у командного пункта батальона.

— Ну, теперь мы живем! — радостно сказал капитан Угрюмов, дружески пожимая руку командиру танковой роты лейтенанту Преображенскому.

— Разрешите, товарищ комбат, я поупаю немножко белофиннов? — попросил лейтенант Преображенский.

— Опасно! Город наверняка минирован.

— А мы проскочим! Мои молодцы уже проходили по минам. Запустят на полную скорость — мина под танком и разорваться не успеет. Потом рвется.

— Опасно! Город не разведен. Разведчики еще не возвратились, — опять сказал комбат.

— Вот мы и поможем разведчикам, — настаивал командир танковой роты. — К тому же мы не позволим врагу заминировать весь город. Разгоним мы и скопления врага. Дорогу расчистим. Да и, к слову сказать, товарищ комбат, чертовски хочется поработать! Будьте уверены, не подкачают!

Угрюмов разрешил.

Грозные танки ушли в пылающий город. Вплоть до рассвета ходили они по Терпиокам, наводя на врага ужас и смятение, расстранивая все его планы, уничтожая скопления и засады. Ходили они поодиночке, на полной скорости, и там, где они проносились, то и дело громыхали взрывы.

Разведчики, осторожно пробиравшиеся обратно в предместье по задворкам домов, видели, как опомнившийся враг снова укладывал и маскировал на дорогах и улицах города мины.

Мы с нетерпением ожидали возвращения танков. В двери постучали, на пороге показался разведчик-связной Жигалов. По лицу его ручьями струился пот, от мокрой шинели несло испариной. От усталости, от нервного напряжения (разведчик каждую секунду в течение всей ночи рисковал жизнью) он на этот раз не мог вымолвить ни слова. Угрюмов поднялся, поцеловал отважного бойца, крикнул своему посыльному:

— Стакан крепкого чая! Завтрак! И немедленно приготовить для товарища Жигалова мою койку!

Когда посыльный подошел к разведчику со стаканом чая, Жигалов, опомнившись от минутного забытья, вытянулся перед комбатом, и вновь мы услышали его живой, бойкий голос:

— Так что, товарищ комбат, красных столбиков больше нет. Но зато есть... патефоны, велосипеды, пальто, как бы оброненные впопыхах, отрезки шелка, топоры, лопаты, вафельные полотенца, словом — «приманки». Есть даже и золотые часы. В отсветах горящего дома мы видели, как вражеский офицер, — рожа, ух, злая! так и просилась на мушку! — выгацил из кармана часы и подвизывал их к мине. Дотронешься — бах, и нету тебя! Весь город минирован, товарищ комбат.

— Спасибо, товарищ Жигалов! — поблагодарил разведчика Угрюмов. — Ложись, отдохни!

— Не могу, товарищ комбат. Меня ждут разведчики. Мы решили устроить засаду и, когда начнется наступление, пересечь огнем пути отступления врага. Этим мы вызовем панику, белофинны замечутся и

сами полезут на свои мины. Вот это будет номер, да-а!

Возвратились из города танки, забрызганные землей. У трех машин были сорваны радиомачты.

— Стервецы! — ругался лейтенант Преображенский. — Они увидели, что мины нас не держат, навели противобашенные заграждения. Вобщем бревно поперек улицы. Шлагбаум вроде. Под бревном, конечно, мина. Ну, надо было брать и это препятствие на большой скорости. Вот и оборвали.

Обстановка стала ясна: город заминирован. Пригласив на командный пункт командиров всех подразделений и поставив перед ними боевую задачу — прочесать к полудню весь город, капитан Угрюмов потребовал выполнить эту боевую задачу так, чтобы ни один боец не пострадал от взрывов вражеских мин. Ничего не трогать, ни одной вещицы!

Рассвело. Подразделения батальона перешли ручей и ворвались в город широким фронтом по всем улицам, от железнодорожного полотна до берега залива. Гранатометчики выкуривали белофишнов из подвалов, из погребов, из канав, пулеметчики промывали свинцом улицы. Враг уходил из города, не принимая большого боя, надеясь, должно быть, что мины сделают свое дело.

Город действительно был заминирован здорово. На главной магистрали — Курносковском шоссе, проходящем через весь город, — встречались такие участки, что некуда было ступить: мина на mine. Мы еще не знали, как обезвредить эти дьявольские штучки, от одного прикосновения к которым человек взлетал на воздух. Инженерная служба расчищала пройденный участок.

Дойдя до минного сплошняка на Курносковском шоссе, мы остановились. Некоторые из мин лежали даже незамаскированными. Две зеленых металлических тарелки одна на другой, сверху капсуль, похожий на большую пуговицу.

— Так вот она, чертяка, какая! — сказал один из младших командиров, Мовчан, подходя к mine поближе.

Мы приказали ему отойти от мины.

Тогда Мовчан, подняв валявшуюся на дороге доску, бросил ее на мину. Рывнуло адски крепко, даже оглушило. Из мостовой вырвало булыжники. Столб чер-

ного дыма с минуту клубился в воздухе. Мовчан стал забрасывать мины досками. Заухало, загромыhalo на шоссе так, словно мы открыли артиллерийскую стрельбу.

Как раз в это время и подъехал к нам начальник инженерной службы полка лейтенант Степанов. Он смело подошел к одной из мин, смело взялся рукой за пуговку капсуля, вывинтил его, снял верхнюю тарелку, так же ловко вывинтил детонатор из заряда в другой тарелке и, подняв мину, бросил ее нам под ноги. Многие из нас шарахнулись в сторону.

— Не бойтесь, — с улыбкой сказал начальник инженерной службы полка. — Эта мина уже никогда больше не взорвется. Все дело вот в этих штучках. — И он показал нам капсуль и детонатор.

Мы разглядывали мину, грохали тарелки о землю. Лейтенант Степанов тут же показал, как надо вывинчивать капсуль и детонатор. Скоро весь заминированный сплошную участок шоссе был полностью расчищен, и мы преспокойненько сталкивали обезвреженные мины в канавы.

Мы продолжали двигаться вперед. Прочесаны Териоки, Тюрисево, Тихий Уголок.

На другой день мы с боем подошли к большому селению Мятсякюля, расположенному на горе близ залива. С горы сбегала бурная, не замерзающая даже зимой речонка. Мост через нее на Курносковском шоссе был взорван. Влево, к берегу залива, тянулся лес; в глубине его была расположена небольшая деревня. Сюда же, к Мятсякюля, подтянулись и другие батальоны полка.

Уже под вечер мы получили приказ командира полка переправиться через речку, выбить врага из деревни в лесу и выйти за ночь к станции Ино. Сквозь сильный заградительный огонь с горы подразделения батальона прорвались в сосняк и вышли на берег реки.

Тут стало тише, сосняк защищал нас, но неожиданно, когда саперы стали уже наводить жерданую переправу через речку, нас обстреляли. Пули звенькали как-то необычно и на плоском берегу шлепались в снег, вздымая бугорочки. Стреляли словно сверху.

Пригляделись к сосняку. Зоркий глаз Угрюмова заметил в густой кроне одной из сосен на том берегу реки мостки, а на мостках притаившегося белофинна. Непо-

далеку, на другой сосне, тоже сидел белофинн, но уже не на мостках, а на суку, прихваченный к стволу ремнями. А дальше — и третий, и четвертый.

— Эге! — сказал капитан Угрюмов. — Вот как они хотят воевать с нами! А нука, Бочмагин, сними этих птичек певчих! — обратился комбат к одному из пулеметчиков.

Пулемет плеснул по вершинам сосняка, и «птички певчие» тотчас смолкли. Впоследствии их стали называть «кукушками».

Едва батальон переправился на другой берег речки, нас встретил ливень свинца. Кора с деревьев так и сыпалась, будто ее соскабливали топорами. Деревья с грохотом падали в багровых разрывах мин и снарядов. Враг бил из деревни: с чердаков, из подвалов, из специально оборудованных бетонных огневых точек. А наши батареи и танки остались за речкой. Приходилось действовать только стрелкам.

Бойцы залегли в снегу. Угрюмов подполз к опушке сосняка и, разглядев расположение огневых точек врага, приказал лейтенанту Радченко выбросить два пулеметных взвода в обход с флангов — взять деревню под перекрестный огонь.

Отважные пулеметчики быстро залегли на новых позициях, и вскоре мы услышали, как настойчиво, большими очередями заговорили наши пулеметы. Тогда с фронта, от опушки леса, к деревне поползли гранатометчики во главе с лейтенантом Хамитовым. Вот гранатометчики уже совсем близко от деревни, а вот уже у домов полыхнули и разрывы гранат. Замолчала одна из бетонных огневых точек врага — молодой боец Попов подполз к ней близко, бросил гранату прямо в амбразуру. С крыш, с чердаков запрыгали белофинны — удирать, конечно.

— Вперед, красные воины! — крикнул капитан Угрюмов, и весь батальон яростно ринулся в атаку.

За деревней снова начинался лес. Восемь километров гнали мы белофиннов по лесу. Стало вовсе темно, пошел липкий снег. Враг неожиданно замолчал, как бы исчез. Ни одного выстрела! Но мы не доверяли врагу. Где-то совсем рядом станция Ино, а за нею и форт Ино с мощными крепостными орудиями. Ясно, у противника тут сосредоточены силы и, безусловно, немаленькие.

Заняли круговую оборону, выслали разведку. Вперед ткнется разведка — враг;

вправо, влево — враг. Враг и на дороге, и которой мы пришли сюда.

Угрюмов взялся за телефон доложить командиру полка о положении: связь перерезана. Мы окружены. Еще и еще раз послали разведку, прочесали лес из методов. И тотчас отовсюду застучали вражеские пулеметы и автоматы. Да, мы окружены и, судя по огню, большими соединениями врага.

Угрюмов приказал затаиться, не вызывать цели и открыть огонь только тогда, когда противник ринется на батальон в атаку. Выставили вперед пулеметы, замаскировали снайперов, гранатометчиков. Надо было все же доложить об обстановке командиру полка. Угрюмов пришел во взвод лейтенанта Шведова.

— Товарищи, — шопотом сказал он, — нужно срочно доставить донесение в штаб полка. Есть ли желающие добровольцы выполнить эту задачу?

— Я! Я! Я! — десятки голосов в ответ.
— Мы в окружении. Задача сложная, товарищи. Надо будет, к тому же, протянуть на обратном пути линию связи.

— Я! Я! Я! — опять десятки голосов.

Угрюмов отобрал десять человек. Группу эту возглавил лейтенант Шведов. Вперед пошли младший командир Бамбалов, бойцы Бузин и Валихметов. Группа скрылась в сосняке. Не хлопнуло ни одного выстрела: молодцы, значит вырвались из окружения благополучно.

Враг подозрительно молчал. Прошло часа три. За это время удалось разведать, что нас действительно окружают крупные силы противника. Нужны были танки. Именно за ними-то и посылал Угрюмов бойцов в штаб полка. С минуты на минуту мы ждали атаки. С минуты на минуту ждали мы и посланных в штаб полка.

Пробираясь обратно, группа лейтенанта Шведова наткнулась на вражеские цепи на дороге. Однако, применив все хитрости, наши молодцы прошли и благополучно предстали перед капитаном Угрюмовым.

Шведов передал приказ командира полка: держаться силами батальона до утра. Там, у Мятсякюля, идет сильный бой. На горе оказались в бетонированных подвалах батареи, минометы, пулеметы; построить переправу для орудий и танков абсолютно невозможно было, не выбив врага из укреплений на горе.

Итак — драться силами батальона против скопища врагов.

Капитан Угрюмов обошел все подразделения:

— Не сдавать, товарищи! Покажем белофиннам, как дерутся большевики! Во славу Родины! Во славу Сталина!

— Есть не сдавать! — отвечали бойцы.

Бой начался вскоре же. Жаркий, свирепый бой! Атака следовала за атакой. Лес наполнился повизгиванием пуль, жужжанием мин, оглушительными взрывами и грохотом падающих деревьев. Бойцы подгускали врага на двадцать шагов и нещадно резали его из пулеметов, забрасывали гранатами. В грохоте разрывов гранат было слышно, как озверело кричали на своих солдат белофинские офицеры, как ругались русские белогвардейцы.

Особенно крепко враг наседали на станковые пулеметы Алексеева и Бочмагина. Когда бой начался, отважные пулеметчики выкатили пулеметы несколько вперед и взяли все пространство перед собой под перекрестный огонь. Враг также поставил против них свои пулеметы, автоматчиков с бронебойными пулями, также скрестил огонь, но герои-пулеметчики не оставляли своих позиций. Вражеская пуля стреканула в коробку с патронами у пулемета Алексеева. Взрыв. Алексей на мгновение

замолчал. Мы подумали, погиб наш пулеметчик. Враг метнулся к нему — сбил Алексева, снова заговорил его пулемет.

Капитан Угрюмов переползал от подразделения к подразделению, во время перегруппировывал силы, и то и дело бойцы слышали его ободряющий голос:

— Отлично, товарищи! Во славу Родины! Во славу Сталина!

До утра мы продолжали отбивать яростные атаки врага, а когда совсем рассвело — с боем заняли деревишку Синиля, от которой было рукой подать и до станции Ино.

Восемь дней мы шли вперед без передышки. Враг не выдерживал нашего натиска, отходил. Однажды мы взяли в плен большую группу шюцкоровцев. Один из шюцкоровцев, узнав, что он пленен бойцами батальона капитана Угрюмова, вдруг задрожал, затрясся. Мы спросили его, чего это он так испугался. Шюцкоровец проормотал:

— Нам... нам... говорили, что Угрюмов — чорт! Наше начальство его боится.

Если враг боится, значит все обстоит хорошо.

5. Мины. Завалы. Эскарпы. Надолбы. Первые ДОТ и ДЗОТ. «Лимонадиус»

(По рассказу В. Ф. СТЕПАНОВА, лейтенанта-орденоносца, начальника инженерной службы полка)

Мы саперы, и речь наша будет о ловушках, препятствиях и заграждениях, которые воздвиг на нашем пути злой и коварный противник. Расскажем мы и о том, как мы преодолевали, уничтожали, сносили с лица земли эти ловушки, заграждения и препятствия.

Первое, что мы встретили на своем пути, были мины. Расположение их на местности было очень разнообразным, хитрым и неожиданным. Только разминировать одно поле, какой-либо перекресток дорог, саперная разведка доносит:

— Впереди, в кустарнике мины, товарищ командир!

Но, как правило, мины устанавливались противником на основных узлах и скрещенных дорогах, по обочинам дорог, особенно у телеграфных столбов, на железнодорожном полотне, на подходах к мостам через ручьи и речки, на улицах деревень и

сел, на лесных полянах и отдельных прогалинах в лесу и особенно на высотах. Маскировка мин в большинстве случаев была очень небрежной. Мина после установки или засыпалась снегом, или на нее бросались солома, сено, ветки ельника, какая-либо тряпка. Объяснялось это тем, что враг производил минирование отступая, наспех.

Мы обнаруживали минные поля и по спознавательным знакам: красные и белые столбики, затесы на деревьях, торчащие из-под снега шнурки, проволока, нитки. Излюбленным приемом маскировки, особенно в селах и деревнях, были «приманки» — велосипеды, швейные машины, одежда, часы, браслеты, чемоданы, столы, накрытые яствами и как бы только что оставленные удравшими хозяевами. Были даже случаи, когда враг минировал трупы своих солдат.

По своему действию мины делились на следующие типы:

1. **Нажимные** — взрывающиеся при нажатии. Достаточно было опустить на такую мину предмет весом в восемь килограммов, как мина тотчас же взрывалась.

2. **Натяжные** — взрывающиеся при натяжении ниток, бечевки, проволоки. Эти мины встречались больше в лесу, в кустарниках, в домах и особенно под «приманками».

3. **Мины замедленного действия**.

4. **Мины с проводами**, взрывающиеся при включении электрического тока от небольшой батарейки. Эти мины в большинстве случаев применялись при подрыве мостов.

По виду мины были разнообразны. То тарельчатые-металлические (две тарелки, в нижней заряд из плавленого тола с промежуточным детонатором из пресованного тола и приспособлениями для взрыва), то в форме банок из-под краски, бутылчатых гранат, то деревянные — в ящиках, то попросту в кусках ржавой водопроводной трубы. Всего за время войны мы встретили 28 разновидностей мин.

Вторым препятствием, которое преградило нам путь сразу же после перехода границы, был лесной завал. Препятствие это представляло собой беспорядочное нагромождение срубленных деревьев, преимущественно ели и сосны. Длина завалов в иных местах достигала нескольких километров, ширина — до восьмидесяти пяти метров. В завалах таились натяжные мины; все ветви деревьев, особенно посредине или перед концом завала, спутывались предательскими шнурками или проволокой. Завалы к тому же простреливались из расположенных за ними траншей или окопов.

С исключительным старанием враг воздвигал на нашем боевом пути противотанковые препятствия — рвы, эскарпы, контрэскарпы и надолбы. Со всеми этими четырьмя видами противотанковых препятствий мы также познакомились вскоре после перехода границы.

Ров обычно проходил по равнинной местности, перерубая дороги, поля, луга, лесные массивы. Ширина рва — от трех до четырех метров плюс противоскоростной

срез передней стенки до двух метров. Высота задней стенки, обшитой кольями и жердями, вместе с насыпью, также сделанной в дерево, достигала трех метров.

Эскарп, сооруженный, в основном, по тому же принципу, как и ров, лишь без переднего противоскоростного среза, проходил преимущественно по взгоркам и склонам высоких холмов.

Контрэскарп, напротив, был устроен совсем по-иному. Перед танком вставляла сначала насыпь, за перекатом насыпи шла на деревянных креплениях площадка шириной до двух с половиной метров, которая затем круто обрывалась в глубокий ров. Насыпи этих препятствий, как правило, охватывались накольными проволочными заграждениями. На них устраивались также защищенные огневые позиции для снайперов, автоматчиков и пулеметчиков.

Следующим видом противотанковых препятствий были надолбы. Это стена из гранитных валунов, раздробленных глыб или специально оторванных от скал брусев. Камни располагались в шахматном порядке на расстоянии восьмидесяти сантиметров один от другого, поясом от трех до одиннадцати рядов. Высота надолбов в среднем полтора-два метра. Для устойчивости камни вкапывались на полметра в землю. Надолбы обычно располагались на подступах к наиболее важному в стратегическом отношении пункту обороны и защищались из хорошо укрепленных точек.

Первые ДЗОТ (деревоземляные огневые точки) финны обстреливали в погребах или овощехранилищах, укрепляя их накатами из бревен с прослойкой земли. А за Териоками мы уже встретились и с настоящими ДЗОТ от одной до четырех амбразур, с деревоземляными стенами до полутора метров толщиной.

Первые ДОТ (долговременные огневые точки) вначале были оборудованы в подвалах жилых домов, специально забетонированных или сооруженных из гранита, схваченного цементом, с толщиной стен и крыши под полом дома до одного метра. В такую ДОТ вели подземные ходы. Под ДОТ в селе Мятсякюля была даже использована церковь, стоящая на горе, на скрещении Выборгского и Койвистовского шоссе.

Таковы, в основном, препятствия, которые мы встретили на нашем боевом пути

в первые дни войны. Хитростью и коварством думал остановить враг победное шествие наших бойцов. И не только хитростью, а даже и «приманками». Но, выражаясь словами поэта А. Твардовского, работавшего в дни войны с белофиннами в нашей краснознаменной печати, —

Хоть за каждую вещницей,
Что подкинута для нас,
Мина, взрыв и смерть таятся,
Но у нас наметан глаз.
Устранив «приманки», танки
Катят наши напрямик.
Очень хитрые приманки,
Но хитрее большевик.

Мины, всю систему этих вражеских заграждений подрывного действия мы разгадали в первый же день войны. Как только сообщили в штаб полка из переправившихся на тот берег реки Сестры стрелковых батальонов, что на дорогах и в поле обнаружены какие-то взрывающиеся заряды, я тотчас выслал инженерную разведку под руководством лейтенанта-орденоносца Выборного, а вслед за разведкой — взвод подрывников лейтенанта Баркинхоева, с задачей немедленно обезвредить минированный участок.

Но мины (этой системы) оказались неизвестными нашим подрывникам. Заграничные мины. Из арсеналов Англии. Бросишь в мину камнем — взрыв. Кинешь палку — взрыв. Дотронешься жердью — взрыв. Так и стали подрывать сначала камнями, палками, жердью, мерзлыми комьями земли, а некоторые из саперов стреляли по минам из винтовок. Подорвали мины с полсотни, и заняло это у нас порядочно времени. Собрались потом в кружок, вроде как бы на производственное совещание.

— Разрешите сказать? — попросил слова красноармеец Полтавец, награжденный впоследствии орденом Красного знамени.

— Говорите, товарищ Полтавец!

— Мое слово, — так начал знатный сапер, — будет простое. Мина должна быть освоена сейчас же. Вот спю минуточку! Пусть один, трое, четверо из нас погибнут, но зато мы сохраним жизнь сотнями бойцов.

— Правильно! Освонить мину надо сейчас же, но... без жертв! — сказал я.

Одну из мин нам удалось подцепить кошкой. Мы оттащили ее с минного поля и стали внимательно разглядывать. Это была тарельчатая, нажимного типа мина. А раз нажимного — ударник капсуля, зна-

чит, не соприкасается со взрывателем, и его можно удалить. Осторожно, стараясь не надавить на верхнюю тарелку, я взялся за головку капсуля, и он легко подался вверх под движением руки влево. Когда я уже вынул капсулю, верхняя тарелка легонько качнулась, точно на пружинке. Ага, се, значит, можно снять без опаски! Сняли — и перед нами весь несложный заряд мины.

— А я думал, внутри у нее машина какая! — сказал Полтавец. — Ну, теперь и без жертв можно! — И, увлекая товарищей, Полтавец поспешил к минному полю.

Потом мы освоили и все другие типы и разновидности мин.

Не задерживали отважных саперов и лесные завалы. Вначале под музыку рывающих взрывов их растаскивали кошками, а вскоре саперы уже бесстрашно проникали в завалы, обезвреживали мины и прочищали в буреломе ходы для бойцов.

Не задерживали нас и противотанковые рвы, эскарпы, контрэскарпы и надолбы. Днем ли, во время жаркого боя, под защитой огня наших стрелковых подразделений, ночью ли, когда противник затаивался в своих норах, саперы подползали к препятствиям, закладывали в них заряды взрывчатого вещества, отползали, поджигали шнуры — и надолбы, гребни эскарпов и контрэскарпов с сотрясающим землю гулом взлетали на воздух, а в образованные взрывами проломы в препятствиях мощным потоком вливались наши танки, бойцы. Зарядами взрывчатого вещества мы подрывали и укрепленные огневые точки врага — ДЗОТ и ДОТ. Не помогали врагу ни хитрость, ни коварство.

В селении Райвола мы обнаружили ящик бутылок с какой-то жидкостью. К горлышкам бутылок были подвязаны тонкие палочки, но не деревянные, а из какого-то вещества. На бутылках — этикетки, на этикетках — надпись по-латыни: «Лимонадиус».

Сметливые саперы тотчас разгадали, что это был за «лимонадиус». Один из саперов-подрывников, взяв из ящика бутылку, поджег палочку (палочка оказалась воспламенителем) и с размаха бросил бутылку в поленицу дров. Бутылка разбилась, жидкость выплеснулась на дрова — и в тот же момент вся поленица ярко

Завязался горячий бой. Пулеметы врага застрочили и справа — со склона горы, и слева — от моря.

— Выдержка! Кто поднимется — погибнет! — вновь передавал по цепи Березин.

Лютая опасность подстерегала. У противника, по крайней мере, шесть станковых пулеметов и сотня автоматов. У нас винтовки и всего-навсего восемь дегтяревских пулеметов. Неравный бой, неравные силы. Замолчал один из наших пулеметов, кончились диски у второго. Ранен третий пулеметчик. Кто-то вскрикнул в цепи.

— Выдержка! — снова передал по цепи Березин. — Если белофинны ринутся в атаку — встречать гранатами. Сталинцы не отступают!

До рассвета сдерживали натиск финнов герои-разведчики. Раненые не уходили с боевого рубежа, продолжали огонь. Старший лейтенант Березин был впереди, метал в скопления противника гранаты. На помощь подоспели отважные угрюмовцы. Враг бежал.

Не раз мы, разведчики, спасали десятки, сотни бойцов от неминуемой смерти. Это было за Райволой. Запоздалый рассвет застал одну из стрелковых рот угрюмовского батальона на огневом рубеже. Утро выдалось сырое, тусклое. Все кругом тонуло в холодной, пронизывающей дымке. Белофинны куда-то откатились и замолкли. Невдалеке на шоссе виднелся мост через глубокий овраг. Вперед пошла разведка. Один по одному, разведчики рывком преодолели мост, оглядели местность. Метрах в полтораста от дороги влево слегка выступали из тумана два небольших домика. К одному из них вел от дороги след человека.

— Трое за мной, остальным разведать дорогу! — приказал командир отделения разведчиков Мяконьков.

След огибал домик, вел к черному ходу. Разведчики осторожно открыли дверь, вошли в просторную кухню. В пите еще тлели угли. Разведчики стали молча, сосредоточенно исследовать помещение. Дошла до последней угловой комнаты. Дверь приперта изнутри. Только нажал на нее покрепче Мяконьков — из-за двери два pistolетных выстрела. Разведчик схватился за плечо, выбежал во двор, а за ним выбежали и товарищи.

Придерживая винтовку раненой рукой, Мяконьков бросился к окнам угловой комнаты, взмахнул гранатой:

— Выходи, стервец! Сдавайся!

Из окна загремели выстрелы.

Мяконьков швырнул гранату и опять побежал в дом перехватить врага, если тот бросится из угловой комнаты в другие. Подбегая к черному ходу, он подцепил ногой заснеженный шнур. Схватился за него, встряхнул. Шнур, как струна, вздыбил тонкую полоску снега по направлению к мосту.

«Мост подготовлен врагом к взрыву. Взрыватели тут, в домике. Надо немедленно предупредить роту», — мгновенно пронеслось в голове разведчика, и он со всех ног бросился по полю, подавая подходящим к мосту бойцам знаки остановиться.

К нему подбежали разведчики-саперы и перерезали провода. Под мостом обнаружили адскую машину огромной взрывной силы. Сидевший в домике белофинн поджидал, когда на мост вступит рота, чтобы подорвать его.

Бойцы заботливо перевязывали плечо разведчика Мяконькова.

В районе Пейпуло (это уже далеко за Райволой) мы наткнулись на сильно укрепленный узел обороны врага. Девять рядов напольных проволочных заграждений прикрывали собой вражеские траншеи и ДЗОТ, расположенные на опушке матерого ельника. Подступы к проволочным заграждениям простреливались и днем и ночью из пулеметов и автоматов.

В ночь на 9 декабря решили все же перерезать проволоку. Послали четырех разведчиков с ножницами. Вернулись ребята. «Невозможно, — говорят, — порезать». Послали еще троих. Вернулись, тоже докладывают: «Порезать невозможно». И еще троих послали. Возвратились ни с чем и эти. Невозможно, да и только.

Тут сердце мое возмутилось вконец: как же это так невозможно? Что за поганое слово «невозможно»? Идет война, а не игра, тут не может быть такого слова. Поднимаюсь, подползаю к Березину:

— Разрешите, товарищ командир, я пойду?

— Убьют, — просто сказал Березин. — Ребятам верю, смельчаки. Надо артподготовку запустить. Этой музыки белофинны не любят.

— Разрешите без артподготовки?

— А ручаетесь, что не убьют? — поглядел на меня в упор Березин.

— Чувствую, не убьют. И дело сделаю, — ответил я.

— Хорошо. Берите в помощь людей, сколько вам надо.

— Мне много не надо, всего одного.

Вернулся в свой взвод, спросил у товарищей, кто пойдет со мной добровольно резать проволоку. Охотников нашлось порядком, только подзадорь. Выбрал я суховатого, но жилистого паренька, красноармейца Шилова. Взяли мы гранат по пятючку, пистолеты, винтовки, ножницы.

Перед уходом старший лейтенант Березин сказал нам, что если нам удастся порезать проволоку, проходы тотчас же займут наши бойцы. Отлично! Значит, нам можно остаться в проходе, быть, как говорится, в авангарде наступления. Березин разрешил и это.

Поползли мы с товарищем Шиловым. Метров сто отползли, поле стало ровнее, запели над головами пули. Совсем зарылись в снег, двигаемся словно кроты, снег руками разгребаем. Шиллов шепчет мне:

— Действительно стреляют стервецы. Умрем, но сделаем дело, товарищ командир.

— Браток, — отвечаю ему, — зачем умирать? Жизнь прекрасна! Дело сделаем и живы будем.

Поползли. Жуткая паутина. Девять рядов. Высота наковой сетки полтора метра. А впереди, метрах в семидесяти от проволочного ограждения, лес, оттуда и стреляют белофинны. Стреляют беспорядочно, видимо надеются, что не отважатся большевики выйти к проволоке под самое дуло пулеметов и автоматов.

И по этой беспорядочной стрельбе мы поняли: враг не заметил нас, не подозревает даже, что мы уже вытаскиваем из-за прохода, метрах в пятнадцати один от другого. Заметит враг одного, откроет по нему огонь — будет резать другой; заметит другого — будет резать первый.

Начали резать. Проволоку, чтобы не брэнчала, левой рукой зажимаем, с другой стороны — кол. Ряд порезали благополучно, другой тоже, третий, четвертый... Белофинны постреливают, а мы режем да режем. Добрались и до последнего ряда, порезали и его, пооттянули концы в стороны. Ура! Дело сделано!

От радости стучит в висках, но старший лейтенант Березин приказал всегда быть спокойными, выдержанными, не забываться и в радости, и мы с Шиловым преспокойненько залегли в одном из проходов, при-

слушиваемся, не идут ли наши? Идут! Мы даже слышим, как похрустывает снег под сапогами бойцов. Тогда, чтобы не помешать в проходе красным бойцам, мы поползли вперед, к лесу и уже ищем цель.

Из кустарника на опушке бьет из автомата белофинн. Мы каких-нибудь шагах в тридцати от него. Решили обойти автоматчика сбоку и тихо снять его прикладом, чтобы не помешал нашим. Местечко для обхода выпало удобное — канавка. Поползли.

Вдруг этот проклятый белофинн что-то пронзительно крикнул, и тотчас бешеный ливень свинца ополоснул проходы, всю паутину проволочных ограждений. Чувствую, наших взяли в кинжальные огни. Впору только отказываться, а то посекут всех. Но ведь мы-то с Шиловым останемся, значит, здесь, у врага? Враг не выпустит нас.

Стали мы пробираться обратно, к проходам. Канавка вывела к бугорку, который тянулся немного наискось невысокой грядкой. Когда переползли из канавки через бугорок, зоркий враг заметил и нас.

Залегли за бугорком, Шиллов впереди, метрах в четырех от прохода. Пули до того зазвенякали над нами, что снег на бугорке поднялся в воздух пылью, таял. Вижу, пули слизывают и слизывают снег с бугорка, вот уже брызжет на нас и земля. Пули слизывают и землю. Чувствую, ходят уже пули и по моей спине, секут халат, ватник. Одна из пуль обожгла лопатки. Чертовский огонь! Опять ожгло лопатки, ожгло и поясницу. Звенянула пуля и о верх каски. Жарко стало, прижался совсем к земле. Шиллов вдруг ойкнул.

— Ранен? — шепчу.

— Да.

— Сам ползти можешь?

— Да.

— Не бойся! Буду защищать. Оставь гранаты!

Огонь вдруг поослаб. Слышим топот в лесу, голоса. Соображаем: повысыпало их из ДЗОТ немало, еще бегут, весь лес в топоте. Незавидное у нас положение. Вот-вот бросятся к нам взять живьем. Огонь вовсе стих.

— Ползи! — шепчу Шилову. — Скажи командиру: Комендант на минуту задержался.

Шиллов пополз. Вот уже он у прохода. Из леса одиночный выстрел. Шиллов опять

эйкнул, но ползет. Я не показываюсь из-за бугорка, будто меня и нет совсем. Только было начал преодолевать проход раненый Шилов, слышу — топот. Бегут из леса. Группой, человек сорок. Подпустил я их шагов на двадцать, бросил одну за другой две гранаты. Взрыв гранат озарил на мгновение поляну, гулом отдался в лесу, все это помню отчетливо. И тотчас вопли и стоны раненых, и даже не вопли и стоны, а просто вой. Хорошо, значит, легли мои гранаты. Уцелевшие тоже упали, отползают к лесу, тащат за собой раненых. Еще бросил две гранаты. Опять гул и крики и стоны.

«Отходить, — думаю, — надо». А у меня за спиной скрип снега. Подбираются ко мне сзади. Другая группа выбегает из леса с другого боку — загородить проход. Рывком перебираюсь на то место, где Шилов оставил гранаты. Молодчага, оставил все пять. Теперь они ему не нужны, он выполз из прохода и, должно быть, далеко в поле.

Финны ползут осторожно, затаившись как звери, готовые к прыжку на выслеженную жертву. Жертва — это я. Не теряться ни при каких обстоятельствах! «Не дамся — и все», — решил я. Кроме гранат у меня еще винтовка да пистолет.

Враги накапливаются и накапливаются вокруг меня. Передние опасаются подняться, а снег все поскрипывает: подползают, значит, другие. По опыту знаю, ждать долго не годится, пропадешь. Одну за другой швыряю теперь три гранаты: вправо, влево и вперед. Грохочут взрывы. Повизгивают осколки.

— За Сталина! — кричу. — За Родину! — И, не давая врагу опомниться, бросаю в разные стороны последние три гранаты, подхватываю винтовку — и к проходу.

Но тут дьявольская штука произошла со мной. Когда я подхватывал с земли винтовку, на глаза напала каска. Поправить сразу было некогда, и вместо прохода я угодил в паутину колючей проволоки. Проволока сразу обхватила, сжала, с места не двинешься.

«Гибель, — думаю, — прощайся тут с жизнью, товарищ Комендант!»

Ох, и разоггла же меня эта оплошка! «Вот тебе, — размышляю, — и не теряйся ни при каких обстоятельствах!» Напряг все силы, колючки вонзились в мускулы рук, высвободил голову из проволоки, потом выхватил и руки. Мое счастье, что в это время рвались гранаты и растерявшийся враг метнулся от меня к лесу.

Но, когда я побежал к проходу, за мной все же бросилось человек шесть белофиннов. Бежать нельзя, подстрелят в спину. Тогда я опять взмахиваю рукой, словно бросаю гранату (в руке уже был пистолет), белофинны врассыпную, а я по отдельным фигурам открыл стрельбу.

Пробегая по проходу, наткнулся на тело. Думаю, не Шилов ли? Нагнулся — ремни. Полушубок. Лейтенант Сазонов из нашего подразделения. Не хотелось оставить тело убитого командира Красной Армии на поругание врагам. Подхватил, потащил. Ползу и убитого ташу. Метрах в пятидесяти от проволоки провалился в канаву и тут отдышался. Только в канаве почувствовал, что я весь мокрый от проступившего пота. Дали сразу знать о себе и ожоги на спине и разорванная колючками кожа на руках.

А когда я вернулся на командный пункт полка, где уже лежал, весь в бинтах, Шилов, разведчики окружили меня, обнимают, целуют, спрашивают, как мне удалось вырваться из окружения.

7. Враг бешено сопротивляется. Шюцкоровцы в нашем тылу.

Штурм укрепленной высоты 34,8

(По рассказу К. М. ИВАНОВА, красноармейца-орденоносца, наблюдателя-связного)

Часа полтора спустя после того как герои-разведчики Комендант и Шилов порезали проволоку на подступах к укрепленному узлу Пейпуло, подразделения полка неустойчиво ворвались в проходы и смяли врага. Впереди шли танки. Выкурив ав-

томатчиков из траншеи на опушке леса, танки проложили дорогу к ДЗОТ и встали перед амбразурами. Саперы подорвали эти дерево-земляные огневые точки врага.

Мы продолжали двигаться вперед, к полуострову Койвисто. С боем пересекли мы

шоссе Выборг — Териоки, с боем заняли станцию Хентопантика на железной дороге Койвисто — Выборг, с боем преодолели сложные препятствия у озера Куоломярви.

Враг уходил, сжигая все на нашем пути: села, деревни, хутора, заводы, взрывая небольшие электростанции на речках, плотины, мосты, убивая скот, расстреливая жителей, оставшихся в деревнях и ждавших прихода Красной Армии.

Мы шли по пеплу, еще дышавшему зноем; только печи да трубы, сиротливо вздымавшиеся над пепелищами, встречали мы вместо деревень. Порой мы врывались в горящие деревни, пытались тушить пожары, но дома, напоенные «лимонадиусом», таяли как свечи, огонь неистово пожирал их.

Чаще встречались теперь «кукушки». Их приходилось снимать. Распластав в воздухе крылья халатов, «кукушки» падали, как птицы. Под деревьями, на которых сидели «кукушки», мы находили бутылки из-под спиртного. Одурманенные алкоголем, шюцкоровцы не сползали с деревьев, когда мы их окружали и предлагали сдаваться в плен. Озлобленные неудачами, они пытались проникнуть и в наши тылы, поразбойничать и на наших коммуникациях.

15 декабря, за час до рассвета, дозорные сообщили в штаб угрюмовского батальона, что в наш тыл проникла, обойдя правый фланг батальона, банда шюцкоровцев до пятидесяти человек. Банда держит направление к нашим кухням. Решили, должно быть, полакомиться нашим замечательным красноармейским борщом.

Ну что ж, мы народ гостеприимный, угостили незваных гостей хорошо. Шестнадцать шюцкоровцев полегли у наших кухонь. Восемь трупов мы обнаружили на рассвете метрах в полтора от дороги. В груди у каждого торчал нож. Это были раненые, которых уцелевшие шюцкоровцы сначала тащили на себе, потом прикололи.

21 декабря мы вышли к местечку Сепрولا, остановились в густом сосновом лесу, на опушке. Дальше, за низиной, по которой протекала запруженная совсем недавно, подернутая молодым льдом речка, вставала широкой лесистой грядой высота, обозначенная на карте номером 34,8. Это был последний из укрепленных узлов на подступах к железобетонным крепостям линии Маннергейма.

Укреплен этот узел был весьма основательно: шесть ДЗОТ, расположенные по

склону высоты, перерубали огнем всю ложину. От одной ДЗОТ к другой вели глубокие траншеи. Как и в Пейпуло, высоту опоясывали мощные напольные проводочные заграждения. Мы, наблюдатели, поймали на экраны перископов и стереотруб вражеских наблюдателей и автоматчиков-кукушек, разместившихся в кронах сосняка по склону высоты.

— Занять высоту! — коротко и просто сказали командиры нашего полка, майору Яромичеву в штабе дивизии.

Командир полка долго и внимательно приглядывался к высоте, подползал к нам, глядел в наши перископы и стереотрубы, пригласил на наблюдательный пункт командира артдивизиона старшего лейтенанта Каренского.

— Видите цель?

— Уже засечена, товарищ майор.

— Снять наблюдателей и кукушек!

Два часа молотили по высоте пушки. Деревья падали. Падали с деревьев белофинны. Некоторые из снарядов чокались о гранитные глыбы, рвались не как обычно — в мутных столбах дыма, а ярко-огненными вспышками. Один из огромных камней, величиной с амбар, я разглядел в подножии высоты у проводочных заграждений.

Пушки смолкли, и опять мы увидели на нашем наблюдательном пункте командира полка майора Яромичева. Сюда же приползли начальник штаба полка старший лейтенант Москвин, комбаты и старший лейтенант Березин.

Высота уже выступала перед нами причесанная, с оголенными стволами деревьев. Вправо по склону виднелась одна из развороченных снарядами ДЗОТ. Только вал проводочного заграждения выглядел все таким же нетронутым.

— Проволоки не порезать, — сказал начальник штаба полка старший лейтенант Москвин. — По крайней мере, без жертв.

— Трудненько будет! — сказал и командир полка.

— Порежем! — возразил старший лейтенант Березин. — Пуля — не дура, смельчак не трогает. Моих парней только допустят до этого дела, обработают за милую душу!

Ночь. Батальоны, разместившиеся глубоко в лесу, развели за прикрытиями костры. Бойцы сушили портянки, валенки, ватники. Во многих подразделениях проходили партийные и комсомольские собра-

ния. Танкисты поили своих добрых коней, пополняли их боеприпасами.

После ужина в расположение полка пришли грузовики с подарками от трудящихся Ленинграда. Каждому бойцу — по пакету, а в пакетах — фуфайки, чулки, носки, перчатки, теплое белье, носовые платочки, да еще не простые, а с вышивкой, затем — шоколад, какао, конфеты, печенье, папирсы всех сортов, колбасы, сыр и прочие яства. В каждом пакете — письмо: то отчески-назидательное, от старого партизана, то милое, девическое. Мы были в чужом тогда еще лесу, вдалеке от наших границ, но родина была неотступно с нами, ласкала, нежила нас, теплое слово народа волновало и трогало. Бойцы уселись у костров писать ответные письма.

Уселся было к костру и я, но мне приказали занять ночной пост на наблюдательном пункте: к высоте ушел Комендант с тридцатью пятью молодцами-разведчиками резать проволочные заграждения. Могли быть всякие неожиданности.

В случае обнаружения разведки противником, Коменданту приказали дать красную ракету. Вот за появлением этой-то ракеты я и должен был проследить. Со мной в окопчик наблюдательного пункта залег связной командира старшего лейтенанта Березина.

Мы лежали и зорко вглядывались в темноту. На всякий случай я держал перед собой перископ. Тихо и хорошо было кругом. Я думал о милой, славной девушке, чье письмо, извлеченное мной из пакета с подарками, согревало теперь мою грудь. «Дорогой боец! — писала девушка. — Пошлю свитер, носки и мой любимый шелковый платок. У меня несчастье: хотела поехать на фронт медсестрой (имею два значка ГСО), но комиссар в Военкомате не разрешил. «Молода», — говорит...»

Вдруг кругом посветлело, в небе над высотой повисла белая ракета. Я прильнул к перископу. Несомненно, осветил враг: у Коменданта ракета не осветительная, а сигнальная и красная.

Вся высота была передо мной как на ладони. Я увидел в перископ вал проволочного заграждения и в нем три широких прохода. Один из проходов приходился как раз против большого камня, и на черном фоне его я заметил движущиеся белые фигуры. Сомнения не было, это наши разведчики. Враг их обнаружил. Ракета погасла, и все погрузилось в зловещую тьму.

Я послал связного доложить Березину, но тот уже бежал к нашему окопчику:

— Порезали?

— Да. Три прохода.

— Видел хорошо?

— Как днем. Но наши еще там!

У высоты загромыхали взрывы. Березин выпрыгнул из окопчика и скрылся в темноте. И тотчас в ложину потянулись наши пулеметчики прикрыть огнем отход разведки.

На полной скорости проскочили мимо нашего наблюдательного пункта и танки. Из-за грохота танков взрывов у высоты уже невозможно было слышать, но вспышки разрывов то и дело мелькали там, и уже поэтому можно было понять, что враг крепко насел на наших парней.

В окопчике опять появился Березин. Вскоре вспышек разрывов у высоты не стало видно, но зато послышалась трескотня пулеметов, глухая, правда, за отдаленностью. Красной ракеты все не было. Что с Комендантом? Неужто? Березин прислушивался к трескотне вражеских пулеметов, к далекому грохоту наших танков.

Но вот вблизи громко, большими очередями, заработали наши пулеметы, и Березин выпрямился в окопчике, снял каску и провел рукой по лбу.

Прошло еще минут двадцать, и на дороге захрустел снежок. Это возвращались наши разведчики.

— Комендант? — бросил в темноту Березин.

— Я Комендант, — послышался с дороги звучный, молодой голос, и над краем окопчика выросла широкая, белая фигура. Разведчик доложил своему командиру: — Задача выполнена, товарищ старший лейтенант. Сделано три прохода.

— Люди? — спросил нетерпеливо Березин.

— Все налицо, двое легко ранены.

— Что там произошло?

— Обычная история, товарищ старший лейтенант. Подрались чуток. Обнаружили нас, хотели пощеч с камня из пулеметов. Опять пустил в дело гранаты, подорвал два станковых пулемета с расчетами да порядком и шюцкоровцев. А сколько — считать было некогда. Проходы следует прикрыть пулеметным огнем, а то стервцы заделают к утру.

— Спасибо, прикроем! — поблагодарил командир. — Теперь ужинать и спать!

— Есть ужинать и спать.— И Комендант, повернувшись, пошел к своим боевым товарищам.

Бой за высоту 38,4 начался тотчас же. Пулеметчики, выручая разведку, как залегли в низине, так и не оставляли больше своего огневого рубежа. Нашупав трассирующими пулями проходы в проволочных заграждениях у высоты, они обложили их крестовым огнем, и финны уже не могли подойти к проходам.

Вышли на свои исходные положения и батальоны. Артиллеристы выкатили орудия в низину — бить по высоте с прямой наводки. В сосняке, близ опушки, рокотали уже и танки. Минометчики оборудовали свои огневые позиции недалеко от пулеметчиков.

В 8.00, когда в синем морозном рассвете стали вырисовываться оголенные стволы сосняка на высоте, первыми заговорили пушки. Изрыгая длинные языки пламени, они посылали на высоту снаряд за снарядом. С ревом понеслись на высоту и мины. Земля кругом заухала, застонала от гулких взрывов. Загрохали и разрывы вражеских мин.

В 9.00 в низину спустились тяжелые танки. Взвизгив за собой снег, грозные наземные броненосцы стремительно понеслись к высоте. За танками ринулись вперед и угрюмовцы.

Но вот передние танки, выскочив на лед запруженной речки, вдруг подались назад, некоторые наполовину погрузились в воду. Молодой лед не выдерживал тяжелых машин. Танки заметались по берегу запруды, совалясь на лед и тотчас отходили.

Непреодолимое препятствие преградило дорогу могучим боевым машинам. И в это же время на берег речки с ревом неслись вражеские мины, вздымая на откосах черные столбы дыма. Угрюмовцы залегли, танки рассеялись по берегу запруды, ища переправы.

Один из танков стремительно двинулся вправо, в обход препятствия. Это был вожак. Командовал им командир танковой роты лейтенант Преображенский. Далеко тянулась запруда, высота осталась позади, танк вошел в расположение соседнего полка дивизии. Промелькнули дозоры в сосняке, кончилась запруда, танк стремительно поворотил влево, чтобы уже через несколько минут выскочить на другой бе-

рег запруды и ударить по высоте всей мощью своего огня.

Неожиданно перед танком выросла фигура красного бойца, с винтовкой за плечами и со станковым пулеметом в руках: — Хлопцы! Возьмите на танк!

— В чем дело? — спросил лейтенант Преображенский.

— Белофинны! — Боец показал на сосновый лесок впереди, где среди деревьев мелькали белые фигуры врагов. — Много их тут виднелось, не один десяток. Сотни других бежали по низине в этот сосняк.

— Садись быстрее, а то убьют! — сказал лейтенант Преображенский.

— Не боюсь, — ответил боец. — Разрешите поставить на танк и пулемет? Огня будет больше. Будьте уверены, с «Максимом» я в ладу.

Пули уже стрекотали по танку непрерывно.

— Быстрее!

Боец втащил пулемет на заднюю площадку танка. Залег и сам, крикнул:

— Давай прямо вперед!

Танк ринулся к сосняку. Навстречу, маскируясь в глубоком снегу, ползли со связками гранат белофинские офицеры. Из танка их было трудно заметить, но боец, примостившийся на танке, разглядел. Короткая очередь, и офицеры остались на месте недвижимы.

— Молодец! — крикнул из танка лейтенант Преображенский.

Белофинны в лесу заметались. По ним застрочили одновременно и «Максим» и пулеметы из танка. Падали на них подломленные танком сосны.

Белофинны рассыпались по низине: кто бежал в сторону, а кто назад. Танк шел на них стремительно. Вот уже метров пятьдесят до врага, а боец наверху молчит. Молчат и пулеметы танка. Белофинны приободрились, думая, что у танкистов вышли все патроны. Одну за другой по срывали они с ремней гранаты. «Максим» заговорил, заговорили и пулеметы танка. Белофинны взмахивали руками, падали навзничь, тыкались с ходу в снег лицом. Ни один белофинн не ушел.

Сто пятьдесят четыре трупа оставил враг на поле сражения, по которому ходил грозный танк. Кончились патроны. Танк возвращался обратно, когда с опушки леса прогремел выстрел и в то же время на танке что-то громынуло. Это на

земле у отважного пулеметчика взорвался подсумок с патронами.

— Остановите танк! — крикнул герой.

Схватив винтовку, он прицелился во вражеского снайпера. Целился и белофинн. Выстрелы грянули одновременно. Белофинн рухнул замертво. Повалился и красный пулеметчик. Вражеская пуля не задела его, но контузия от взрыва подсумка теперь дала о себе знать.

Танкисты выскочили из башни. Пулеметчик лежал на земле.

— Мы отвезем тебя в госпиталь, — сказал лейтенант Преображенский.

— Ни за что не поеду в госпиталь! — воскликнул боец. — От такого-то горячего дела? Нет, не выйдет! Уложу еще не одного белофинна сегодня. Езжайте за патронами, а я тут подожду вас.

— Постой! Работали вместе, а друг друга не знаем. Как зовут вас? — спросил лейтенант Преображенский.

— Пулеметчик Кузьма Высоцкий, — ответил коротко боец.

Танк ушел на заправку. На заправке стояли уже и другие танки. Обходя заправку слева, они, так же как и танк Преображенского, повстречали белофинов и били их нещадно.

Обеспокоенный нашим стремительным продвижением вперед, враг бросился в этот день в яростную контратаку, пытался обойти нас с флангов и, перерезав пути боевого снабжения, опрокинуть, смять наши батальоны. Бой разгорелся не только перед высотой, но справа и слева высоты, на широком фронте.

Не переставая, грохотали пушки, рвали мины, черный дым скапливался над полем боя в густое облако. Санитары тащили из-под огня на лодочках раненых. Медицинские сестры ползком спустились в низину и перевязывали раненых под огнем.

Отброшенный танкистами с флангов, враг засел в траншеях на высоте, привел в действие боевые механизмы всех шести ДЗОТ. Пали, перебегая на тот берег заправды, восемь бойцов из подразделения лейтенанта Шведова. Упал и остался недвижим на льду и сам товарищ Шведов.

— Ориентир два, шрапнелью — огонь!

— Ориентир шесть, гранатой — огонь! — кричали командиры орудий.

Ухали и тяжелые пушки. В трех местах огонь лизал высоту, разрастаясь в боль-

шие пожарища. Угрюмовцы уже на том берегу заправды. Зловещие снежные ручейки преграждают им путь. Черные клубы дыма встают перед ними. Враг пересек подступы к высоте сплошным огнем, вперед продвинуться невозможно.

Но вот на том берегу заправды показались наши танки. Поднимая тучи снежной пыли, они прошлись по фронту, встали на минуту перед нашими цепями. На один из танков поднялся боевой командир пулеметчиков лейтенант Радченко. На этот же танк уселись гранатометчики.

— Вперед! — крикнул лейтенант Радченко. — За Родину! За Сталина!

Танк, как вихрь, пролетел залитое огнем пространство, отделявшее угрюмовцев от высоты. Вот он уже за проволокой, обходит камень против среднего прохода, поднимается к ДЗОТ, становится перед амбразурой на дыбки, принимая на себя весь огонь ДЗОТ.

Радченко и гранатометчики спрыгивают с танка, бросают в амбразуры гранаты. ДЗОТ замолчала.

— Отлично! — кричит Радченко. — Давай к другой ДЗОТ!

Танк становится на дыбки и перед другой ДЗОТ. В амбразуру также летят гранаты. Смолкает и эта крепость врага.

— К третьей! — кричит Радченко, указывая танкистам направление.

За вторым танком на высоту ворвались пулеметчики Бочмагин, Ерофеев, Махалов. Молодцы заливают огнем вражескую траншею. Белофинны в панике переползают по скрытым ходам в другую траншею, расположенную выше первой, но пулеметчики уже там, и снова ливень свинца ополаскивает врага. Белофинны падают, укрыться некуда.

— За Родину! За Сталина! — кричат пулеметчики.

Могучее «ура» опоясывает высоту. Это к высоте прорвались угрюмовцы. Все шесть ДЗОТ блокированы, расчеты в них перебиты гранатами. Смолкают и минометы, и пулеметы, и автоматы врага. Высота в наших руках!

Это был наш последний бой в предпольи. Дальше, за такой же запруженной ложиной, за ледовой гладью широкого озера, на холмах, протянувшихся по фронту цепью, встали перед нами железобетонные крепости линии Маннергейма.

Илья Авраменко

НИКОЛАЙ НАБОКО

1

В стороне от шляха, далеко-далёко,
жил да был веселый баянист Набоко.

О земле просторной, о родной Кубани
пел он, сочиняя песни на баяне.

Только дунет ветер, только грянет
вечер,
пальцы — на медяшки, ремешок —
на плечи

и — айда в просторы пашнею зеленой,
что течет без края аж до небосклона.

Солнце догорает над степной травой,
над его открытой русой головою.

А за ним девчата, а за ним ребята...

Но пришла повестка из военкомата.

И, надвинув кепку на вихор кудельный,
свой баян вложил он в ящик
самодельный.

И поехал шляхом далеко-далёко
молодой кубанец Николай Набоко.

2

Нет, нас не страшили финские метели!
Мы одним горели, одного хотели:

чтоб врага отбросить прочь
от Ленинграда,
чтобы грудью встретить, стать ему
преградой.

Только быть отважным — дело
не простое.
Но любовь к отчизне — самое святое.

И с утра до ночи, без конца и счета,
по лесным ухабам двигалась пехота.

Стыли наши кони, руки коченели,
инеем покрылись тонкие шинели,
на глазах от стужи выступали слезы...
Пропуская танки, следом шли обозы.

А за нами сосны плотною стеною
со своей дремучей белой тишиною.

А над нами небо в звездах голубое...
И одна дорога — прямо к месту боя.

3

В шалаше из елок, в сумраке глубоком,
песни о Кубани пел бойцам Набоко.

Веяло отрядным степняком с Кубани
в час, когда играл он в придорожном
стане.

На огне шипели, дымные от тленья,
из болотной пихты мокрые поленья.

Вот где довелось нам встретиться
с тобою!
Все ль у нас в порядке? Все ль
готовы к бою?

И ответил кратко рядовой Набоко:
— Все у нас в порядке. Ждем лишь
только срока... —

И. Братт

ПОГРАНИЧНЫЕ ОЧЕРКИ

У КОМЕНДАТУРЫ

Дует ветер. Сухой, резкий. Над извилистым озером курится снежная пыль. Тускнеют лесистые склоны, дальние, высокие холмы. У самого берега, раскачиваясь, тихонько звенят ледяные цветы — травы, превратившиеся в сосульки. В вечернем сумраке они кажутся стеклянными. За озерным простором медленно тает заря, строже проступает над лесом сторожевая вышка. Зажглись на заставе огни.

Пусто и тихо. Размеренно ступая, держа винтовку наперевес, хрустит валенками по снегу часовой. Фыркают у коновязей оседланные кони. Группа бойцов, в одних гимнастерках, на крыльце комендатуры старательно натирает мазью лыжные полозья. Лыжи у пограничников на вооружении, и бойцы берегут их, как и винтовки.

Темнеет всё больше. Снег становится синим, мерцают провалы озер. Свистит ветер, бьет мерзлой порошей в освещенные окна. На сигнальном колоколе, на штыве часового слабо отблескивает иней.

Ежась от ветра, бойцы собирают лыжи, переговариваясь топчутся возле крыльца. Из ленинской комнаты слышится первый аккорд гармошки. И вдруг пограничники замолкают, на секунду остаются неподвижными. Вздрагивает и круто поворачивается часовой.

Из ложины доносится выстрел. Второй. Мелькают в скнах фигуры. На крыльце появляется комендант. Спокойный, подтянутый, он поправляет наплечный ремень, подвигивает бинокль. Натягивая шинели, застегиваясь на ходу, пограничники торо-

пливо бегут через площадь. Снуют по ходам сообщения, занимают огневые точки. Тревога!

Бойцы, только что возившиеся с лыжами, уже скользят вместе со всеми по снежной целине. Левобланговый краснолицый пограничник тащит ящик с патронами, зубами натягивая рукавицу. Вверх из долины скачет верховой. В тишине четко звякают по мерзлой дороге кованые копыта.

Распарывая темноту, взлетает над лесом ракета. Рассыпается звездами. Тухнет. И почти сразу за ней, из-за строений, показывается лыжный отряд. С соседней заставы прибыло подкрепление.

— Товарищ комендант! С резервной заставы, — запыхавшись докладывает молодой командир, — прибыла поддержка... Младший лейтенант...

— Занять точку! — распоряжается комендант и под стриженными черными усами прячет короткую усмешку. Поддержка прибыла вдвое скорее против положенного срока. — Как на конях, — бормочет он довольный. — Молодежь!

Затем озабоченно спешит к аппарату. Далекая пограничная комендатура превращается в крепость.

ЖЕНА КОМЕНДАНТА

— Как на конях, — повторяет Гарькавый, и снова усмешка появляется на худощавом, загорелом лице. Расходятся морщины у рта. — На новой границе тут нас много, азиатов! С Кара-кумов, Узбекистана, Бухары... Из самого пекла в мо-

дозы попали. Привыкаем. Вот только без коня скучно.

— У вас же есть!

Гарькавый усмехается.

— Ну, какие тут кони в пехотной части! — Он подходит к окну, смотрит на заснеженные, поросшие лесом финские горы, белое озеро, молчаливый, замерзший край. — Был у меня текинец... Помнишь Маруся? У басмачей отбили. Зверь в бою, а женщина сидет — нежно-нежно ступает, будто ребенка несет.

Гарькавый задумчиво гладит лоб, смотрит на цветную кошму над сундуком, на простую кавалерийскую саблю, подвешенную за кольца ножен. С этим клинком бился против Ибрагим-бека. Триста сабель против тысяч восьмисот. Три раза ходили в атаку... Прорвали фронт. Позже втроем взяли в пещере четыре сотни басмачей. Закидали гранатами, и обезумевшие бандиты по приказу Гарькавого перевязали друг друга чалмами. А после командир басмачей, узнав, что пограничников только трое, бился от бешенства головой о камни.

С этим клинком... Комендант смотрит на жену, высокую, русоволосую, улыбающуюся. Часто, когда проходило ученье бойцов, она совала мужу грудного ребенка:

— Леша, поддержи Ирку!

И, выхватив саблю, показывала рубку молодым кавалеристам.

— А тут муж моторную лодку вместо коня обещает!

Гарькавая смеется. Блестят белые, ровные зубы. Маленькие косицы плотно увязаны на затылке.

... Пограничная застава у порогов Тянь-Шаня. Далекие белые хребты, скалы. Голая, песчаная пустыня.

Над барханами висело солнце. Изнемогая от жары, возле мазанок заставы кружил часовой. Длинная тень тянулась по пескам, доходила до древнего колодца.

В жилье было душно. Раскаленные зноем глиняные стены не держали прохлады. На крайней койке у дверей ворочался и стонал больной пограничник. Второй, здоровый, спал после ночного наряда. Остальные койки пустовали. С десятком бойцов Гарькавый срочно выехал на ликвидацию кулацкого мятежа в соседний кишлак.

Стриженная, в коротком, светлом платье, похудевшая от жары, Мария Александровна сменила на голове большого ком-

пресс, осторожно, чтобы не разбудить спящего, вышла.

— Беспокоюсь за Лешу, — сказала она командиру, заменявшему начальника.

Тот поднял выцветшие, белесые брови, послунил карандаш, тщательно записал в журнале время.

— Наше такое дело, — сказал он с гордостью и передвинул плечевой ремень. На мокрой от пота рубашке осталась темная полоса. Низенький, белоголовый, командир напоминал мальчика.

Глянув на него, Гарькавая не могла сдержать улыбку. На заставе он был второй месяц, но старался казаться старым, обстрелянным «азиатом».

— А что, товарищ Федько, если сейчас нападут на нас басмачи? — сказала она вдруг шутливо. — Нас только четверо здоровых!

— Трое, — поправил он веско. — Женщины не считаются. Они...

И не договорил. На дворе заставы сухо щелкнул выстрел, словно треснула намоленная земля. Пронзительно закричал верблюд. Командир побелел и рывком распахнул дверь.

Четко, как на экране, Гарькавая увидела цепь всадников. Их было много. Они скакали по склону холма, отрезывая ход к ущелью. Белели на солнце чалмы. С десятков конных, сверкая клинками, неслись на заставу.

— Пулемет! — высоким, юношеским голосом крикнул командир и, схватив автомат, побежал к колодцу.

Споткнулся. упал. Всадники были совсем близко. Гарькавая выстрелила в переднего. Вскинувшись свечкой, конь опрокинулся на спину. Потом застрочил пулемет. Еще одна лошадь ткнулась в песок. Басмачи закружились на месте и, повернув коней, поскакали обратно.

Часовой и здоровый пограничник залегли у мазанок. Командир с пулеметом занял тропу. До вечера они продержатся, а ночью басмачи закончат налет...

Но бандиты, видимо, не хотели даже ждать ночи. Спешившись, часть басмачей поползла в окружение.

— Четверо нас, — прошептал командир и вытер грязной ладонью лоб.

Гарькавая молчала, глядя в пещи. Кругом было тихо и пусто. Попрежнему светило солнце. На дворе заставы, задрав голову кверху, неподвижно стоял верблюд.

— Проскочу, — сказала вдруг женщина и, словно в ознобе, повела плечами. — Скажите Леше...

Командир хотел возразить, но только пошевелил пересохшими губами. Затем погладил ей руку.

Басмачи приближались. Конный отряд, обогнув ущелье, разворачивался с правого фланга. Пешие ползли слева.

— Скачи щелью, — сказал, наконец, заместитель начальника заставы. — Я постараюсь их оттянуть.

Пустив очередь по ползущим, он отбежал от колодца и залег на бугре. Бандиты остановились, затем конники с гиканьем устремились на заставу.

И в тот же момент белая лошадь без седла, с Гарькавой на спине, вынеслась со двора к ущелью.

Круто повернув, всадники помчались ей наперерез. До спуска в каменную щель женщине нужно было проскакать расстояние вдвое больше, чем бандитам.

Белая лошадь стлалась по песку. Маленькая фигура на ее спине почти сливалась с гривой. Бойцы, начальник и залегшие невдалеке бандиты следили за состоянием. Хлопнули одиночные выстрелы. Видно было, как на песке, по бокам коня взметнулись дымки пыли.

Потом расстояние начало сокращаться, и командир с тоской закрыл глаза. Еще несколько минут — белую лошадь сшибут вместе со всадником. Бандиты даже перестали стрелять. Но вдруг он от радости ескрикнул. Белый конь резко взял влево, басмачи повернули за ним в сторону холма, где лежал командир.

— Умница! — прошептал он возбужденно.

Увлеченные погоней, бандиты направились на пулемет. Четверо всадников остались лежать у бугра вместе с конями. А белая лошадь снова неслась к щели.

... Заходило солнце. Потемнели пески, багровой казалась лошадь с цепкой фигурой на мокрой, исхудавшей спине. Потом блеснули окна комендатуры.

— Застава... — только и смогла выговорить женщина, свалившись с коня.

Но объяснить ничего не требовалось. Через минуту маневренная группа неслась на выручку. А спустя полчаса, Гарькавая скакала обратно на свою заставу.

Он вошел в комнату, молодой, розовощекий, с веселыми, хитрыми глазами.

— Оксамытный. Старшина заставы, — сказал он уверенно и не торопясь сел на предложенный табурет.

Потрогал медаль «За отвагу», улыбнулся.

— До сих пор вспоминаю, — заявил потом весело, — как на границу в первый раз попал. На польскую... Ходишь, ходишь, все говорят о задержании, все приводят нарушителей. Хвалятся. Ну и я к начальнику!

«Когда же я, — спрашиваю, — товарищ начальник, нарушителя задержу?»

«Успеешь еще, Оксамытный! — ответил командир. — И верно. Успел. Да только скоро и границе той конец пришел. А я ее на-зубок знал. Сколько в стражнице людей, сколько у офицерской женки денщиков сменялось... Стерва была, сама на базар на коне едет, а денщик с громадной корзиной следом бежит... А, бывало, увидим, что офицер в город укатил, гармонь хлопцы возьмут — и на той стороне хуторяне пляшут».

Старшина снова улыбнулся, поправил белую каемку воротника. Потом, так же не торопясь, начал рассказывать.

В сентябре брали польские стражницы. Всю ночь Оксамытный просил начальника заставы послать его с первой группой. Под утро, наконец, дали ему взвод.

Было сумеречно и тихо. Слышно, как падали тяжелые капли с влажных, росистых листьев. Тускнели и меркли звезды. Над лесом проступила заря. Взвод пограничников залег у самых столбов. Стараясь не лягнуть металлом, Оксамытный перерезал колючую проволоку. Поползли. На польской стороне было попрежнему тихо. Светились в стражнице окна.

— Пулемет на дорогу! — зашептал старшина.

Но воинская часть отставала. Лейтенант не знал местности. А в стражнице зашевелились. Стукнула дверь, кто-то польски выругался. Потом грохнул выстрел.

Схватив пулемет, Оксамытный выволок его на дорогу.

— Разрешите принять команду, товарищ лейтенант? — взволнованно сказал старшина. — Я тут хорошо знаю. — И сразу, развернув группу, отрезал путь к границе.

Светало. Видно было, как суетились поляки, выскакывая в одном белье на плац, шелкалы затворами. Визгливо кричали:

— Вперед, в атаку!

Оксамытный с винтовкой наперевес кинулся к стражнице. Опередил всех и ворвался на плац. Полтора десятка польских солдат, как по команде, вскинули руки вверх. И в тот же момент рядом со старшиной шлепнулась на землю граната. Ее швырнули из воинской части, наступавшей слева. Оттуда не видели прорвавшегося вперед Оксамытного. Но гостинец не разорвался. Второпях метавший забыл сдвинуть предохранитель. Старшина подхватил гранату, сунул в карман.

Поляки больше не сопротивлялись. Лишь засевший за сараем ефрейтор открыл из автомата огонь. Его сбили с двух выстрелов.

Наскоро пересчитав пленных, старшина подошел к лейтенанту.

— Нате вашу гранату! — сказал он с легкой усмешкой. — Чеку не сняли.

Лейтенант сердито оглядел своих бойцов. Он был молод и в бой шел впервые.

В стражнице было пусто. Раскиданные патроны на полу, упавшая стойка для ружей, смятые постели. Сквозь разбитые стекла тянуло утренним холодом. В помещении офицера валялась карта, шел пар из недопитого стакана чая. Возле дивана брошен сапог, узкий, лаковый, с высоченным модным задником. Пан начальник бежал через окно, полубутый. На мокрой дорожке виднелся след сапога и растопыренных босых пальцев.

Оксамытный швырнул сапог, поднял карту. На стеклах раскрытого окна отразились блики зари. Во дворе сновали пограничники, прощупывая вражескую заставу. Двигалась к лесу воинская часть.

Старшина собрал документы, хотел уйти из комнаты. И вдруг с удивлением поднял голову. Над окном в клетке чирикнула птица. Снегирь смотрел на солнце.

Оксамытный подставил стул, бережно достал пичугу.

— Освобождение — так освобождение! — сказал он весело и разжал пальцы.

Затем пошел налаживать связь.

Пленные сидели во дворе. Все солдаты оказались налицо, за исключением убитого ефрейтора и сбежавшего офицера. Стражница была захвачена в полчаса. Оксамытный хорошо знал своих соседей.

— А теперь вот тут границу изучаем, — закончил он, поднимаясь. — Люди у нас боевые, новые. Со всех концов... Граница новая.

НОВАЯ ГРАНИЦА

Утро было ясное, тихое. В синем озере отражались сосны. Дымилась по ложине трава. Невысокие горы тянулись до самого горизонта. Там между ними, за широким завалом, пролегла граница.

Хромых шел впереди наряда по извилистой лесной тропе. Мокрые от ночной росы листья задевали лицо, шею. Холодные капли попадали за воротник, заставляли вздрагивать. Старший лейтенант оборачивался, поджидал остальных, затем снова осторожно пробирался среди лесных зарослей. Граница новая, характер местности был очень удобен для нарушителей.

Выбрав, наконец, место, лейтенант расположил секрет. Пограничники залегли справа от лесной тропы. Хромых с двумя командирами засел в тылу.

Лежали долго. Над ложниной поднялось солнце, просыхала трава, мерно стучал по осине дятел. Лесной мир был спокоен и чист, словно в далеком детстве. Лейтенант зажмурился, смახнул росинку и неожиданно услышал негромкий хруст. Кто-то шел по тропе.

Спустя некоторое время из-за завала показалось двое людей. Первый — пожилой, высокий, с небольшой бородкой, в коротком пиджаке, шерстяных гетрах. Он шел уверенно, изредка оглядываясь на окружающие кусты. Второй, помоложе, не отставая следовал за ним.

Хромых почувствовал, как заколотилось сердце. Он правильно рассчитал место засады. Стиснув рукоятку пистолета, бесшумно отвел предохранитель. Нарушители шли прямо на секрет... Вот уже несколько шагов отделяет их от пограничников. Пять шагов, три, два шага... Сверкнул штык. Без выстрела, словно из-под земли, вынырнул старший секретарь Лукьяненко. Сзади вскочили другие.

— Стой!

Пожилой нарушитель вздрогнул, сделал прыжок в сторону, но тут же остановился. Второй, с отчаянием, не пытаясь даже бежать, поднял руки.

Хромых уже стоял рядом. Он сразу перестал волноваться.

— Капитан Ториго. Шюцкоровской организации, — сказал вдруг чисто по-русски пожилой с бородкой и недружелюбно усмехнулся. — Видите, как получилось?

— Вижу. Вы на территории СССР, — ответил Хромых. — Ваше оружие!

Пожилой с усмешкой протянул нож.

— Это моя форма. Надеюсь, вы поняли, что произошла ошибка? Я ходил в своем лесу. Прошу прощения. — Повернувшись к спутнику, он спокойно добавил:

— Пойдем, Саавала! Мы не туда зашли. Это, оказывается, уже не наша земля. Новый кордон!

Он приложил два пальца к козырьку шапки и, словно ничего не случилось, повернулся, чтобы уйти. Но штык снова преградил ему дорогу.

Пожилой долго еще притворялся, пока Хромых не приказал завязать обоим глаза. Тогда капитан скис и до самой заставы не промолвил больше ни слова.

В ШТАБЕ

— Вы быстро освоили новое место, — сказал Ториго невесело и затушил в пепельнице окурки. — Устроились не хуже меня.

Полковник Донсков налил из графина воды, выпил, приглядел аккуратный, хорошо сидевший френч.

— Как сумели, господин капитан, — ответил он с чуть приметным украинским говором и неожиданно улыбнулся, сбнажив ровные, молодые зубы. — А это здание помните?

Полковник указал в окно на бывшую шюцкоровскую казарму, расположенную в небольшой роще. Капитан Ториго оказался одним из начальников контрразведки и старым русским белогвардейцем. Направлялся для диверсии в тыл. Теперь он уже не запырлялся. У полковника нашлись неопровержимые доказательства.

Капитан поглядел в окно, отвернулся.

— Помню, — ответил он вдруг зло. — Когда ваши летчики бомбили, я там в канаве лежал.

Немного погодя Ториго успокоился.

— Вы завладели Карельским перешейком так же решительно, как и устраиваетесь на нем, — сказал он с неожиданной горечью. — Финны его называли «ключом страны». А еще Клаузевиц считал, что обладание таким ключом. . .

Спыхватившись, он замолчал, вздрагивающими пальцами достал сигарету.

Полковник с любопытством на него посмотрел и, ничего не ответив, снял с полки толстую, в сером переплете, с множеством бумажных закладок, книжку.

— Вот, — сказал он спустя некоторое время, открывая страницу, — вы наверно забыли, что сказал дальше Клаузевиц: «Если полководцу вздумалось бы подчеркнуть одним словом важность такого пункта, назвав его «ключом страны», то было бы педантизмом протестовать. Напротив, в таком смысле это обозначение весьма выразительно и привлекательно. Но если из этого пустого цветка красноречия. . . — Донсков подчеркнул последнюю фразу, — хотят сделать ядро, из которого должна развиться целая система, с подобным дереву множеством разветвлений, то приходится взывать к здравому человеческому смыслу, чтобы он вернул этому выражению его истинную ценность. . .» Вы меня поняли, господин капитан?

Полковник встал и протянул руку к звонку.

— Пусть кое-кто вззовет к своему здравому смыслу, если еще не понял! После Выборга вас уже не существовало, но мы не воспользовались этим «ключом». Он нужен нам лишь для того, чтобы крепко держать на замке свою границу.

— Увести задержанного! — приказал он затем вошедшему на звонок лейтенанту.

Сгущаются сумерки. Над лесом всходит луна. Светлая дорожка ложится на гладком, бесснежном льду озера.

Пока зажигают лампы, в ленинской комнате, на фоне окна, группа сменившихся бойцов поет «Гранату». Они прибыли на заставу недавно, молодые еще пограничники. «Старики» демобилизовались, пришла новая смена, но она четко стережет границу.

Бесшумно работая палками, скользит вдоль завалов дозор. В белых маскировочных халатах лыжники почти не приметны. На вышках дежурят наблюдатели. Поблескивая штыком, мерно шагает во дворе заставы часовой. Через незамерзшие стекла окна видно сосредоточенное лицо склонившегося над картой начальника.

Жизнь на границе не замедляется.

А. Голиков

НЕПОМНЯЩИЙ

Ночь была тревожная. Я часто поверял посты и почти не спал. Сейчас, под утро, голова как будто налита ртутью.

Я лежу на жесткой койке в убогой белорусской хате. На стене напротив косо приколот кнопками польский календарь, показывающий октябрь 1939 года. Мы стоим на территории бывшей Польши. Я исполняю должность коменданта посадочной площадки; у меня группа бойцов, пулемет, боеприпасы и аэродромное имущество.

Хочется еще полежать, но вспоминаю, что собирался сегодня утром пойти в парикмахерскую. Встаю и одеваюсь. Я уже пристегиваю пистолет, когда в дверь стучат.

— Войдите! — говорю.

Входит красноармеец Непомнящий.

— Разрешите обратиться, товарищ воентехник?

— Пожалуйста!

— Разрешите мне итти с вами в парикмахерскую?

— Итти со мной? Но я уже назначил двух бойцов.

(Поодиночке мы с посадочной площадки никуда не выходим, на одиночек нападают из-за угла.)

— Мне бы очень хотелось. Мне очень надо, — снова говорит красноармеец.

Это хороший боец. Скромный и мужественный. Когда на нас напала банда поручика Доброжевича, Непомнящий стоял часовым у склада боеприпасов. Поляки открыли беглый огонь из орудия. Снаряды рвались возле склада, а часовому нигде было укрыться.

Одно дело — под огнем вести бой, защищаться, нападать, и совсем другое — стоять под артиллерийским обстрелом на часах, стоять открыто, лицом к лицу со смертью, как мишень. Снаряды ложились все ближе, но Непомнящий не покидал поста, будто окаменев перед охраняемой дверью.

Жизнь часовому спасли подоспевшие танкисты. Они уничтожили польский отряд вместе с орудием.

Мы бросились к Непомнящему.

— Стой! — щелкнул он затвором. — Разводящий ко мне! Остальные на месте!

Молодец Непомнящий! Все сделал по уставу. Часовой остается часовым, даже если тысячу раз умрет на своем посту.

— Мне очень надо кое-что купить, — видя мое раздумье, опять говорит Непомнящий.

— Хорошо, — соглашаюсь я. — Доложите старшине, что идете со мной: вы и Сытин.

Красноармеец благодарит, берет под козырек и уходит довольный.

До мобилизации Непомнящий работал плотником в колхозе Костромского района. Придя в армию, он не расстался с плотничьим топором и носит его в вещевом мешке вместе с другим снаряжением. В свободные от службы часы он искусно вырезает этим топором ложки и дарит их всем на память.

Домовитость у него удивительная. Даже во время военных действий Непомнящий умудрился обзавестись целым хозяйством.

с холодным голубым отливом, и яркое солнце греет плохо. Мы идем по промерзшей за ночь дороге. Колеи грязи окаменели, воздух свежий, прозрачный, наполненный запахом увядшей травы и опавших листьев. От утреннего холода тело наливается бодростью. Шаг делается легким, упругим. Мы идем, по привычке, в ногу, и лед на лужах звонко хрустит под сапогами, покрываясь лучистыми трещинками. Дружок бежит впереди. Он все обнюхивает и радостно помахивает хвостом, очень довольный прогулкой.

Головная боль давно прошла, и сейчас мне хочется повозиться, как мальчишке, или рывкнуть во всю глотку: «Ого-го-го!» Но я сдерживаюсь: ведь мне 25 лет, и я командир.

Такое утро даже молчаливого Сытина делает разговорчивым.

— Мне дочка письмо прислала, — говорит он, затягиваясь папироской. — Она уже большая, в восьмом классе. Все у них там, в Ленинграде, благополучно. Наши заводские мне поклон шлют. Вот только не пишет, кто на моем станке работает.

Он бросает окурочек в канаву, поправляет съехавшую с плеча винтовку и, помрачнев, добавляет:

— Обязательно подшипники загонят! Он у меня тонкий, станок-то, аккуратности требует. А без хозяина какая аккуратность? Уж известно!

— Я тоже письмо получил, — отзывается Непомнящий. — Сын без меня родился. Десять фунтов весит, и зовут Петром. — Он улыбается и хлопает Сытина по плечу. — Десять фунтов — и Петр! Здорово? А я тоже Петр. Теперь смекаешь? Получается Петр Петрович. Здорово?

Он так радостно смеется, что мы тоже весело улыбаемся и поздравляем его с «наследным принцем».

— Войну кончим, — мечтает вслух Непомнящий, — приедем с Дружком домой. Петру Петровичу игрушек привезем. А там годики пройдут, Петр Петрович в школу ходить начнет. А там, глядишь, и инженером-строителем станет. Приедет Петр Петрович домой, батьке избу по всем строительным наукам срубит, и буду я в ней жить да поживать.

Мы проходим мимо мелочной лавочки.

— Товарищ воентехник, — обращается ко мне Непомнящий, — зайдите, пожалуйста! Хочу игрушек сыну купить.

— Зайдемте, — соглашаюсь я.

Такие лавочки попадаются в Польше на каждом шагу. Разнообразие товаров в них поразительное. На одной полке помещаются немецкие стиральные порошки и французская пудра «Коти», всё для свадьбы и всё для похорон, приданое новорожденному и полное обмундирование польского драгуна, вплоть до сабли и револьвера. В шутку говорят, что в такой лавочке можно купить любую вещь, даже подержанный гроб.

Хозяин с пейсами и в котелке сидит за прилавком на высоком табурете. При нашем появлении он встает, кланяется и, мешая русские, польские и еврейские слова, предлагает свои товары. По привычке он торгуется, хотя никто с ним не спорит, и, размахивая руками, объявляет, что продает только за советские деньги.

Непомнящий выбирает несколько игрушек. Они сделаны из резины очень аккуратно и красиво.

— Пусть пан военный смотрит лучше, тогда он купит больше! — говорит торговец. — Уже у себя в России он таких иметь не будет.

— Уже таких иметь не будет? — вдруг зло кричит Непомнящий. — Что у нас игрушки, может быть, хуже, — это наплевать. Зато у нас танки и самолеты! А было б у нас, как у вас, и не видать бы вам советской власти как своих ушей.

Торговец слушает красноармейца, прикрыв ресницами черные, плутоватые глаза, вежливо соглашается и поспешно заворачивает покупки.

— Обидно! — уже на улице говорит Непомнящий. — Игрушки-то у нас, верно, неважные делают. Вот и красней за границей перед частником!

Мы подходим к хате, над дверью которой прибита вывеска: «Парикмахерская «Трио». Буквы на вывеске печатные, золотые, а по краям две головки: женская с неестественно большими глазами и мужская с усиками. В парикмахерской «Трио» действительно три места, хотя весь штат ее состоит из хозяина с женой.

— В хорошие времена, — объясняет нам хозяин, — держали одного мастера. — Но последние пять лет дела идут плохо. Кругом народ нищий, так что и самим-то делать нечего.

Два кресла перед засиженными мухами зеркалами занимаем я и Непомнящий, а Сытин с винтовкой в руках садится возле двери. Дружок, все обнюхав, устраивается

В самом начале кампании он завел собаку. Случилось это так:

Наша часть двигалась по старинным белорусским дорогам. Ехали ночью. На поворотах свет фар вырывал из темноты вековые дубы, стоявшие по краям дороги. Метрах в ста за ними начинался лес. Из этой лесной черноты неожиданно затрещали выстрелы. Наша автоколонна остановилась. Фары погасли. Четверенные зенитные пулеметы, установленные на грузовиках, открыли ответный огонь, и под его прикрытием стрелковая рота пошла в наступление. Поляки боя не приняли, и этим все кончилось.

Возвращаясь к машине, я осветил карманным фонарем собаку. Большая немецкая овчарка лежала в канаве на боку, с простреленными задними ногами. На луч света она открыла коричневые, слезившиеся глаза и оскалила зубы. В собачьем взгляде было столько муки, что я вытаскивал пистолет.

Но тут какой-то красноармеец присел перед собакой на корточки и, вынув индивидуальный пакет, стал ее перевязывать. Собака, прижимая уши, скалила зубы, рычала, но не кусалась. Этот красноармеец был Непомнящий.

Окончив перевязку, он стал просить разрешения взять овчарку на грузовик. Из темноты закричали: «Воентехника к майору!», и я заторопился. Не помню, что я тогда ответил красноармейцу, только раненая собака оказалась на вверенной мне посадочной площадке.

Непомнящий назвал пса «Дружком» и сколотил ему будку возле нашей хаты. Лечил он его сам, своими средствами и, к моему удивлению, весьма успешно. Теперь Дружок — любимый член нашего маленького гарнизона. Любят и ласкают его все, но он любит и слушается одного Непомнящего. Пес стоит с ним на часах, провожает спать и встречает утром. Он знает команды «смирно», «вольно» и сигнал боевой тревоги. Выполняя команды, Дружок устраивает целое представление.

Но одной собаки Непомнящему оказалось мало. Недавно ко мне явились он и старшина Горбатенко.

— У нее только сбита холка, и ей надо отдохнуть. Разрешите ее держать у нас? — сказал Непомнящий.

— У кого сбита холка? Кого разрешить держать? — не понял я.

— Лошадь! Казенная лошадь! Ее бро-

сил артиллерийский обоз. Она просто устала, а нам на посадочной площадке конь очень пригодится.

— Послушайте, Непомнящий, — возразил я, — у вас уже есть собака, теперь вы тащите какую-то клячу. У нас же войсковая часть, а не Ноев ковчег!

Всегда дисциплинированный Непомнящий смотрел на меня ясными, добрыми глазами и тихо повторял, что лошадь — казенная, что бросать ее жалко и даже старшина говорит, что посадочная площадка без лошади не проживет.

— Даже старшина говорит? — удивился я.

Горбатенко кашлянул и неуверенно подтвердил:

— Гарный конь в хозяйстве дуже треба.

Старшина — уже немолодой украинец, могучего сложения. Выслушав какое-нибудь приказание, он всегда отвечает: «Есть, товарищ командир! Усе сроблю». У него всегда все в порядке, продукты и материалы подразделения на строгом учете, и он, конечно, — авторитет. Но Горбатенко тоже любит животных и очень дружит с Непомнящим.

— Покажите-ка мне этого гарного коня! — потребовал я.

Боец со старшиной смущенно переглянулись и повели меня на улицу. Не припомню, чтобы я когда-нибудь видел таких лошадей живыми. Неимоверно худая кляча какой-то футуристической масти стояла, широко расставив разбитые ноги и безнадежно опустив голову. Россинант рядом с ней выглядел бы откормленным битьюгом.

— Гарный конь дуже треба, — пердразнил я Горбатенко. — Просто призовой рысак, его на скачки надо!

— Да, конь-то трохи хворый, — вздохнул старшина. — Но, може, отдохнет, так подожжее. Фураж-то все равно не штатной, даровой.

Непомнящий молчал, но, глядя ребра лошади, умоляюще смотрел на меня.

— Вот что, — сдался я, — с этим Пегасом делайте, что хотите! Но больше приводить на площадку животных запрещаю. Будь то кошка или кенгуру — все равно. И не вздумайте, Непомнящий, разводить кур или уток — это тоже запрещается.

Снова в дверь стучат. Это Непомнящий и Сытин. Они уже готовы.

Сегодня погода сухая, ясная, но небо

с холодным голубым отливом, и яркое солнце греет плохо. Мы идем по промерзшей за ночь дороге. Колеи грязы окаменели, воздух свежий, прозрачный, наполненный запахом увядшей травы и опавших листьев. От утреннего холода тело наливается бодростью. Шаг делается легким, упругим. Мы идем, по привычке, в ногу, и лед на лужах звонко хрустит под сапогами, покрываясь лучистыми трещинками. Дружок бежит впереди. Он все обнюхивает и радостно помахивает хвостом, очень довольный прогулкой.

Головная боль давно прошла, и сейчас мне хочется повозиться, как мальчишке, или рывкнуть во всю глотку: «Ого-го-го!» Но я сдерживаюсь: ведь мне 25 лет, и я командир.

Такое утро даже молчаливого Сытина делает разговорчивым.

— Мне дочка письмо прислала, — говорит он, затягиваясь папироской. — Она уже большая, в восьмом классе. Все у них там, в Ленинграде, благополучно. Наши заводские мне поклон шлют. Вот только не пишет, кто на моем станке работает.

Он бросает окурок в канаву, поправляет съехавшую с плеча винтовку и, помрачнев, добавляет:

— Обязательно подшипники загонят! Он у меня тонкий, станок-то, аккуратности требует. А без хозяина какая аккуратность? Уж известно!

— Я тоже письмо получил, — отзывается Непомнящий. — Сын без меня родился. Десять фунтов весит, и зовут Петром. — Он улыбается и хлопает Сытина по плечу. — Десять фунтов — и Петр! Здорово? А я тоже Петр. Теперь смекаешь? Получается Петр Петрович. Здорово?

Он так радостно смеется, что мы тоже весело улыбаемся и поздравляем его с «наследным принцем».

— Войну кончим, — мечтает вслух Непомнящий, — приедем с Дружком домой. Петру Петровичу игрушек привезем. А там годики пройдут, Петр Петрович в школу ходить начнет. А там, глядишь, и инженером-строителем станет. Приедет Петр Петрович домой, батьке избу по всем строительным наукам срубит, и буду я в ней жить да поживать.

Мы проходим мимо мелочной лавочки.

— Товарищ воентехник, — обращается ко мне Непомнящий, — зайдемте, пожалуйста! Хочу игрушек сыну купить.

— Зайдемте, — соглашаюсь я.

Такие лавочки попадают в Польшу на каждом шагу. Разнообразие товаров в них поразительное. На одной полке помещаются немецкие стиральные порошки и французская пудра «Коти», всё для свадьбы и всё для похорон, приданое новорожденному и полное обмундирование польского драгуна, вплоть до сабли и револьвера. В шутку говорят, что в такой лавочке можно купить любую вещь, даже подержанный гроб.

Хозяин с пейсами и в котелке сидит за прилавком на высоком табурете. При нашем появлении он встает, кланяется и, мешая русские, польские и еврейские слова, предлагает свои товары. По привычке он торгуется, хотя никто с ним не спорит, и, размахивая руками, объявляет, что продает только за советские деньги.

Непомнящий выбирает несколько игрушек. Они сделаны из резины очень аккуратно и красиво.

— Пусть пан военный смотрит лучше. тогда он купит больше! — говорит торговец. — Уже у себя в России он таких иметь не будет.

— Уже таких иметь не будет? — вдруг зло кричит Непомнящий. — Что у нас игрушки, может быть, хуже, — это наплевать. Зато у нас танки и самолеты! А было б у нас, как у вас, и не видать бы вам советской власти как своих ушей.

Торговец слушает красноармейца, прикрыв ресницами черные, плутоватые глаза, вежливо соглашается и поспешно заворачивает покупки.

— Обидно! — уже на улице говорит Непомнящий. — Игрушки-то у нас, верно, неважные делают. Вот и красней за границей перед частником!

Мы подходим к хате, над дверью которой прибита вывеска: «Парикмахерская «Трио». Буквы на вывеске печатные, золотые, а по краям две головки: женская с неестественно большими глазами и мужская с усиками. В парикмахерской «Трио» действительно три места, хотя весь штат ее состоит из хозяина с женой.

— В хорошие времена, — объясняет нам хозяин, — держали одного мастера. — Но последние пять лет дела идут плохо. Кругом народ нищий, так что и самим-то делать нечего.

Два кресла перед засиженными мухами зеркалами занимаем я и Непомнящий, а Сытин с винтовкой в руках садится возле двери. Дружок, все обнюхав, устраивается

около него, положив свою волчью морду на вытянутые лапы. Уши у пса настороженно торчат, и он не спускает с Непомнящего глаз. Когда парикмахер берется за кисточку, пес вскакивает и рычит. Он не хочет, чтобы хозяина касались чужие люди. Почему-то собака очень нервничает, и мы с трудом ее успокаиваем.

Я рассматриваю себя в зеркало, думаю, что напрасно в прошлый раз остригся под машинку. Без волос голова круглая, как ядро, и вся в шрамах. Руки парикмахера пахнут керосином. Это я ощущаю, когда он деликатно берет меня за нос.

В зеркале я вижу, как дверь в парикмахерскую открывается, и Сытин тревожно встает. До чего он длинный, будто вечерняя тень! И нос длинный, торчит над усами как бугшприт. В парикмахерскую входит высокая дама. На ней широкое в плечах пальто, какие носят польские модницы, и остроконечная шапочка, надвинутая на глаза. Низ лица закрывает пушистая, меховая горжетка.

Я рассматриваю даму в зеркале и гадаю: хорошенькая она или нет? Сытин подозрительно оглядывает незнакомку и, успокоенный, садится. А она вынимает из муфты браунинг и начинает стрелять.

Непомнящий давно не стригся, и его белокурые вихры очень заметны, а всем известно, что в Красной Армии волосы носят только командиры. От первого выстрела он охает и свешивается набок, касаясь одной рукой пола. Я вижу, как темной тенью прыгает Дружок. Вторая пуля врезается в мое зеркало, и осколки со звоном сыплются на мраморный подзеркальник.

Вскочив, я стараюсь достать пистолет, но рука путается в покрывающей меня простыне. Дама лежит на полу, пытаюсь выстрелить в Дружка, который ее остер-

венело грызет. Наконец, я выхватываю оружие, но Сытин меня опережает. Тихо ругаясь, осторожно, чтобы не задеть собаку, он дважды колет даму штыком. С трудом отгоняет рычащего пса прикладом и наклоняется над трупом.

— Вот так штука, товарищ командир! Да это не женщина! — Он расстегивает на убийце разорванное собакой пальто, из-под него тускло поблескивает серебряное шитье мундира.

— После! — отмахиваюсь я и бросаюсь к раненому.

Осторожно снимаем мы Непомнящего с кресла и кладем на пол, подстлав под голову салфетку. Он дышит тяжело, и при каждом вздохе на губах его пузырится кровь. Она стекает от уголка рта по щеке, оставляя в мыльной пене красную дорожку, и, капая на салфетку, расплывается алым пятном. Дружок припадает на брюхо возле раненого и, жалобно повизгивая, лижет длинным, розовым языком его лоб. Непомнящий судорожно хрипит, в горле у него что-то булькает. Он вытягивается и замирает.

У стены стоит его винтовка, на стуле лежат стальная каска и игрушки, завернутые в пестрый платок. «Петр Петрович получается! Здорово! Игрушек ему привезем», — вспоминаю я.

Горький комок подкатывается к горлу, и глаза застилает туман.

— Эх, Дружок, Дружок! — хрипло говорю я.

Дружок перестает лизать белый, как салфетка, лоб покойника, садится на задние лапы и, опустив морду, воеет. Вой то снижается до глухого рычания, то взлетает вверх стоном. От него сжимается сердце и стынет кровь. Хочется плакать и убивать.

ИСТИНЫ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ

(ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА ОЛЬГИ ФОРШ)

I

Ольга Форш принадлежит к тому поколению советских писателей, которое начало свой путь в дореволюционную эпоху. Она выросла и стала писателем в условиях старого общества. Она творчески определилась в среде, где действовали принципы буржуазной философии и искусства начала XX века. Но она весьма решительно отвернулась от этой среды. Интересы искусства, внутренняя необходимость связать их с революционной современностью — вот круг идей, где Ольга Форш искала источник определения своего места в новом общественном строе.

Вот почему так много творческих сил отдано Ольгой Форш темам культуры и искусства. Идея преемственности лучшего в культуре старого общества чрезвычайно занимает ее. Но рядом с истиной о ценности культурного наследва прошлого существует в романах Ольги Форш, посвященных этому кругу идей, немало предубеждений.

Главное из таких предубеждений — мысль о том, что в фундамент культуры современной, социалистической, должны войти и начала символистской культуры, освобожденной от своих ошибок, крайностей и уродств.

Уже в «Современниках» борются между собой два принципа в изображении реальных причин гибели Гоголя и Иванова. Здесь появляются отзвуки тех проблем, которые волновали русских символистов-философов полвека спустя после смерти Гоголя. Предвзятая идея о Гоголе, как отце русского символизма, столь распространенная у символистов, звучит и в «Современниках». Даже самое название романа многозначительно в этом смысле. Оно переключается и с суждениями Мережковского о Гоголе и со статьей Брюсова, написанной к 50-летию со дня смерти Гоголя, — «Испепеленный». В романе «Ворон» эта идея сформулирована так: «символисты выросли из нескольких мотивов, рожденных Гоголем. Только расчленив, убедить Гоголь не мог — они же сумели прекрасно, правда, утратив всю силу гоголевского чувства в обмен на свободу расширенного восприятия». Недаром так часто возвращается Ольга Форш в своей прозе к образу Гоголя. Гоголю посвящен исследовательский труд, дело жизни учителя Лагоды, героя «Ворона», романа

о символистах (1934). О Гоголе написан рассказ в последней книге Форш 1940 года — «Живописная автобиография».

Мысли и чувства, обуревающие Гоголя, Иванова, Багрецова и Пашку Шехеразаду в «Современниках», удивительно напоминают своим складом и формой выражения споры символистов.

Из романов, созданных Ольгой Форш за годы революции, три романа имеют назначение доказать жизненную необходимость символистской культуры. Эти три романа развивают свою главную мысль в исторической последовательности. В «Горячем цехе» (1927) дана эпоха 1905 года. В «Сумасшедшем корабле» (1930) — эпоха военного коммунизма. В «Вороне» — эпоха второй социалистической пятилетки (1934).

В «Горячем цехе» Ольга Форш впервые обращается к изображению революционной массы. По ряду своих внешних признаков перед читателем — историко-революционный роман. Однако восстание в казармах, революционные события 1905 года остаются фоном, на котором разворачивается история внутренней жизни Кузьмы, главного героя, вышедшего из рабочего класса, приобщившегося к культуре и сознательно отказавшегося от нее во имя революционной деятельности.

В этом романе чрезвычайно наглядна убежденность его автора в исторически-преемственной идейной связи русского символизма с пролетарской революцией. В этом своем убеждении Ольга Форш не одинока. В середине 20-х годов чрезвычайно распространилась у нас мемуарная литература об эпохе господства культуры символизма. В мемуарах И. И. Перцова, В. Пяста, Георгия Чулкова и в особенности в книгах Андрея Белого: «На рубеже двух столетий», «Начало века» и «Между двумя революциями», крайне настойчиво и времянами довольно наивно устанавливалась родственная связь, якобы существующая между русским символизмом и революцией. Русский символизм трактуется Андреем Белым и в романах Ольги Форш как своеобразный союзник русского рабочего класса, действующий лишь своими, ему присущими методами.

В романе «Горячий цех» символисты выступают как «святые простецы», как «символисты поведения». Они постигают «высшую реальность», являющуюся отражением реальной действитель-

ности. Тем самым они «выковывают нового человека». Они отворачиваются от символистско-поэтов, занятых только искусством.

Эту программу объединения пролетарских революционеров с символистами реализует в сюжете романа Серафима, участница ралений в символистском салоне, потом отказавшаяся от них во имя революции. Она становится сестрой милосердия и участвует в баррикадных боях на Пресне. Но именно она носит в себе вместе с Ерголышкой «тайну высшего сознания», приобщившись к которой Кузьма только и может стать подлинным революционером.

Теория сродства символизма и революции присутствует и в романе «Сумасшедший корабль». Эта книга — мемуары о жизни литераторов в Ленинградском Доме искусств в годы гражданской войны. В романе этом можно узнать образы ряда писателей тех лет, показаны их символистские традиции и растрепанный быт. Их существование резко контрастирует с суровыми революционными событиями. Пестрая игра «навыками упраздненного символизма» скрещивается в романе с искренним уважением автора к мужественности и боевой непреклонности революционного питерского пролетариата, с призывом к честности писателя революционной эпохи.

В «Вороне» Ольга Форш изображает уже закат литературного и философского символизма: «Это было великолепное отпевание повторившегося заново, в узком, избранном кругу, уже некогда бывшего конца века» (стр. 80).

«Ворон» — роман чрезвычайно острый по сплетению сюжетных линий. В записках эмигранта Таманина даны биографии наиболее последовательных символистов, понимавших свою программу как жизненную задачу. Комсомолка Нина Каданова получает от Таманина его записки во время своей заграничной командировки. Судьба Анички и Тихона Рубцова, рассказанная в этих записках, судьба «действенных символистов», выглядит в романе как идейная жизнь тех, кто пытался фабриковать «новое сознание» в «религиозно-философском обществе» и в символистских литературных салонах.

Самое это изображение — злая пародия. Все эти зарисовки свидетельствуют о реалистической силе сарказма Ольги Форш. Но автор не нашел в себе решимости пойти в своей критике до конца. Продажная сущность этих «эпигонов», зависимость таких шутов от своего капиталистического хозяина, в свое время от субсидий Рябушинских и Терещенков — все это осталось вне поля зрения автора «Ворона». Историческая ограниченность критики «символистов поведения» сделала для Ольги Форш невозможным осуждение бесплодной трагедии Анички и Тихона Рубцова. По мысли автора, эти герои находятся у преддверия новой революционной эпохи.

В «Вороне» есть еще один любопытный персонаж, посвятивший свою жизнь делу объединения символизма и современности. Это Лагода, который пишет труд о Гоголе как об «отце символизма». Символизм понят им не как литературная школа, а как «попытка взорвать действительность, до беспредельного раздвинуть себя». Лагода и пытается устанавить связь между миром своих христианско-мистических идей и комсомольцами-вузовцами. Но эта советская молодежь выглядит и в изображении автора и в сознании Лагоды удивительно сухой, рационалистической.

Идеи, которыми она живет, превращены в романе в мертвую и холодную схему.

Лагода с изумлением смотрит на такую молодежь, да и она сама ничего ни понять, ни оправдать не может ни в Лагоде, ни в Таманине. Непонятен для нее и трагизм положения Анички и Тихона Рубцова. Поэтому и заключительная глава «Ворона» — «Новый город», посвященная картине празднования годовщины Октября в Ленинграде, написана как несколько отвлеченный гимн коллективу, массе. Это описание проникнуто горячим сочувствием и уважением автора к зрелищу демонстрации победившего пролетариата. Но следов реального знания этих людей, их жизни, их интересов в романе нет.

В «Вороне» с наибольшей резкостью сказалось главное противоречие творчества Ольги Форш этого времени — противоречие между силой сатирического анализа остатков ушербной культуры и бесплодным стремлением внести начала этой культуры в социалистическое общество. Это противоречие ясно выражено и в стиле «Ворона», как, впрочем, и в предшествующих двух романах, отличающихся такой же целью. В тех звеньях романа, где иронически изображается вырождение «символистов поведения», появляются реалистические краски, повествование — предметное и точное. Во всех же главах и сценах романа, где пропагандируется символизм, язык приобретает сухость и холодность, изобразительная сила утрачивается.

Было бы, однако, односторонне и неверно ограничиться наблюдением этого противоречия. Важно уяснить себе, откуда оно возникло и какие последствия влечет за собой для современного советского писателя, плененного ложной исторической идеей. Страстное стремление примирить символизм и революцию означает в романах Ольги Форш этой поры яростную борьбу художника против отрицания всей старой культуры. Здесь сказалось упорное желание, хотя бы и ложно самим писателем истолкованное, найти в новой революционной эпохе место той культуре, которая его воспитала. В свете этой истины понятны предубеждения, имеющие глубокие корни в мировоззрении Ольги Форш.

В творчестве Форш оправдание символизма — не самоцель. Это для нее — частная задача, подчиненная более высокому стремлению. Главная же цель — включить прошлое в будущее, сохранить ценности старой культуры для справедливого строя, за который борется современное передовое человечество.

Ведь, в сущности говоря, все раннее, дореволюционное творчество этого писателя свидетельствует о его попытках борьбы с философией символистов. Недаром уже в 10-х годах в том же «Богдане Суховском», в «Гнездышке», в «Негодующем индусе» и многих других рассказах этой поры столько иронии направлено по адресу чистого познания потустороннего мира, которое в этих рассказах, как и в некоторых других, оборачивается житейской ловкостью, одурачиванием доверчивых искателей высшего смысла жизни. Иронии такого рода, весьма едкой к тому же, не могло бы быть здесь места, если бы автор этих рассказов пассивно поддавался влиянию философских идей русского символизма, не пытался бороться с ними. Слишком сильна была привязанность этого писателя к реальной жизни, очень уж отчетливым было его знание бытовой, четко-

вой стороны русской жизни, ее различных общественных слоев.

Влияние символизма на творчество Ольги Форш наиболее болезненным было в понимании вопросов искусства. Поэтому такое проникновенное значение придавалось ею искусству и его профессиональным интересам. В искусстве стремилась она оправдать существование творческой личности, ибо в реальной жизни творчеству не было почвы и простора.

Форш — современник расцвета и разложения русского символизма. Но именно в годы его процветания она была более чужда философским исканиям этой литературной школы, чем в некоторых пореволюционных своих произведениях. Но когда в первые годы революции началась переоценка всей старой культуры, у некоторых представителей дореволюционных кадров художественной интеллигенции появилось чувство протеста против огульного отрицания культурного наследия, свойственного тогда многим не в меру ретивым «новаторам». Из духа такого протеста родилась тогда и у Ольги Форш защита символистской культуры, которую она и сама прежде принимала с большим ограничением.

Так родилась у нее теория «символизма как поведения», теория слияния его с революцией. Теория эта во всех трех романах, посвященных данной теме, не убеждает никого, начиная с самого автора. Зато убеждает другое — здоровая и часто веселая насмешка над болезненными кривляниями эпигонов символизма, реально существующее в этих книгах представление о том, что символизм как идейное течение кончился безвозвратно.

Представление это выражено в сатирически написанных образах деятелей школы, в умных и метких наблюдениях, рассыпанных по страницам «Горячего цеха», «Сумасшедшего корабля» и «Ворона». В этой великолепной сатире — реальное, а не придуманное автором значение этих книг для современного читателя. Деградация былых деятелей символизма, в большинстве своем оказавшихся позднее в эмиграции, с сатирической остротой дана в «Вороне» в ряде персонажей, легко сопоставляемых с их прообразами: Вячеславом Ивановым («Мэтр»), Ремизовым («Чародей»), Бердяевым («Рыцарь»), Розановым («Философ»), Андреем Белым («Сапфировый юноша») и другими. Прославленные «среды» — дочные мистические бдения в знаменитой «башне» Вячеслава Иванова — описаны с на редкость здоровым чувством юмора.

Нет ничего легче, как в оценке романа «Сумасшедший корабль» отделаться указанием на противоречивость основных воззрений его автора. Однако гораздо важнее для понимания творческой программы Ольги Форш, как советского писателя, разобраться, где, даже в этой, самой запутанной ее книге побеждают истины. Они для этого писателя — в неизменном его стремлении сохранить творческую личность художника для современности, помочь их взаимному узнаванию.

Очень труден для Ольги Форш процесс таких поисков, ибо она с болью отрешается от привычных, годами созданных представлений. Особенно мучительно для нее отобрать, что из прошлого войдет в будущее, чем придется поступиться. Приходится поступиться иными, дорогими ей преданиями вскормившей ее культуры. Именно в этом субъективном мотиве — корни пессимистиче-

ских оценок судьбы многих деятелей прошлой культуры.

Но одновременно, не прекращая ни на минуту, идет огромная внутренняя работа над осмыслением будущего и настоящего. Не увидев в романах Форш этот творческий, весьма трудный процесс, значит отказаться от объяснения всех сложных ходов, которыми мастер искусства, деятель прошлой культуры приходит к революционной современности.

II

Размышления над судьбами культуры и формами ее исторической преемственности, размышления о возрождении или ущербе культуры на разной социальной почве — вот тот органический в творчестве Ольги Форш круг интересов, из которого выросла ее художественная деятельность советского исторического романиста. В литературной работе над историческим романом осуществилось идейное освобождение писателя от груза предубеждений старой культуры. Наиболее значительные исторические романы Ольги Форш: «Одежды камнем» (1925) и трилогия о Радищеве: «Якобинский завтрак» (1934), «Казанская помещица» (1936) и «Пагубная книга» (1939).

Первый исторический роман Ольги Форш «Одежды камнем» получил широкую известность, выдержал до настоящего времени 12 изданий и сделал самое имя писателя чрезвычайно популярным. Муткое повествование о заживо погребенном в одиночестве царского каземата революционере, об узнике Михаиле Бейдемане, дает представление о мрачной николаевской эпохе, о самодержавном российском строе, в котором человеческая личность приравнена к нулю. Роман этот усложнен рядом психологических проблем, повествованием от лица мемуариста, постепенно теряющего рассудок и становящегося жертвой навязчивой идеи.

Уже в этом романе намечалась развернувшаяся в последующих исторических романах Ольги Форш тенденция усложнения конкретного исторического материала философскими проблемами. Тенденция эта выражена всегда в абстрактной, рационалистической форме. В борьбе провокатора Сергея Русанина с революционером Михаилом Бейдеманом сказались, по мысли автора, не только противопоставление революционной несгибаемой воли и жестокого вероломства служителя Третьего отделения, не только борьба характера прямого, открытого и благородного с подлостью и предательством. Характеры героев, — и исторических и вымышленных, — подчинены в романе влиянию ущербной идеалистической мысли о необходимости истории, об извечно продолжающейся борьбе добра и зла.

Но советский читатель прошел мимо этих особенностей романа «Одежды камнем». Он принял его как один из первых исторических романов о страшном прошлом Российской империи. В этом причина огромного читательского успеха первого исторического романа Ольги Форш. На основе его ею был написан сценарий первого советского историко-революционного фильма «Дворец и крепость» (1925).

Небезынтересно проследить, как в этом романе вырисовывается тот круг мыслей, который несколько позднее, в романах, связанных с историей распада символизма, развернулся более ши-

роко. Уже здесь возникает мысль о смещении времени, об исторической преемственности идей, противоположных по социальному смыслу. Сначала она возникает как идея возмездия, идея моральной. Суд собственной совести предстает Сергею Русанину более злоевшим, чем суд истории, забота о памяти потомства гнетет его необычайно сильно. Все, что сметено историей, не забыто. Во имя идеи справедливого возмездия пишет Русанин свои записки. Но, шаг за шагом, происходит в романе подмена критериев моральных — идеей исторической предначертанности событий.

Чем дальше, чем сложнее становится психологический рисунок личности Русанина, тем яснее для читателя близость этого рисунка к символистским традициям Ольги Форш, к той игре «навыками упраздненного символизма», которая развернулась в «Горячем цехе», в «Сумасшедшем корабле», в «Вороне». Здесь, в романе «Одеты камнем», эта игра фантастическими смыслами событий по большей части мотивирована процессом надвигающегося сумасшествия Русанина, им самим осознанного.

Наблюдение остатков старого мировоззрения Ольги Форш в романе «Одеты камнем» интересно не только для анализа связи этого произведения с последующими романами, прямо посвященными изображению деятелей символистской культуры. Гораздо важнее другое — проследить, как этот круг идей, проистекавший из своеобразного толкования писателем проблем истории культуры, толкал его к историческому жанру. Важно выяснить, как в самой исторической тематике Ольги Форш боролись, попеременно уступая друг другу, реальные исторические наблюдения и выводы с антиисторическими предубеждениями. Борьба эта развернулась позднее в наиболее фундаментальном историческом произведении Форш — в трилогии о Радищеве.

Крайне любопытно, что другая постоянная идея Ольги Форш — о спасительности искусства, о назначении человека быть художником, тоже настойчиво и подробно разработана в первом ее историческом романе. В самые безмятежные дни своей юности Русанин мечтал быть художником.

Постоянное тяготение к живописной образности характерно и для этого романа. Оно связано со всем предыдущим и последующим творчеством Ольги Форш во всех своих элементах: философских, идейно-исторических и непосредственно описательных. Роман «Одеты камнем», несомненно, переломный в творчестве Ольги Форш, бесспорно сильно двинувший ее реально-историческое мышление, связан, тем не менее, разнообразными ходами с ее произведениями, посвященными оправданию прошлого, исторически себя исчерпавшей культуры.

Стремление к конкретности, к освождению от условного историзма, свойственное романам Ольги Форш о символизме, попытки соотносить историю и современность через тему преемственности революционного дела — все эти черты характерны для нового цикла исторических романов этого писателя, написанных уже в 30-х годах.

В романах «Якобинский закат», «Казанская помещица» и «Пагубная книга» Форш впервые в своем творчестве подошла к проблеме массового народного движения. Радищев, выразитель народных интересов, изображен в прямой и тесной связи с крестьянскими восстаниями. Эти ро-

маны глубоко оптимистичны, ибо они утверждают неизбежность победы народных масс, несмотря на временные поражения.

В «Якобинском заквасе» народные корни деятельности Радищева выражены в форме как бы теоретической, в форме описания идей и впечатлений его юности в Лейпциге: встреча с Гёте, первое сближение с масонами, первое разочарование в «просвещенной деятельности» Екатерины II. Это пора философских и жизненных исканий молодого Радищева. Роман кончается отъездом Радищева в Россию, напутствием его университетских друзей: «Несите, дороге друзья, несите в пораженную страну понятие о свободном человеке! Но будьте же и вы сами на высоте ваших слов».

В «Казанской помещице» вместе с описанием теоретических размышлений Радищева, рядом с картинами чиновного Петербурга, мира дворцовых интриг, все сильнее выступает прямое изображение крестьянской войны против крепостного строя. Рядом с эпизодами, в которых показаны весь блеск императорского дворца и в то же время внутренняя пустота монархии, пошлость и низость людей, стоящих у трона, возникают сцены, рисующие страшное и безвыходное положение угнетенного и загнанного народа. В романе раскрыт смысл принятия императрицей звания «Казанской помещицы», показана тревога правящей верхушки за свое существование, кроющаяся за деланным спокойствием Екатерины II.

Сцены, где появляется Пугачев, уже в середине романа, становятся в нем преобладающими и по удельному весу и по силе реалистического изображения. Пугачев дан в последние дни его борьбы с правительственными войсками. Особенно выразительна сцена казни Пугачева, пугавшего дворянство даже в свои последние минуты на плахе.

Герой романа, Радищев, потрясен картинами народного восстания, свидетелем которых он был. В романе «Казанская помещица» картины эти играют роль жизненного фундамента будущей книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Радищев видит, что неизбежно новое восстание, что зреют в народе силы для новой, еще более жестокой борьбы. Народная вера в дело Пугачева уже после его гибели оказывается для Радищева свидетельством несломленного революционного духа в крестьянстве.

Чрезвычайно интересен подход Ольги Форш к образу Пугачева и его соратников. В романе нет и тени изображения революционной массы как абстрактного, безликого коллектива. Расцвет умов, организаторских талантов, расцвет политических чувств: дружбы, преданности, упорства, ненависти к врагу, больше всего интересует автора. Самобытные характеры, рожденные величайшей крестьянской революцией российского прошлого, встают в этом романе.

С большим политическим темпераментом написаны сцены мгновенного возрождения, казалось бы, разбитых пугачевских войск. Идея мужицкого царя звучит в романе как выражение страсти к свободе, мечтаний о счастливой доле, о конце пыток, унижений, о расправе с мучителями-помещиками. Эти сцены романа перерастают в народную трагедию, в которой революционное движение крестьянских масс дано как предвосхищение крестьянских восстаний 1905 года и предоктябрьской эпохи.

Наиболее полно и драматично разработана эта историческая трактовка крестьянской войны в литературном сценарии Ольги Форш «Пугачев» («Красная Ночь», 1936, № 4), по которому был поставлен одноименный фильм. В этом литературном произведении найден большой масштаб исторического рисунка. Народно-комедийный тон отличает эту эпопею о недолгих победах крестьянства. Сочетание юмора и силы придает звонкообразный колорит образам Пугачева и его друзей: Хлопуши, Филिमона, Салавата. Народно-комедийная окраска образов сценария «Пугачев» подчеркивает глубокий лиризм многих сцен.

Реальность основной исторической концепции трилогии о Радищеве и сценария «Пугачев» отразилась и на некоторых элементах их стиля. Гротескность образов, отвлеченная патетика, загроможденность архаизмами все более вытесняются конкретными характеристиками, острым и живым диалогом. Последние исторические романы Ольги Форш убедительно говорят о приходе ее к реализму.

Вместе с тем, черты прежних идейных и стиливых традиций творчества писателя сказались и в трилогии о Радищеве. В заключительной части трилогии, в «Пагубной книге», трагедия Радищева звучит как привычная для героев Ольги Форш трагедия одиночества.

Отдает дань Ольга Форш и традиционному для нее стилизаторству, архаизмам, часто выглядящим как ненужное украшение. С этими следами стилизаторства связано в «Пагубной книге» и чрезмерное обилие приводимых документов, цитат, скользящих художественное изложение.

К лучшим, наиболее реалистическим главам «Пагубной книги» принадлежит: история проезда Екатерины по «потемкинским деревням» и в особенности сцена чтения Потемкиным (образ которого — один из наиболее удавшихся в романе) «Путешествия из Петербурга в Москву». Очень тонко очерчено потрясающее впечатление, произведенное на Потемкина этой книгой: смесь страха, гнева и невольного восхищения величием души Радищева.

Такие сцены «Пагубной книги» построены на широком знании исторического материала, соединенном с глубиной идейного замысла, с мастерским владением литературной техникой, с отличной обработкой языка самых различных социальных слоев эпохи. Эти черты творчества Ольги Форш говорят о ней как об одном из наиболее крупных мастеров исторического и историко-биографического жанра в советской художественной литературе.

Однако такой общей оценкой не может быть исчерпан вопрос о значении трилогии о Радищеве в творчестве Форш. Важно еще и правильно оценить самый тип исторического мышления этого писателя. Вместе с тем, необходимо верно определить место его в советской исторической прозе.

Постоянное тяготение Ольги Форш к проблематике культуры, к теме исторической преемственности культур разных эпох и классов уже само по себе толкало ее к историческому жанру. Строго говоря, не только «Одеты камнем» и «Горячий дех», не только «Современники» и «Ворон», но много рассказов, написанных, казалось бы, на современные темы, по сути, по самому подходу автора к любому их сюжету, обнаруживают стремление писателя мыслить категориями историческими. В книгах «Пятый зверь» и «Под куполом» немало вполне современных по прямой своей те-

матике рассказов, где автор любое свое отечественное или европейское наблюдение нашей эпохи стремится вдвинуть в историческую перспективу, осмыслить как явление времени. Самый крут идей, всегда волновавших творческое воображение Ольги Форш, толкал ее к историческому жанру, в котором она, в конце концов, и определилась, уже будучи советским писателем.

Но уже самый ход творчества: не от интереса к конкретной истории, по большому философско-историческим выводам, а наоборот — от общих, часто предвзятых идей к погружению в живую историческую реальность, определяла собой и характер исторического мышления этого писателя. История входит в творчество Ольги Форш как благодарный, многообразный материал для приложения к нему абстрактных идей, кажущихся автору идеями исторически-конкретными.

Поэтому для нее чрезвычайно характерен интерес именно к Радищеву, образ которого дал ей простор для высказывания привычных, излюбленных идей о неизменности борьбы основных начал в природе человеческого духа. Изменилось лишь содержание идей, привлекавших автора в образе исторического героя. Радищев, в резком отличие от героев иных романов Ольги Форш, заинтересован совсем не идеалистическими отвлеченностями. Его увлекают реальные революционные идеи. Его воспитатели — Рейналь, Жан-Жак Руссо, Мабли.

Поворот к реализму сказался в трилогии о Радищеве и на конкретизации исторической обстановки. Но этот поворот еще не сказался в методе обрисовки исторического героя, в подходе к самому его образу. Если в «Современниках» или в «Горячем дехе» конкретная историческая обстановка интересовала автора только лишь со стороны изобразительно-живописной, то совсем иначе в этом смысле написана трилогия о Радищеве. Русская деревня, быт помещичий и крестьянский, императорский Петербург, московские вельможи — все это выписано чрезвычайно подробно, с богатейшей детализацией нравов, вкусов, жизненных понятий любого социального слоя, попадающего в поле зрения романиста. Достоверность, добротность всего такого материала во всех трех книгах бесспорна.

Что же касается до образа центрального героя, то здесь реалистический рисунок ограничен характеристикой основных революционных идей Радищева и их возникновением в его личной биографии. Несмотря на детализацию в трилогии всех идейных и жизненных впечатлений, образовавших направление мыслей, чувств и самой судьбы Радищева, главному делу его жизни отведено очень мало места. Лишь в двух-трех эпизодах всей трилогии, преимущественно ближе к финалу ее, возникает речь о «Путешествии из Петербурга в Москву», появляются, правда весьма бегло, детали, по которым можно составить себе представление о творческом процессе создания этой великой «пагубной книги». Да и то процесс этот дан в самых общих психологических чертах, в самых первоначальных логических соображениях о судьбе, ждущей зрелого мыслителя.

Это соотношение подготовительного и основного материала в описании идейного развития Радищева необычайно резко. Радищев, например, — и это весьма подробно показано в романе, — проходит через все искушения масонства, выходя во все оттенки различнейших его направлений. Весь

«Якобийский заквас» — лейпцигский период — представляет искусно связанную несколькими вставными сюжетными линиями, подробно написанную историю мучительных блужданий Радищева среди хитросплетений масонских партий.

И рядом с такой, столь подробно разработанной историей исканий, а потом освобождения Радищева от влияния масонства поражает в романе скудость, с какой изложена уже не негативная, а положительная идейная программа его героя. Оде «Вольность», намечающей приход Радищева к «Путешествию», отведено всего лишь полстраницы объяснительного текста совершенно справочного характера. Два-три общих замечания об историческом смысле екатерининской эпохи, несколько слов, излагающих содержание оды, одна цитата — и все.

Таким образом, выпал из трилогии, в особенности из «Пагубной книги», материал, более всего способный дать представление о творческом духе великого русского демократа XVIII века. Оценено и воспроизведено самое политическое содержание идей Радищева. Чрезвычайно обстоятельно встает эпоха: быт, культура, политические интересы разных классов. По этим двум направлениям движется в романе вся его бесспорно реалистическая логика. Но она не охватила еще главного — не стала художественным методом в воссоздании образа самого Радищева. Он не стал в романе его подлинным героем. Он не оказался героем исторического романа. Поэтому реалистический поворот в историческом мышлении Ольги Форш оказался довольно ограниченным по охвату. Образ Радищева, в известной степени логически охарактеризованный, не стал движущим нервом трилогии, ему посвященной. Ему нехватало места и времени, чтобы развернуться в романе, ибо он оказался вытесненным обильными жанровыми сценами и, с другой стороны, рассуждениями на исторические темы.

Эти особенности в повествовательном методе трилогии удивляют резкой противоположностью художественных средств, на них затраченных. Ярмарка и жизнь в Лейпциге, празднества Екатерины в Москве, проезд через потемкинские деревни, сам Потемкин, отдельные портреты и характеристики — все это написано с обычной для Ольги Форш живописной красочностью. Точность, предметность изображения в таких сценах не мешают выразительно высказанным чувствам восторга и горечи, не мешают иронии. В обширнейших же абзацах, страницах, главах объяснительно-исторического характера удивляет утрата всех этих красок, рассудочный и временами даже справочный стиль повествования.

Вот эта-то перегруженность трилогии теоретическим объяснительным материалом, довольно механически присоединенным к пестрым жанровым, бытовым картинам, не обогащает, как это могло бы показаться на первый взгляд, а сужает реалистический размах всего произведения.

Резко выраженная драматичность, соединенная с философской проблемностью, — таков основной структурный принцип исторической прозы Ольги Форш. Вот почему реальный характер исторического героя мало занимает воображение этого исторического романиста. Не характер Гоголя и Иванова, а положения, в которые эти герои поставлены автором, и широкая внесторонняя проблематика, вызванная этими удивительными судьбами, — вот в чем интерес «Современников»

для самого их автора. Поэтому сама реальная история, как бы детально она, казалось бы, в романе ни выступала: в жанровых сценах, в диалогах, в искусно стилизованной под данную эпоху авторской речи, — на самом деле только фон для демонстрации философской проблематики. Большой исторический характер никогда не был для Ольги Форш внутренней художественной задачей. Самый круг проблем, ее волновавших: судьбы культуры, ее преемственность, ее исторические кризисы, все это не предполагало в качестве обязательного условия интерес к большому историческому образу, способному в романе выразить исторический смысл эпохи.

Прямой материал книги Ольги Форш: люди, события, обстановка, — почти всегда подчеркнуто национальный. По таким прямым показателям Форш — совершенно русский писатель, с отличным чувством языка различнейших социальных слоев как в современности, так и на историческом материале. Но по кругу излюбленных идей она же — писатель, весьма близкий некоторым течениям западноевропейской литературы. И особенно это ощутимо в ее исторических романах, в их стойкой традиции изображения борьбы логических концепций на материале истории.

Трудно было бы объяснить все дело одним влиянием символизма. Влияние это в основных воззрениях писателя изжито. Да и в пору расцвета символизма Ольгу Форш всегда больше привлекал его эстетический максимализм, его воззрения на искусство. Собственно же философские воззрения символистов всегда поддавались у нее ироническому осмыслению — отсюда такое обилие сатирических портретов больших и малых мэтров школы.

И однако же, несмотря на критику символизма: его понятий, людей, навыков, тяготение к философскому абстрагированию исторических понятий у Форш постоянно.

Символизм в России сложился под большим влиянием разнородных традиций европейского искусства XIX века, в частности под сильнейшим влиянием немецкого романтизма. Осложненными национальными и историческими особенностями, немецкий романтизм в философии и искусстве был запоздало усвоен уже спустя столетие русскими символистами.

На факт такого усвоения указывают прямые признания теоретиков символизма. Андрей Белый в статье «Эмблематика смысла» недвусмысленно писал: «Символическое искусство последних десятилетий... ничем почти не отличается от приемов вечного искусства... мы встречаемся с возвратом к забытым формам немецкого романтизма» («Символизм», 1909). Не только конкретные ссылки на имена столпов немецкой идеалистической философии и эстетики пестрят в книге «Символизм». Самые положения немецких романтиков ясно звучат в ней. И из них наиболее примечательно воспроизведение антиисторического универсализма романтиков.

В статье «Смысл искусства» (в той же настольной теоретической книге символистов) Андрей Белый утверждает, как и немецкие романтики, основополагающую, уравнивающую все виды познания роль творчества. Универсализм, поиски всеобщих категорий жизни, философии и искусства как раз присущи немецкому романтизму на грани XVIII и XIX столетий. Но там он имел глубокую национально-историческую почву, родив-

шую «немецкую идеологию», по определению Энгельса.

В этом искании всеобщих связей явлений выразился процесс освоения мелкобуржуазной Германии от феодализма. Перенесенные же на абсолютно чуждую им историческую и национальную почву, воззрения эти прозвучали в теории русского символизма догматически, не имея никаких перспектив для своего развития и, по существу, оторванные от самого русского символистского искусства. Таким образом, речь может идти не об унаследовании, не о прямой исторической преемственности между немецкими романтиками и теорией русского символизма, а лишь о бледных отражениях, о стремлении создать себе родословную. Вот почему, возникая уже в творчестве отдельных писателей, эти влияния звучали в еще более отраженной форме идей, а не в образах, не в стиле. Так именно и отражены они в творчестве Ольги Форш.

Именно по причине тяготения к универсализму судьба искусства была одной из главных тем немецкого романтизма. Фридрих Энгельс во «Фрагментах» определяет романтизм в искусстве как всеобщую историческую категорию.

Все эти «всемирные», универсальные признаки романтического искусства в теории немецких романтиков предполагали отрицание и пренебрежение к герою, к характеру. «Только бы не куклы — не так называемые характеры» (*Новалис*). «Так как ограниченное только для того избирается, чтобы через него показать абсолютное, то герой уже с самого начала не столько персонаж, сколько символический, и таким он должен быть взят в романе» (*Шеллинг*, «Философия искусства»).

Разумеется, вопрос об исторических корнях русского символизма далеко не исчерпывается анализом запоздалого влияния немецких романтиков на теории и художественный метод русских символистов. Этот вопрос гораздо шире и имеет самостоятельное значение. Поэтому мы не касаемся здесь ни вопроса о французских символистах, являющихся прямыми предшественниками символистов в России, ни всех других элементов этой сложной культуры.

Нужно сказать еще, что русские символисты сосредоточились на производных, а не на решающих положениях немецкой романтической школы начала XIX века. Они превратили эти положения скорее в форму застоя философской теоретической мысли, чем в ее подлинное движение. Из наследия немецких романтиков теоретическая мысль символистов усвоила, таким образом, идеи о втором смысле явления, о многозначности звучащего слова, о метафоричности поэтической речи.

Ольга Форш начала свою деятельность уже в эпоху распада русского символизма, в эпоху угасания его идей. Но далеко еще не изжитая была поэтика, целых два десятилетия насаждавшаяся на русской почве. Как писатель, она усвоила символистские эстетические каноны, применяя их с первых же творческих шагов.

И отражения, теоретические наработки этого, в свое время крайне влиятельного, течения русской культуры надолго сказались в ее творчестве. Сказались они не только в форме конкретных литературных приемов, а и в виде рассуждений, исторических и философских. Сказались они в усвоенном символизмом у немецких романтиков абстрагировании исторического процесса. Сказались

они, в частности, и в отрицании типичности, в отсутствии внимания к реальному историческому характеру.

Живучесть старых воззрений о противопоставности искусству большого реального образа, способного нести на себе груз широких философских идей, убежденность в служебном значении человеческого характера, подчиненного абстрактным идеям, — все эти остаточные-символистские взгляды, взятые в свое время от немецких романтиков, сыграли, нам думается, в структуре образа Радищева едва ли не решающую роль. Традиция привлечения исторических персонажей для роли рупора внеисторических категорий человеческого духа носила весьма прочный программный характер в творчестве Форш. Поворот к реализму в трилогии о Радищеве не оказался еще до конца решительным поворотом в самих художественных принципах подхода к истории и ее героям. Фигура Радищева ушла в трилогии на второй план, как художественный образ, как исторический характер.

В этой связи следует остановиться и на вопросе о языке исторических романов Ольги Форш. Сложность этого вопроса состоит в том, что различие между языком автора и языком героев этих романов далеко не случайно.

Живое чувство реального исторического языка изображаемой в трилогии эпохи, свойственное этому писателю, делает речь персонажей красочной, художественно убедительной при всех архаистических ее излишествах. Иное дело язык самого автора. Временами Ольга Форш сама стилизует свой авторский текст под лексику XVIII века. Но наиболее характерны для этой речи другие черты, связанные с общими представлениями теоретиков русского символизма о поэтическом языке.

Убежденность в том, что язык искусства — язык особенный, не похожий на бытовую речь ни по лексике, ни по семантике, ни по ритму, пронизывает и теоретические декларации и художественную практику русского символизма. Как и многие другие его воззрения, эта убежденность отражала несамостоятельность его теоретических взглядов. Взгляд на особенные цели и структуру литературного языка был заимствован от тех же немецких романтиков. В свое время Авг. Шлегель утверждал необходимость философского типа речи в романе. Поэтический язык, по теории романтиков, — носитель универсальной роли искусства, поэтому он должен резко отличаться от повседневного языка. «Поэтам полезно удаляться от обыденного языка», — таково утверждение Авг. Шлегеля.

Принцип метафоры и метафорического стиля — один из основных в воззрениях немецких романтиков на язык искусства. В поэтике Новалиса устанавливаются два основных процесса художественной речи: разложение речи на многообразные значения одних и тех же понятий и, вместе с тем, универсальное объединение в одном словесном выражении различных смыслов. Внесение многообразия в смысл поэтического слова, совмещение смысловых противоположностей — все это было для романтиков средством возвращения слову функции искусства. Принцип оживления эмпирического, «чувственного» начала в художественной речи вызывал требование вещественного, живописного языка. Принцип универсальности требовал в то же время насыщения речи (в произведениях искусства) широким кругом абстрактных понятий.

Русские символисты широко развивали эти понятия о сущности поэтического языка. У Ольги Форш эстетические понятия — символистские, а прямые наблюдения над действительностью или размышления над темами историческими тяготеют к реализму. Поэтому, когда она описывает прямо образ человека и в особенности его разговорную речь, у нее появляются реалистические краски, меткость определений, юмор, сатирические интонации. Когда же, — и это особенно ясно в исторических ее романах, — Ольга Форш излагает свои авторские мысли и чувства по поводу героев и событий, язык ее приобретает все типические свойства речи, установленные эстетическими канонами символизма. Рационалистическая игра разными смыслами понятий, патетическая приподнятость авторской интонации, обильная инверсия, искусственная ритмизация речи рядом с широким потоком живописных изобразительных представлений о мире — так выглядит авторская речь Ольги Форш. И эти особенности авторского языка находятся в резком противоречии с реалистической речью героев, что особенно рельефно выступает в трилогии о Радищеве.

Вопрос о противоречивом столкновении языка героя и речи авторской в этом произведении, как и во всем творчестве Ольги Форш, связан, следовательно, с общими противоречиями ее творчества. Они состоят в непрекращающейся борьбе остатков ранее сложившегося мировоззрения писателя с реалистическими его элементами, развивавшимися в революционную эпоху.

В трилогии, посвященной Радищеву, продолжает еще звучать философско-историческая мысль об извечной борьбе добра и зла. Изменилось ее реальное содержание: история, в теперешнем понимании писателя, движется в постоянном возрождении извечно существовавших идей революционных. «Смерть обоих властителей дум его века, — так чувствовал Радищев, — создаст могучее требование немедленного преемства их дела. Ведь едва король умер, немедленно возмещается новый король. «Le roi est mort — vive le roi!» Ведущие человечество к свободе смелая мысль и воля — им ли оставаться без преемника?»

Но, при коренном изменении содержания идеи о повторяемости истории, неизменной осталась сама эта логически абстрактная мысль. И при этом условии создание крупного исторического характера — вряд ли осуществимая задача, которую впрочем автор трилогии себе и не ставил. Его интересовало движение ряда общих идей, из которых попржнему преобладает давняя его, любимая мысль о спасении человека через искусство.

В этих основных воззрениях писателя на реалистическую природу в историческом жанре советского искусства и должен произойти решающий сдвиг. И тогда займут подобающее им место все достоинства этого прозаика как мастера исторического повествования. Блестящие комбинации художественного вымысла с документальными историческими фактами, острая драматичность, выразительная живописность рисунка, свободные переходы в изображении противоположнейших социальных слоев, естественно звучащая у героев историческая речь, иногда еще, правда, перегруженная архаизмами, — все эти свойства исторической прозы Ольги Форш богато продемонстрированы в трилогии о Радищеве. Но они, недостаточно цементированные центральным историческим характером, сильным образом героя, существуют

как бы отдельно друг от друга, подчас нейтрализуются и даже иногда проходят мимо читательского внимания.

И отсюда выясняется роль, место, своеобразие Ольги Форш как советского исторического романиста.

Нет никакой нужды заниматься искусственной классификацией, раскладыванием наших мастеров исторической прозы по полочкам, создавать в этом вопросе некую табель о рангах. Но принципиальные различия в самом типе художественно-исторического мышления, существующие у советских исторических романистов, бесспорно существенны и интересны.

Не случайно исторический роман Алексея Толстого получил всеобщее признание. Признана была не только сила изобразительного таланта его автора в живописании конкретной исторической обстановки. Главная причина этого признания — мощь исторического характера, созданного в «Петре I». Петр в романе Алексея Толстого — самая типическая фигура своего времени, при всей оригинальности и грандиозности своего гения. В сочетании обрисовки личности Петра и величия его исторического дела самое, быть может, значительное — смелое нарушение привычной традиции видеть типическое обязательно измельченным в отдельной индивидуальности, непременно представленным в некоем «среднем представителе эпохи». Исторический смысл образа Петра в романе Алексея Толстого в том, что из всех необыкновенных судеб его героев судьба Петра самая необыкновенная и в этом смысле сильнее всего доносит пафос петровской эпохи. Петр, как исторический характер, отразил самые главные черты своего времени. Вот почему не живость деталей, не даже великолепный исторически сочный язык, не искусная комбинация исторических фактов с близкими им вымышленными биографиями составляют главную причину успеха и подлинной художественной ценности романа о Петре. Все эти качества хорошей исторической селектриски присутствуют в «Петре I», но одних только их было бы совершенно недостаточно для той роли, какую приобрел в нашей литературе этот роман.

Петр, как исторический характер, — самый крупный образ в советской исторической прозе. Тем самым, метод создания его несет в себе возможности целого художественного направления в нашем историческом романе. Это направление наносит и уже реально в свое время нанесло чувствительный удар той линии советского исторического романа, которая строилась как историческая эксцентрика. Исторический характер, созданный в «Петре I», противостоит такой структуре исторического романа, в котором сюжет — обязательно анекдот, а характер — обязательно парадоксальный. «Петр I» сделал невозможным продолжение той линии исторической прозы Ю. Н. Тынянова, какой она была на рубеже 20—30-х годов. Стало ясно, что эксцентрика и музейно-раритетный принцип в выборе исторических фактов и в их трактовке, сказавшись в «Поручике Кижее», в «Восковой персоне» и даже в «Вазир-Мухтаре», — исчерпались, оказались весьма узкой площадкой исторического мышления. Эти книги были искусной филигранной «работой на историческом материале». А вот «Кюхля» и «Пушкин» подлинно реалистические исторические романы Тынянова. Пусть «Пушкин» противоречив и

неравномерен, так как творчески-психологические проблемы преобладают над реально-историческими в методе обрисовки созревания личности Пушкина. Но так или иначе, конкретные исторические интересы эпохи, а главное образ Пушкина, как образ героя исторического романа, как исторический характер, стал основным материалом творчества Тынянова — исторического романиста.

Это стремление крупнейших наших мастеров исторической прозы к созданию больших исторических характеров тем более важно, что историческая беллетристика все еще затоплена у нас частностями, историческими эпизодами, — то помельче, то покрупнее, но именно эпизодами. И этот мелкий размер больших целей советского исторического романа происходит часто под прикрытием так называемого интереса к исторической достоверности, когда история подменяется пышным декоративным нагромождением исторического рекавизита, «чтобы было похоже». Можно было бы привести длинный список исторических романов, культивирующих этакий оперный псевдоисторизм. Авторы их весьма мало занимает общая историческая концепция эпохи. Им важно другое — насовать в повесть или роман побольше предметных деталей, призванных представлять от исторической подлинности. Такой исторический, а по существу антиисторический эмпиризм часто превращает величайшие исторические страсти в безобидные жанровые картинки, в затопление романа музейным рекавизитом.

Историческая декоративность, в известной мере, бывает свойственна иногда и весьма крупным историческим романам. Даже в трехтомном «Ра-

зине Степане», по определению Горького, — «шелками вытканном», эта самоцветная игра шелков иногда скрывает самый узор, самую историческую мысль автора. Даже в этом замечательном произведении самодовлеюще понята достоверная историческая деталь временами мешает повествованию, погоня за «всамделишными» предметами эпохи и всякие бытовые подробности иногда заменяют собою реальное движение истории.

Художественно-историческое мышление Ольги Форш чуждо таких излишеств, чуждо перегрузке повествования внешней видимостью истории. Мера, вкус, такт, свойственные ее художественному рисунку, избавили жанровые сцены ее исторических романов от какого бы то ни было нажима. Но, вместе с тем, художественно-исторические интересы Ольги Форш покамест далеки еще от создания большого исторического характера.

Разбить в собственном творческом сознании предубеждение о раздельном существовании общей идеи исторического романа и его центрального героя — вот где источник нового художественного подъема для этого крупнейшего исторического романиста. Тогда рассуждения на исторические темы перестанут быть только рассуждениями, а плотно и нераздельно войдут в художественную ткань романа. Справки и документы перестанут играть роль лишь дополнительных материалов. Отбор языковых средств станет более широким, речь исторически-точная освободится от архаизмов, от игры словесными раритетами, зазвучит свободно, со всей силой таланта этого писателя. Искания Ольги Форш в области исторического романа еще не завершены.

Б. Реизов

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ БАЛЬЗАКОВЕДЕНИЯ

Почти столетие посмертной жизни Бальзака не только не помрачило его славы, но сделало его творчество еще более близким читающему человечеству. В советской литературе наблюдается особенно острый интерес к Бальзаку, а наша критика упорно работает над его творчеством после опубликования знаменитого письма Энгельса.¹ Имя Бальзака почти не сходит со столбцов наших литературных и искусствоведческих журналов, вокруг него разгораются теоретические иногда даже весьма отвлеченные дискуссии. Вот почему хочется если не подвести итог нашим бальзаковедческим усилиям (это было бы еще преждевременно), то хотя бы резюмировать современное состояние бальзаковского «вопроса». Мы ограничимся лишь некоторыми очертаниями, так как детальное изучение творчества великого писателя только еще начинается и, к сожалению, мало влияет на общие положения, выдвигаемые или опровергаемые критикой.

1. МИРОВОЗЗРЕНИЕ И МЕТОД

Первый и, пожалуй, наиболее дискутируемый и острый вопрос был формулирован Энгельсом в вышеупомянутом письме. Бальзак — легитимист, самый упорный, самый нераскаянный сторонник монархии, католицизма, подавления личности и ее прав, ярый враг революции и народовластия, всяческой демократии. Отсюда можно было бы сделать вывод о том, что творчество Бальзака изображает мир в искаженном, неверном виде. Однако это не так и даже совсем напротив. Бальзак изображает действительность правдиво, очень правдиво, точнее многих, более прогрессивно мыслящих.

По-своему используя это обстоятельство, возрождается вновь древняя теория, особенно процветавшая в эпоху позитивной и натуралистической критики. Теория эта противопоставляет мирозерцание писателя его произведению, сознание — стихийной, «физиологической» силе творчества. Позитивная критика особенно охотно упражнялась на Бальзаке.

Бальзак — это «сила природы», сила стихийная, неразмышляющая. Творчество подсознательное, как все отправления человеческой природы, как и волевые акты и все душевные движения. Характерный для натурализма физиологический детерминизм проникает в критику широким потоком.

Бальзак — «бессознательный гений», это — художник, а не мыслитель. Он сам не знает, что творит. Он пишет, как птица поет, произвольным даром своей счастливой природы. Когда он целиком отдается этой бессознательной способности наблюдения, он бывает правдив и велик. Когда он начинает рассуждать, то это беда — он все портит. Если бы он совсем не мыслил, а только наблюдал и писал, было бы лучше.

В предшествующий период советского литературоведения это учение было широко использовано: мы имеем в виду злоупотребление понятиями субъективного намерения автора и объективного смысла его творчества. Для критиков, столкнувшихся с «бальзаковским вопросом» (так хочется назвать занимающую нас проблему), эта старая, привычная теория показалась прямо спасительной.

Действительно, она все объясняет, нужно лишь ее самое принять на веру, так как сама по себе она, конечно, непостижима.

¹ «Литературное наследство», 1932, № 2.

Присмотревшись к понятиям, которыми мы оперируем, мы без труда заметим, что в таком сопоставлении они лишены всякого смысла. Мировоззрение — это точка зрения и конкретное содержание опыта, это совокупность представлений о мире со всей их эмоционально-оценочной окраской. Может ли творчество быть чем-либо иным, как проявлением мировоззрения? Если даже за мировоззрением оставить лишь функции чисто логического мышления, то можно ли представить себе творчество, абсолютно свободное от мыслительных процессов?

Еще более странным кажется то обстоятельство, что сторонники этой «немыслимой» теории ищут ее подтверждение в словах Энгельса. Однако стоит только вспомнить всем известное письмо его к мисс Маргарет Гаркнесс, и станет ясно, что ссылки на него лишены всякого основания. Энгельс говорит о том, что Бальзак оказался правдив вопреки своим «классовым симпатиям и политическим предрассудкам», и только. Энгельс нигде не говорит о «бессознательности» творчества Бальзака.

Он говорит, что Бальзак «видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи... он видел настоящих людей будущего там, где в это время их только можно было найти». Но это не было актом биологического зрения, бессознательным или, вернее, неразумным постижением действительности. Понимание социальных процессов предполагает сложный и трудный акт познания.

Таким образом, Энгельс убедительно показал, что творчество является не подсознательным процессом, а сложным, синтетическим актом психической деятельности. С другой стороны, вследствие более глубокого понимания сущности художественного творчества, оно перестает быть чистой проекцией политической идеологии. Художественная и социальная ценность творчества может уживаться с реакционными политическими взглядами — положение, еще несколько лет тому назад казавшееся невозможным. Это общее положение, весьма расширяющее кругозор исследователя, было выработано в результате изучения творчества Бальзака. Однако эта неосменная истина послужила основанием для многих неверных выводов. Только что сформулированное положение, по существу своему отрицательное, было истолковано как положительное и превращено в некий закон, подчиняющий себе все литературные явления первой половины XIX века. Некоторые критики видят «своеобразную диалектику истории» в том, что в XIX веке писатели с «ложным» мировоззрением изображали свою эпоху лучше и полнее, чем писатели, «более

ясно и прогрессивно мыслящие». Здесь речь идет, конечно, о Стендале и Бальзаке. Другие положительно утверждают, что именно республиканские взгляды, вера в социальный прогресс, преклонение перед революцией 1789—1793 годов были причиной того, что принято называть «ограниченностью реализма». Опять-таки примером служит Стендаль.

Конечно, Стендаль имеет право требовать к себе такого же методологического подхода, что и Бальзак. Вполне законно было бы сказать о Стендале то, что так справедливо по отношению к Бальзаку, то есть приблизительно следующее:

«Правда, Стендаль был либерал и республиканец, правда, он верил в идеалы Французской революции XVIII века, во всяком случае в лозунги равенства и свободы. Тем не менее, он с великой пронизательностью заметил всю экономическую подоплеку либерализма первой половины XIX века, и наиболее беспощаден он бывает тогда, когда изображает либералов, отвыкших у аристократии общественный пирог. Либералы французские, вроде Вально, и либералы итальянские, вроде маркизы Раверси и ее кружка, стоят друг друга, но, с другой стороны, наиболее симпатичными чертами он изображал молодых революционеров, которых Энгельс, говоря о героях Бальзака, назвал «людьми будущего»: Миссирилли («Ванина Ванини»), Альтамиру («Красное и черное»), особенно Готье («Люсьен Левен») и даже Ферранте Палу («Пармский монастырь»). Стендаль сомневался в возможности революции, он не верил в социальную силу народа; но то, что он пошел против собственных своих предрассудков, является величайшей победой реализма в его творчестве».

Как видим, у нас есть все основания для того, чтобы методологический подход Энгельса к Бальзаку применить и к Стендалю. «Несмотря на» свои политические взгляды, Стендаль сумел стать реалистом. А может быть, и «благодаря им» — так как вера в идеалы революции XVIII века должна была указать ему на несоответствие этих идеалов и действительности. Как бы то ни было, но противопоставление Стендала и Бальзака в этом плане не имеет под собой никаких оснований.

Небезынтересно отметить, что это противопоставление имеет за собой традицию старой французской критики, покоящейся целиком на субъективных оценках и игнорирующей самый метод историко-литературного исследования. Еще Эмиль Фаге в своих работах о Бальзаке утверждал, что он был «глуп» (sic!), что все, что он ни говорил, было лишено крупинки здравого смысла и ясного разума, что только даром непосред-

ственного наблюдения он достигал вершин художественного мастерства. По мнению Фаге, Стендаль, наоборот, является мыслителем, а не художником. Фаге отнюдь не благожелательно настроен к философии Стендаля, но все же Стендаль, по мнению Фаге, «мыслитель», и только этим интересно его творчество. Вот почему он статью о Стендале печатает в серии «Политики и моралисты», а статью о Бальзаке — в очерках литературы XIX века.

Насколько такая точка зрения характерна для натуралистической критики и насколько она «некритична», понятно само собой. Очевидно, что учение о «ложном» мировоззрении и «правильном» творчестве восходит к натуралистической критике, так же как и противопоставление Стендаля и Бальзака как «мыслителя» и «художника». Некоторые критики с этой теоретической позиции рассматривают всю литературу XIX века, что нередко приводит их к вульгарно-социологическим суждениям.

Вместе с тем, формула Энгельса, естественно, подвергается разнообразному истолкованию. «Несмотря на» свои классовые предрассудки или «благодаря им» Бальзак правдиво изобразил свою современность? Кстати сказать, у Энгельса формулировка несколько иная: «хотя» у Бальзака были классовые предрассудки, он все же... и т. д.

Однако есть ли противоречие между «несмотря» и «благодаря»? Некоторые критики утверждали, что противоречия нет. «Благодаря» своим классовым предрассудкам Бальзак критически относился к современной ему действительности и смог точнее обнаружить природу буржуазного общества. «Несмотря» на свои классовые предрассудки он показал непригодность аристократии и т. д.

Однако, ставя вопрос таким образом, мы продолжаем пребывать в области чистой абстракции. Спор все же остается простой игрой понятий, содержание которых растворяется в неясной терминологии. Но как только мы перейдем на конкретную почву, слова приобретут точный смысл, а подлинные творческие и мыслительные процессы Бальзака станут более ясными.

Прежде всего, ответ на только что поставленный вопрос может быть совершенно различен, в зависимости от того, каких персонажей Бальзака мы имеем в виду: банкиров, маркизов, крестьян или ростовщиков? Мало того, на этот вопрос можно ответить по-разному даже тогда, когда речь идет об одной группе персонажей или даже об одном и том же персонаже. Когда, например, Бальзак изучает маркиза Д'Эпара («Дело об опеке»), то здесь его аристократ выступает в чрезвычайно привлекательном виде.

С полным правом можно утверждать, что Бальзак создал своего героя если не «вследствие», то «в согласии» со своими классовыми предрассудками.

Однако этот образ отнюдь не является апогеем современной французской аристократии эпохи Реставрации и режима Карла X. Благородный маркиз, нечто вроде Дон-Кихота, заблудившегося в мире буржуазной действительности, окружающим кажется безумцем, и как такового г-жа Д'Эпар хочет взять его под свою опеку. Бальзак создал свой образ, во-первых, «благодаря» своим классовым предрассудкам, так как хотел показать идеал аристократа, оправдывающего наследственные привилегии личными достоинствами — и высокими нравственными качествами и умственным трудом (важная политическая мысль); во-вторых, «несмотря на» свои предрассудки, так как, создав маркиза Д'Эпара, он хотел показать, что такие идеальные лица кажутся безумцами в своей среде и случайными гостями в послереволюционной аристократии; в-третьих, «вопреки» предрассудкам, так как этот идеальный аристократ выплачивает наследникам протестанта Жанрено, повешенного после Нантского эдикта, те суммы, которыми поживились за счет повешенного предки Д'Эпаров, то есть отвергает справедливость акта, который всегда оправдывал (с своей легитимистской точки зрения) сам Бальзак.

Другой персонаж — добродетельный банкир Монжено, герой «Изнанки современной истории». Конечно, он противопоставлен Нюсенженам, Дю-Тилье и др. Он добродетелен не только как человек, но и как «банкир», а потому его контора играет плодотворную социальную роль. Но если Нюсенжены, Дю-Тилье и др. созданы Бальзаком «благодаря», то и Монжено создан «благодаря», так как в этом персонаже Бальзак хотел показать идеальный образ банкира. Бальзак несколько не отрицает благотворной роли денег в современном обществе. Не следует забывать, что, по мнению Бальзака, так же как и по мнению Фурье и целого ряда других политических мыслителей той поры, «лучшие люди» страны должны состоять из аристократии крови, аристократии финансовой и аристократии таланта.

Таким образом, подсчитав, сколько у Бальзака безнравственных банкиров и добродетельных поэтов, нельзя определить ни классового сознания Бальзака, ни его политического мировоззрения. Между тем, такие попытки делались: несколько банкиров-злодеев казались достаточным основанием для того, чтобы считать Бальзака врагом капитализма и, в частности, финансового капитала. Исследователи не доглядели:

не замеченный ими персонаж разрушает всю их систему. Благородный банкир в программном романе начисто отвергает мысль о полном «неприятии» Бальзаком капиталистического развития.

Наконец, если добродетельный аристократ Д'Энар показывает, с точки зрения Бальзака, аристократию такой, какова она должна была бы быть, то другие аристократы показывают ее такой, какова она есть или, может быть, такой, какова она не должна быть (а это не одно и то же). И здесь, следовательно, Бальзак сгущает краски и «вопреки» и «благодаря». Он воспроизводит общий колорит правды, чтобы точной картиной не только заклеить современную ему аристократию, но и показать, какой она не должна быть. Опять-таки следует помнить, что легитимизм Бальзака мало был похож на легитимизм современных ему политических сторонников падшей династии. Легитимизм этот был чем-то гораздо более прогрессивным, так как капиталистическое развитие Бальзак считал необходимым, отныне неотъемлемым элементом дальнейшего социального развития. Этим и объясняется банкирская контора Монжено и К°, контора, процветающая благодаря честности владельцев.

Едва лишь мы попытались конкретизировать вопрос и изучить его на материале бальзаковских персонажей, как отношения «классовых предрасудков» и «творчества» тотчас стали гораздо более сложными.

Однако во всех только что изложенных рассуждениях мы исключали из области нашего внимания одно весьма немаловажное явление, а именно самое творчество Бальзака.

Действительно, до сих пор мы оперировали лишь «образами», извлеченными из его романов, а такой прием кажется нам величайшим методологическим пороком литературного исследования. Мы читаем роман, потом закрываем книгу, извлекаем из наших воспоминаний то, что может характеризовать интересующий нас персонаж вне всякой связи с содержанием романа и с замыслом автора, и начинаем оперировать с таким уже искаженным образом ради наших обществоведческих задач.

Прежде всего роковая ошибка заключается в том, что с персонажами романа мы обращаемся так, как оперировали бы с подлинными, живыми людьми, существующими вне целей и намерений их творца. Персонаж освобождается от романа, приобретает самостоятельное значение, вступает в иные связи. То, что в его поредении объяснялось замыслом романа, либо отпадает совсем, либо истолковывается заново, иными мотивами. никакого отношения к роману не имеющими.

Критик, в сущности, поступает здесь так, как поступают школьники, устраивающие литературные суды над Рудиным и Онегиным: он «ипостазирует» образ.

Причина этого методологического порока лежит глубже, чем это кажется. Слишком часто, а иногда даже сознательно и намеочно, содержание художественного произведения усматривают в «образах», в нем живущих. Этому учат в школе, об этом пишут в критических отделах наших журналов. Образ понимается как нечто данное, это — положительный или отрицательный герой, наделенный теми или иными раз навсегда данными психологическими качествами. Исключительное внимание к образу, слишком абстрактный подход к персонажу, «изоляция» его от всего окружающего его мира идей и эмоций, разрушение всей атмосферы, которая в значительной степени, а может быть и целиком, объясняет его, можно считать явлением положительно вредным. Это и есть та «абстракция», которая больше всего мешает критику выскочить в данный замысел или в данную систему творчества. Мы уничтожаем произведение, для того чтобы извлечь из него материал сомнительной достоверности и сделать из этого материала какие-то новые, еще более сомнительные выводы. Даже в лирике, где «действующее лицо» наиболее «случайно» и целиком растворено в «безобразной» эмоции, пытались характеристикой «лирического субъекта» заменить всякое подлинное ощущение поэзии.

Однако вернемся к Бальзаку. Желание разрушить художественное произведение и извлечь из развалин, под названием «образа», труп действующего лица превращает критика в могильщика, а творчество Бальзака — в учебник обществоведения. Конечно, Бальзак писал «историю общества» с деталями, которые оценили по достоинству величайшие экономисты и мыслители. Однако эта история — не экономическая только, а общество рассматривается Бальзаком как частица человечества.

Социальная характеристика персонажей, которую мы набросали на предыдущей странице, целиком остается в пределах учебника обществоведения. Нам хотелось показать, что даже с такой точки зрения персонажи эти сложнее и противоречивее, чем это кажется. Однако применима ли эта точка зрения к бальзаковским романам? Банкир Монжено — только ли иллюстрация возможного «честного банка»? Нюсенжен — только ли тип биржевого спекулянта, а Д'Энар — идеал аристократа? Думать так может только тот, кто не читал самых произведений или читал их лишь ради выуживания «образов». Благородный Дон-Кихот маркиз Д'Энар не мо-

жет быть идеалом трезво мыслящего Бальзака, так как он слишком непрактичен. «Блеск и нищета куртизанок» показывает нам Нюсенжена в новом свете, несмотря на всю примитивность его психологии. Тот, кто знаком с «Изнажкой современной истории», знает, сколько в этом романе страстной утопии, идиллических чаяний и сердечной умиленности. А все это не так маловажно.

Общий душевный «колорит» романа, эмоциональную тональность его мы иногда легкомысленно воспринимаем как окончательную политическую оценку, данную Бальзаком классу, к которому принадлежит его герой. Подлинное социальное значение романа заключается вовсе не в этом. Поэтому противопоставлять и классифицировать героев только по их «положению в обществе» значит не замечать их художественного, а вместе с тем и социального смысла. Постоянно, во всех своих произведениях, Бальзак хочет подняться над эмпирической данностью своего персонажа и своего сюжета. В исторически определенной эпохе, в социально детерминированном человеке он обнаруживает нечто большее, нечто свободное от уз «среды», от бытовой «плоти».

Основной идеей романтиков, принятой и глубоко усвоенной Бальзаком, был историзм, видящий в человеческой истории не только бесконечное разнообразие эпох, но и общее единство человечества. Рисуя современную ему эпоху, Бальзак обнажал ее своеобразие, для того чтобы вскрыть общечеловеческое (хотя и не надъисторическое) ее содержание, и это постоянное «возвышение» характеров и идеи за пределы исторической рамки современности делает Бальзака таким живым и близким нам, людям другой исторической формации, делает его творчество в некотором смысле «вечным». Социальная принадлежность героя — это не все, даже в персонажах третьего плана. В героях первого плана она — ничто, если не сочетается с началом общечеловеческим, если она не становится живописным воплощением символа, вместилищем общей идеи.

Конечно, социальные условия жизни, обстановка быта, производственные и профессиональные отношения изучены в «Человеческой комедии» с точностью и полнотой. Конечно, специфические особенности эпохи показаны Бальзаком с непрекаемой убедительностью. В частности, «денежный» характер эпохи всегда привлекал внимание ученых и публицистов. На все лады твердили о том, что в «Человеческой комедии» главным двигателем, главным и даже единственным вдохновителем героев, единственной целью человечества являются деньги. Без

конца повторяли, что Бальзак «разоблачил» свою эпоху, сорвал с современного человека всякие идеалистические покровы, показал меркантильность его, ту всеобщую продажность, на которой зиждется современное ему общество. Некоторое основание для этого видели и в словах Энгельса, да и сам Бальзак устами своего доктора Бьяншона говорит, что «деньги — религия нового мира».

Действительно, деньги, играющие столь большую роль в социальной жизни, должны, по мнению Бальзака, стать и двигателем драматического действия.

По словам Гёте, основная тема трагедии — это борьба героя с судьбой. У Бальзака роль внешней, противостоящей герою силы играют не рок и не провидение, а внешние бытовые условия. «Один против Необходимости, — записывает он высокосимволический сюжет, — Необходимости, превращенной в квартирохозяина, квартирную плату, прачку и т. д.». Такова драма современности.

Однако не следует преувеличивать значение денег в «Человеческой комедии». Роль их — совсем не та, о которой обычно говорят критики. В огромном большинстве случаев они являются «необходимостью», которая противостоит герою, но далеко не всегда — целью, к которой он стремится. Его часто увлекают идея, благодородная или безумная, магия, честолюбие или творческий пыл. Он скорее борется с деньгами, чем становится их покорным слугой. «Выгодой, — записывает Бальзак в составленных им самим «Мыслях Наполеона», — можно объяснить только низменные поступки».

Именно на это обстоятельство обратил внимание Энгельс, на которого так некстати ссылаются. Те герои «Человеческой комедии», которых Энгельс считал особенно значительными, не руководилисьображениями личной выгоды. «Величайшая победа» Бальзака была не в том, что он «разоблачил» аристократов или мещан, а в том, что он показал ростки будущего среди бедствий современности, показал создающие силы жизни и человечества. Поэтому понимать произведение Бальзака как явление чистой «критики», то есть критики отрицательной, было бы совершенно неверным. Не только разоблачение и отрицание, но и оправдание движения, вера в человека и его совершенствование, в его творческое развитие характерна для Бальзака. Эта черта, может быть, более существенна и более драгоценна, чем простой политический и нравственный негативизм, за который привыкли его прославлять.

Вернемся немного назад.

Мы говорили о том, что нельзя определять политические симпатии Бальзака на том основании, что тот или иной положительный или отрицательный герой его окажется банкиром, маркизом или торговцем. Такой путь не может привести ни к чему. Д'Эпар или Монжено могли удовлетворять прямо противоположным целям; они могут служить доказательством того, как хороши современные аристократы и банкиры, или же доказательством того, как далеки они от идеала. Д'Эпар или Монжено могут быть истолкованы как надежда на лучшее будущее или как плач о невозможности добродетели в современном обществе. Отсюда можно заключить, что мы предъявляем к бальзаковскому «образу» требования, которым он не может удовлетворить. Положительный или отрицательный герой из того или иного класса, погибает ли он или торжествует, не может сам по себе свидетельствовать о политическом «приятии» Бальзаком этого класса, ни тем более о классовых пристрастиях его. Из этого мы сделали вывод о том, что Бальзака, помимо материального положения его героев, интересует также и их человеческое достоинство, чувства, которые не инспирированы ни их кошельком, ни окружающим их бытом.

Теперь мы должны признаться в том, что в предыдущем изложении мы без всякого удовольствия оперировали синтаксическими конструкциями с «вопреки» и «благодаря». Мы сомневались, — признаемся и в этом, — в словах самого Бальзака, утверждавшего, что он пишет при свете двух факелов — монархии и религии. Право же, он клеветал на себя. Нам всегда казалось, что некоторые рыжеватые блики, отброшенные на его творчество двумя вышеупомянутыми факелами, не составляют подлинного его освещения. Говоря «вопреки» или «благодаря», мы невольно предполагаем, что Бальзак только и думал о том, как бы прославить аристократов и иезуитов или устроить новую Варфоломеевскую ночь. Конечно же, у него было много других задач более благородных и целей более возвышенных. Кроме аристократов и буржуазии во Франции его времени были еще французы, а кроме французов были люди. И когда Бальзак изображал людей с той силой художественной правды, которая сохранила им жизнь до сих пор, он попросту забывал о своих классовых предрассудках и политических симпатиях.

Вот почему в огромном большинстве случаев он не писал ни «вопреки», ни «благодаря». Он был свободен от предрассудков, освобожден от них полетом своей мысли и силой своих общечеловеческих сочувствий. Именно это и только

это говорит Энгельс. «Вопреки» или «благодаря» — это уже не «углубление» Энгельса, а искажение его.

Широта мысли, философский и исторический взгляд на вещи, национальность и в то же время космополитичность мысли, европейский диапазон сочувствий, все то, что освобождало Бальзака от предрассудков, — все это и составляет не «предрассудки», но мировоззрение, неразрывно, неотделимо связанное с его творчеством.

Таким образом, современное бальзаковедение пришло к разрешению весьма важного в принципиальном и практическом отношении вопроса: мировоззрение и метод Бальзака отнюдь не находятся в противоречии. Классовые предрассудки, отражаясь на целом ряде произведений, оказываются для его творчества, как и для мировоззрения, явлением периферическим. Бальзак как художник и мыслитель уходит в более свободную область, навстречу иным идеям, темам и замыслам. Реализм его отнюдь не ограничен критическим негативизмом, а предполагает и угадывает в человеке и человечестве огромную созидательную силу, которую, как некий драгоценный металл будущего, он освобождает из тяжелой руды современности.

2. ИСКУССТВО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Только что мы говорили о том, что мировоззрение и творчество Бальзака являются неким единством, расчленять которое для целей литературоведения было бы бесполезно. Творчество для Бальзака было всегда актом познания, так же как познание, постижение общих законов, ответственная конструкция — актом творчества.

Познание «правды» — задача художественная, так как действительность познана для Бальзака тогда, когда становится материалом эстетического созерцания. И наоборот, жизнь является эстетическим объектом только тогда, когда она приобретает глубокий философский смысл и обнажает перед взором свои общие законы. Вскрыть правду значит для Бальзака претворить материал действительности в искусство.

Если творчество есть мышление, то и мышление есть творчество. То, что мы обычно называем «эстетикой», является мостом от отвлеченных философских концепций к последней конкретности художественного произведения и в то же время мостом от неясных и первичных эстетических ощущений к более сложным и обобщающим представлениям.

Окончательный текст, закрепленный типографским станком, не раскроет перед нами всей «своей глубины», если исследователь игнорирует

тайную динамику идей, создавших эту сложную конструкцию. Рассматривать произведение Бальзака как более или менее удачную иллюстрацию той или иной «идеи» или как политическую программу, изложенную эзоповским языком, конечно не следует. Но именно от такой ошибки должно предупредить критику «эстетическое» изучение, которое не имеет ничего общего ни с вульгарно-социологическими поисками «идей», ни с беспочвенными вкусовыми оценками. Задача заключается в том, чтобы установить подлинный смысл художественного произведения, показать законы, определяющие творческий процесс Бальзака, движение его от ощущения к идее и от эмоции к форме. Как оперирует мысль над материалом действительности, как превращаются массы наблюдений в емкие построения искусства, какие философские сезерцания и эмоции конденсированы в этой хрупкой, прозрачной, но неизмеримо глубокой форме?

Драгоценным материалом при разрешении этой задачи являются теоретические или философские работы самого Бальзака. На каждом шагу в его романах, статьях, письмах встречаются обширные рассуждения о художественном методе, о литературных направлениях, о жанрах, стиле, смысле искусства. Задачей своих статей Бальзак считает «обсуждение средств искусства и обоснование его законов». Это разрозненные фрагменты, «трактаты об искусстве романиста», как сам он выражался.

«Трактат» этот мог бы пролить свет на некоторые стороны его творчества. Литературовед, желающий построить свои выводы на твердом основании, должен проверять их светом замыслов и намерений самого Бальзака, законами его поэтической теории.

Одно время у нас много говорили о конкретном анализе памятника. Это требование сыграло очень большую роль в нашей критике и литературоведении. Рецензентам пришлось отказываться от общих слов и общих мест, не имеющих отношения к делу, внимательнее перечитать произведение и вдуматься в него. Однако сграницивать пути исследования одним только текстом романа значит отказываться от всякой научности работы.

Многочисленные рассуждения о Бальзаке, печатавшиеся в предыдущий период, грешат именно этой преднамеренной ограниченностью материала. Вывести специфику литературы, идеологию автора или законы искусства только из самого произведения — такая точка зрения, возникшая в борьбе с субъективизмом, приводила, в свою очередь, к полному произволу субъективных суждений.

Основываясь на романе «Величие и падение Цезаря Биротто», приходили к заключению, что Бальзак — идеолог торговой буржуазии; основываясь на романе «Отец Горю», можно было бы доказать, что Бальзак оправдывает бандитизм, а «Страсть в пустыне» могла бы внушить исследователю и нивесть какие ужасные мысли. Что же касается философских эпизодов, то здесь толкований могло бы быть сколько угодно. Вот почему своеобразие литературного произведения, специфические особенности его замысла и выполнения могут быть правильно поняты только в свете общих эстетических принципов, на которых возникает, в постоянном развитии и изменении, в постоянном противоборстве идей и эмоций, огромное здание «Человеческой комедии».

Итак, можно считать в настоящее время усвоенной мыслью о том, что изучать творчество Бальзака вне его эстетики — задача праздная, что «анализ» каждого отдельного его произведения беспредель, если изучаемый роман рассматривается вне перспективы всего литературно-эстетического и философского развития Бальзака. Усвоенной также можно считать мысль о том, что «эстетика» не противопоставлена ни «философии» Бальзака, ни его «реализму», ни, тем более, социальному содержанию его романов. Эстетика Бальзака — это система его мировоззрения и творчества, это закон его реализма, без которых и самый реализм его останется для нас загадкой. Эстетика Бальзака есть его метод постижения истины — таков вывод, одинаково значимый и для его мировоззрения и для его творчества.

3. ПРАВДА И ПРАВДОПОДОБИЕ

Мы с легкостью произносим слова, смысл которых очень часто бывает неясен. Одним из таких неясных слов является термин «художественная правда». Каким образом чистый вымысел может быть правдой? Почему роман, отклоняясь от исторической достоверности, оказывается еще большей правдой, чем факт, засвидетельствованный протокольной записью?

Вопрос этот внушен не праздным любопытством теоретика. Он имел большое практическое значение для каждого оригинального творца, для каждого зачинателя нового литературного направления. Бальзак интересовался им чрезвычайно. Как добыть истину из груд фактического материала? Как написать «историю современного общества», насчитывающего десятки миллионов действующих лиц и столько же биографий? Легко сказать, найдите типическое и общее. Но что такое типическое? Если это то

же, что общераспространенное, чаще всего встречающееся. — то искусству с таким типическим делать нечего. Бальзак должен был найти единство прекрасного и правдивого, единство, без которого нет, по его мнению, ни красоты, ни истины.

Все эстетические размышления Бальзака, как и его творчество, свидетельствуют о том, что этот вопрос был для него центральным. Все глубже погружался Бальзак в тайны художественного претворения действительности, и на каждом новом этапе его творчества вопрос этот разрешался по-новому, более глубоко и более несомненно.

В то время когда он писал непритязательные романы «для сбыта», ему казалось, что он исполняет долг всякого романиста — развлечь читателя приятным вымыслом, познавательное значение которого может быть минимально. Затем, после трудного развития 20-х годов, в предисловии к первому изданию «Шуанов» Бальзак высказывает иной взгляд: художник должен точно изобразить своих героев, однако он не обязан передавать факты в их строго хронологической последовательности. Он считает возможным передать дух эпохи и событий, не заботясь о протокольной точности. Дух событий, а не буква их — таков лозунг, который он высказывает в 30-е годы.

Художник знает сам, что он должен выбрать, так как, по мнению Бальзака, он должен именно выбрать рассеянные крупинки красоты среди бесчисленных «случайностей», среди хаоса незавершенного, загромождающего действительную природу и жизнь.

Выбор должен происходить «на глаз», чутьем художника, улавливающего подлинную драму в нерасчлененной массе событий. «Драма» и является той истиной, которая лежит на дне действительности. Писатель, по мнению Бальзака, может даже пренебречь внешним «правдоподобием», он имеет право построить свои события так, как они никогда бы не произошли в действительности.

Следовательно, нужно выбрать наиболее существенное, наиболее «истинное» из бесконечных возможностей действительности. Но где объективные критерии этой высшей «истинности» событий? И как отделить «случайное» от «типического»?

Сложный путь философского развития, некоторые современные Бальзаку работы о теории вероятности, о природе случая заставили его прийти к выводу о том, что случай — это непознанная закономерность. Беспричинных событий нет, а то, что имеет свою причину, не может быть случайным.

Все причинно, все типично, все имеет свои законы, восходящие к основным принципам, движущим человеком, обществом, миром. Следовательно, самое важное для художника — не выбрать подходящий для искусства сюжет, но правдиво и глубоко интерпретировать любой эпизод действительности, так как все происшествия жизни в равной мере имеют право притязать на типичность. Художественная правда заключается, следовательно, не в излагаемых фактах, а в их передаче, в той интерпретации и в том высшем аспекте, в каком представляет их искусство.

Закон об истине в искусстве предстает здесь в несколько ином виде. Если прежде казалось, что далеко не все истинное в жизни может стать истинным в искусстве, что случайные, исключительные явления действительности кажутся ложными в художественном произведении, то теперь вопрос разрешается иначе: лишь от недостатка искусства некоторые сюжеты кажутся в нем ложными.

Все имеет свои причины, темный закон своего бытия, возводящий его к общим законам, плетущим непрерывную ткань жизни. Проследить извилистый и тайный путь становления вещи значит понять ее, а вместе с тем разрушить ее видимую случайность и обнажить скрытую за нею причину, общее.

Не столько выбирать должен художник, сколько осмысливать подлежащее его взору, преодолевать его случайность и вскрывая его закономерность, интерпретируя его заново избранным рядом причин и следствий.

Из этого положения вытекает вывод чрезвычайной важности. Действительно, если проблема выбора материала упразднена и ее место занимает проблема осмысления материала, то значит нет невозможных сюжетов, есть лишь более или менее неблагоприятные.

Чем сильнее критический разум и творческое воображение, тем богаче раскрывающееся перед ним зрелище. Художник — это настоящий Колумб, обнаруживающий новые миры под зримой для всех оболочкой действительности. Для подлинного художника нет слишком пошлых сюжетов, слишком грубых и темных явлений жизни. Творчество Бальзака является иллюстрацией его теоретических положений.

Обнаружить сцепление сил и совокупное течение процессов, приводящих к коллизиям частной и государственной жизни, является центральной задачей Бальзака. Роман возникает из анекдота в тот момент, когда наметились основные пути развития действия, когда оно, хотя бы предположительно, было уже «каузализировано».

Следовательно, совсем неважно, часто ли встречаются в обыденной жизни события, рассказанные в романе. Совсем неважно, видел ли читатель на своем пути, — на улицах или в клубах, — изображаемое Бальзаком лицо. Реализм для Бальзака заключается не в этом. События и герои в его произведениях могут быть редкостными и изумительными, даже если они плотно окружены бытом и пошлыми мелочами обыденной жизни. Важно то, что и события и люди объяснены до конца, «необходимы» в той цепи причин и следствий, которую устанавливает Бальзак в своем романе. Эта логическая «неизбежность» действия, обусловленная психологией героев и динамикой окружающей среды, является главной задачей Бальзака, а обнажение темной системы причин и обстоятельств, доверяющих над человеческой волей или ей подчиняющихся, и составляет одну из основных особенностей его реализма.

Как видим, это не совсем то, что мы называем словом «реализм», не совсем то, что мы привыкли ценить в Бальзаке. До сих пор, следуя плохой традиции, в реализме мы иногда хотим видеть предельно точное изображение обыденных сцен и обыденных людей, сделанное с сатирической целью. До сих пор нам кажется, что реалистическим можно назвать произведение, в котором зритель тотчас же узнает все обычные, окружающие его предметы и людей. «Совсем как на самом деле» — обычное восклицание, свидетельствующее об акте узнавания и вместе с тем о «реализме» произведения.

Такой реализм есть, конечно, и у Бальзака. И у него с необычайной яркостью дано обыденное, ежедневное. Однако для него это только рамка, это только средство. Бальзак хочет создать впечатление правды, подчеркивая обыденность и пошлость сцены и, вместе с тем, усиливая этим впечатлением правды эмоциональную действенность картины. «Это было куда страшнее, чем рассказы романистов и сцены из немецких драм, — пишет он, — это было потрясающе-правдиво».

«Правдиво» здесь употреблено в смысле «очень страшно». Продолжая этот ход мысли, можно было бы прийти к выводам, на первый взгляд несколько неожиданным. Художник вызывает у читателя иллюзию правды ради эстетической действенности картины. Он пользуется правдой как арканом, которым он ловит свою жертву — зрителя или читателя. Следовательно, правда — это просто способ художественного убеждения? В некотором смысле, да. Бытовая, обстановочная правда для Бальзака имеет и это техническое значение. Она для него не так важна, как другая, более трудная, более пол-

ная правда, правда «замысла», правда «идеи». Натуралистическая же правда — это лишь средство воплощения той высшей правды, которой принадлежат все помыслы Бальзака.

Сложные и трудные вопросы эти были поставлены лишь на материале бальзаковского творчества. Они имеют значение и для целого ряда других писателей — французских и русских. Однако детальное изучение этих вопросов является еще делом будущего.

4. РОМАНТИЗМ И РЕАЛИЗМ

Из похвального желания классифицировать и обобщать критики делают историю литературы на «направления», «течения» или «школы». Названия эти направления получают в зависимости от того, как называли себя их вожди. Естественно, что с течением времени подлинный смысл той или иной литературной реформы забывается. учение эволюционирует и в большей или меньшей степени трансформируется. Школа, пришедшая на смену, не понимает того, что увлекало предшествующее поколение, или в полемических целях искажает его учение. В таком искаженном виде воспринимают это учение и историки, навязывая романтикам, например, то, что говорили о них натуралисты, а натуралистам то, что говорили о них некомпетентные критики враждебного лагеря. Только этим и можно объяснить поистине нелепые представления о романтизме, которые до сих пор имеют хождение не только в западной критике, но даже отчасти и у нас (здесь, как и в дальнейшем, мы имеем в виду, конечно, романтизм французский).

С такой точки зрения романтики кажутся мечтателями, сознательно отвращающимися от действительности, погруженными в мир прошедшего, в историю, которая их пленяет своим феодальным величием, торжеством монархии и католицизма, послушанием народа. Романтики отвергают разум, они преданы чувствам, в лучшем случае это мистики, упоенные благочестивыми легендами и средневековой архитектурой, вызывающей всякого рода мистические экстазы и томления. Они отказываются от деятельности, они не хотят ни изучать, ни даже замечать современности. Это фантасты, живущие в давно ушедшей эпохе. Может быть, наиболее точное определение «романтизма» с такой точки зрения было бы негативное, — это принципиальные и злые «не-реалисты».

А что такое реалисты? Это прежде всего не-романтики. Они не мечтают о прошедшем, они не отдаются чувствам, они лишены всякого субъективизма. Следуя законам позитивного мыш-

чения, они пытаются внести научность в область художественного творчества. Они изучают действительность, вскрывают основные ее черты и объективно, без всяких личных пристрастий, искажающих результаты их наблюдений, без излишней чувствительности и слез, рисуют жизнь такой, какова она есть, во всей ее неприглядности. Реалист шутить не любит. Он не уклонится от объективной истины ни на iota. Ему все равно, что о нем подумают. Если он видит грязь, он тащит ее в свои романы: вина не его, а действительности, которую он описывает. Реалист не станет предаваться личным чувствам, лиризму — лиризм противоречит рассудку. Реалист читает газеты, изучает рынки, семинарии, бойни, больницы, тюрьмы, парламент и дома терпимости. Его больше интересует кухня, чем гостиная, так как она «реальнее». Если же он заглядывает иногда и в гостиную, то только для того, чтобы констатировать, что она не лучше кухни.

Романтики ходили с длинными кудрями и в экстравагантных костюмах. Они всегда были трагически влюблены и всем причинами несчастия. Кроме того, они были молсды. Реалист — это мужчина средних лет и хорошего поведения. Он никогда не увлекается, не страдает ни от несчастной любви, ни от несбывшихся надежд. Такие страдания кажутся ему пустяками по сравнению с недостаточным заработком. Реалист не бьет фонарей, ни о чем не мечтает и носит буржуазный костюм средней свежести. Он принимает мир с сокрушением, но с твердостью. Словом, это типичный и почтенный филистер.

Материалы, вошедшие в поле зрения современного бальзаковедения, начисто разрушают эти легенды о романтизме и реализме, характеризованные выше с некоторыми преувеличениями.

Прежде всего, нужно отказаться от абсолютно неверного утверждения, будто историческая тема у французских романтиков вызывалась их стремлением уйти от современности или действительности. Как раз наоборот. После целого ряда политических катастроф, после эфемерного политического блеска империи, после малообоснованного рационалистического космополитизма французские романтики стали искать более глубоких основ национального бытия, более вечных форм проявления национального единства. Отсюда и обращение к народному прошлому, к фольклору, к легенде, к истории политической, в той же мере как и к истории нравов. События недавнего времени требовали осмысления или оправдания, и исторические исследования утверждали единство народного существования, естественную неизбежность развития, оправды-

вали современность в силу ее историчности. Исторический роман был средством изучения современности, утверждением национального самознания, оправданием прогресса.

Романтическая теория или, вернее, общая литературная ориентация французских романтиков вырывала французскую литературу из старой колеи, вовлекала ее в общее движение европейской литературы и связывала ее с философским и научным развитием. Национальная и «профессиональная» изоляция литературы от всего окружающего мира была уничтожена. Рационалистическая ограниченность была устранена тем, что расширен был тематический диапазон поэзии. Литература стала почти всеобъемлющей, сохраняя при этом строгие эстетические принципы, не позволившие ей раствориться ни в бесформенном субъективизме, ни в публицистике. Глубокое, всестороннее изучение действительности, историзм, проникающий во все поры литературного творчества, интерес к личности во всех ее проявлениях, постановка широких социальных и философских проблем — таковы были отличительные особенности романтического движения во Франции, главными деятелями которого, вместе с Гюго, Виньи, Мишле, г-жой де Сталь, Шатобрианом, были Стендаль, Бальзак, Мериме.

В настоящее время можно, кажется, считать принятым положение о том, что Бальзак всеми своими корнями уходит в эстетику романтизма, развивавшуюся литературной критикой 20-х годов. Все теоретические выступления Бальзака, каждое слово его в романах, письмах, статьях свидетельствуют о том, что он целиком стоял на позициях, принятых деятелями романтической реформы. Все его произведения построены в согласии с учениями романтиков. Обширная полемика, которую Бальзак вел в начале 30-х годов, является доказательством того, что он понимал романтизм глубоко и своеобразно и считал себя одним из вождей нового направления и, может быть, единственным законным его вождем.

Но значит ли это, что он, будучи «романтиком», не был «реалистом»? Здесь мы встречаемся с терминологической путаницей, благодаря которой извращаются понятия и люди перестают понимать друг друга.

Историк литературы принужден оперировать с двумя понятиями, обозначаемыми одним словом «реализм».

Одно из этих понятий — историческое. В истории литературы слово «реализм» имеет довольно определенный смысл. Так называется школа, возглавлявшаяся Гюставом Курбе и Шанфлером, возникшая в самом конце 40-х годов и впервые

в истории литературы назвавшая себя школой «реализма». Вначале это было бранное слово. Враждебная критика давала это название всякому произведению, в котором современность изображалась не с очень лестной стороны. Фривольность темы и рискованные сцены также свидетельствовали о принадлежности автора к гнусной «реалистической» школе.

Поэтика этих реалистов 50-х годов значительно отличалась от романтической поэтики — они отвергали исторические темы, психологический анализ, стих, отточенные формы прозаического языка. Они отказывались от изучения высшего света и считали достойными «реализма» только мелкую буржуазию и в некоторой степени крестьянство. Они отвергали всякий лиризм. Крупная личность не могла претендовать на их внимание. Сложные переживания считались «нереальными», большие социальные или философские проблемы в романе казались фальшиво.

Флобер яростно отрекался от названия «реализм», которым заклеила «Госпожу Бовари» враждебная критика. Гонкур причислял себя к группе Флобера, Бодлера, Гюте. Золя, отдавая должное энергии и тенденциям «реалистов», считал себя «натуралистом». Современники, близко столкнувшиеся с деятелями «реализма», энергично отрекались от него. Сами реалисты, восприняв у Бальзака его буржуазные темы, видели в нем своего предшественника, между тем как все принципы, идеи, задачи и творчество Бальзака составляли яркую им противоположность.

Итак, между этими реалистами и Бальзаком общее — только в наименее существенных чертах творчества. «Реализм» как историческая школа не имеет к Бальзаку никакого отношения.

Но есть и другое понятие, которое также обозначается словом «реализм». Наиболее общее и, может быть, наиболее точное определение этого понятия можно формулировать, сказав, что реалистическая литература — это правдивая литература. Писатель, правдиво изображающий действительность, называется, с такой точки зрения, реалистом, независимо от того, пишет ли он исторические романы, лирические стихотворения, философские драмы или фантастические новеллы.

Бальзак принадлежит именно к таким реалистам, вместе с Гомером, Горьким, Шекспиром, Толстым и Гёте. Правдивый художник, писатель, достигший высшей изобразительности, — таково определение, несколько не противоречащее другому, данному нами выше: Бальзак — романтик.

Эти два определения говорят о разных вещах. Когда мы говорим, что Бальзак — реалист, мы утверждаем только, что он — правдивый художник. Мы совсем не хотим сказать, что он принадлежит к школе реалистов, так как к этой школе он не принадлежал. Когда же мы утверждаем, что он — романтик, то мы совсем не хотим сказать, что он бежал от действительности, был фантастом и мистиком и ничего не разумел ни в жизни, ни в истории: потому что ни к Бальзаку, ни к французскому романтизму это никак не относится. Мы просто утверждаем (имея на то все основания), что по своим литературным убеждениям, предилекциям, осведомленности и направленности ума Бальзак был представителем той литературной школы, которая сбросила с пьедестала Лагарпа и стала учиться у величайших мастеров европейской литературы.

Одно дело — литературная школа, другое — качество литературного произведения.

Реалистами во втором смысле можно с одинаковым правом назвать Гомера, как и Толстого, Ромэна Роллана, как и Горького, Бальзака, как и Гёте, и Филдингга, и Золя. Но никому не придет в голову причислить Гомера к той же «литературной школе», что и Стендаля, а Шекспира — к тому же направлению, что и Толстого.

Бальзакведение уяснило одну очень важную теперь уже всерьез никем не оспариваемую вещь: реализм как высшее качество литературного произведения, реализм как «художественная правда» не есть литературное направление. Правдивое творчество возникало на самой разнообразной литературной почве. «Классическая» школа дала величайших реалистов, Корнеля и Расина, «романтизм» дал не менее крупных, но совсем иных реалистов, каковы Гюго и Виньи, Мериме и Стендаль, Бальзак и Делакруа, Берлиоз и Гюте. «Реализм» не дал никого, так как Флобер, Бодлер, Гонкуры выросли на совсем иной почве. Наконец, «натурализм» дал Золя, а символизм — такого огромного, до сих пор еще не оцененного революционера-реалиста, как Артур Рембо.

С такой точки зрения горизонт литературоведения и критика неизбежно должен расширяться. Пример Бальзака показывает, что не бытовые темы и не эмпирическое познание по жизни называются реализмом, что подлинный реализм может пользоваться весьма разнообразными методами, что круг наших сочувствий нужно расширить так, чтобы в нем могли уместиться все ценности мировой литературы, вся правда, сказанная о мире и человеке мировым развитием искусства.

5. ШКАЛА ЦЕННОСТЕЙ

Если реализм (в нашем смысле слова) не есть литературное направление, то он не может быть и методом. Если Бальзак и Данте возникают на различной социальной почве и в различной литературной атмосфере, то, следовательно, и «методы» их различны. Для всякого, кто имеет хотя бы минимальное историческое образование, ясно, что «правдивое изображение» не есть метод. Вот почему для историко-литературной мысли так опасно оперировать с понятием «реалистический метод», ибо этого понятия не существует.

Однако, если мало кто отваживается говорить о едином «реалистическом методе» Шекспира и Льва Толстого, то «метод Стендаля и Бальзака» стал ходячей формулой. Основанием для этого служит периодология литературы, которая сама утверждена на довольно шатких основаниях.

Великие писатели XIX века называются у нас «критическими реалистами». И вот на этом основании все они зачисляются в одно направление, оказываются литературными единомышленниками, последователями и выучениками одной «школы». Люди, прямо противоположные по миросозерцанию, задачам, стилю, воспитанию, люди, едва объединяющиеся широкими рамками романтического направления, оказываются представителями одного метода.

Конечно, есть много общих черт, сближающих этих столь непохожих друг на друга писателей, и несомненный интерес могло бы представить серьезное исследование, в котором этот вопрос был бы поставлен с достойной глубиной и осторожностью. Бела заключается в том, что исследования такого еще никто не написал, а произвольные сближения вносят хаос в литературоведческую мысль и являют, в свою очередь, основанием для целой цепи заблуждений.

Прежде всего, устанавливая общность метода Стендаля и Бальзака, мы тем самым вступаем на соблазнительный путь сопоставлений и сравнений. Ведь качественно они принадлежат к одной категории писателей, следовательно разница между ними только в степени, только в количестве гениальности или реализма. Здесь открываются действительно соблазнительные перспективы: стоит лишь сравнить этих двух одинаковых писателей, чтобы показать, чем один из них лучше другого, а потом и объяснить эту разницу в степени. Без труда можно заметить, что подобные рассуждения представляют собой длинный ряд ложных выводов.

Прежде всего, сравнивать Стендаля и Бальзака как представителей единого метода невоз-

можно. Бальзаковеды показали, насколько своеобразно и глубоко миросозерцание Бальзака, как поразительно оригинальны и «индивидуальны» его операции с материалом, как «неповторим» его творческий метод. Совершенно то же следует сказать и о Стендале, и только потеряв всякое литературное чутье и только низведя литературу до игры чисто механических сил, можно не заметить этого своеобразия и этой «несводимости» одного писателя к другому.

Далее, сравнивать познавательное значение их творчества так же невозможно, как невозможно сравнивать их методы. И тот и другой создали поразительно правдивые вещи, и тот и другой проникли глубоко под поверхность внешней благополучной видимости, оба выразили глубочайший трагизм капиталистической цивилизации с такой полнотой, что значение их романов выходит далеко за пределы изображенной ими эпохи. Глубина постижения, тонкость лирической эмоции, социологический анализ и человеческое содержание их произведений надолго, может быть, навсегда сделают их спутниками мыслящего человечества. Полнота высокого реализма у них одинакова, они оба велики, и разницу между ними можно устанавливать не по количеству заключенного в них реализма, а по художественным средствам, при помощи которых этот реализм осуществляется.

Но при всем своем величии они очень несхожи, они различны почти во всем. Кто из них «лучше» — в значительной мере дело вкуса. Однако, на наш взгляд, производить такие сравнения, претендуя на их научную значимость, невозможно. Сравнить можно вещи качественно одинаковые. Простое правило элементарной арифметики учит о том, что нельзя производить арифметические действия с числами разноименными. Писатели — это величины разноименные. У нас нет литературного «всеобщего эквивалента», сравнение с которым могло бы дать нам приблизительную стоимость этих гигантских сгустков человеческой мысли и усилий. Для практики литературной жизни совершенно достаточно того, что никто не поставит Шекспира ниже Дюсиса, а Гёте ниже Поль-де-Кока. Но сравнивать двух равно великих писателей, чтобы определить, кто из них лучше и насколько, сравнивать ради оценки, кажется нам не только бесполезным, но и прямо вредным. Ибо в таком сравнении непременно один из писателей приносится в жертву другому, а еще чаще — оба они взаимно уничтожаются.

Это вполне понятно. Оценить по достоинству, понять глубоко творчество данного писателя можно, только проникнув в систему его эстетических идей и философских намерений, в мир

его опыта и переживаний. Тогда освещаются новым светом герои и события его произведений, все приобретает свою логику, свой смысл в закономерность. Сравнивая одного писателя с другим, мы неизбежно должны судить об одном из них с точки зрения другого. Пейзаж или портрет, естественный у Бальзака, вызванный всей системой его художественного мышления, был бы совершенно неуместен у Стендаля. Но при сравнении «во что бы то ни стало» может показаться, что отсутствие такого пейзажа или портрета у Стендаля является недостатком последнего. Наоборот, психологический анализ ситуаций или поступков героя, являющийся неотъемлемой особенностью Стендаля, отсутствует у Бальзака или сделан у него не так, как того хотелось бы читателю, только что оторвавшемуся от «Пармского монастыря». Такой анализ невозможен у Бальзака, так как вся система его творчества иная, но читатель, желая непременно провести сравнение, сочтет это недостатком Бальзака.

Таким образом, он упорно, шаг за шагом, разрушает систему творчества, он вырывает из нее те или иные ее элементы, которые теряют свой художественный смысл, будучи оторгнутыми от того мира идей, который одухотворял повествование. После таких сопоставлений читатель замечает, что он утратил прежнюю способность наслаждаться своим любимым автором. Оказалось, что Стендаль не обладает качествами, свойственными Бальзаку, между тем как Бальзак не имеет достоинств, которыми обладает Стендаль. Губительная роль критика заключалась в том, чтобы столкнуть эти две разные системы в сознании читателя и помешать ему понять их и наслаждаться и той и другой.

Подобные сопоставления и сравнения, вольно или невольно, возвращают критику к точке зрения классической (или, если угодно, псевдоклассической). Задачей этой критики было выработать шкалу ценностей, на которой в строгой последовательности, в образцовом порядке размещались классики литературы от Гомера до современности. Существовала единая художественная система, — правила, законы, единый критерий, — согласно которой, при некотором прилежании и отсутствии воображения, можно было определить ценность каждого писателя. Задачи, конечно, были практические: чтобы знать, кому подражать, нужно было установить, кто лучше всех. Для этого нужно было «сличить» несколько самых значительных произведений и посмотреть, какое из них полнее удовлетворяет «правилам». Так начинается критика, придиричая, мелочная, оскорбительная,

вырывающая из произведения отдельные ~~слова~~ взвешивающая эпитеты, реплики, рифмы. Каждая строка поэтического шедевра ~~оскверняется~~ мелочной похвалой или мелочным осуждением. Посреди всего этого «анализа» исчезает само произведение, и тем более исчезает самое творчество. Это было не так страшно, когда критике подвергались классические авторы, творившие по тем же рецептам, по которым их критиковали. Но когда дело касалось крупных поэтов другой эпохи или другой национальности, то критика переходила в уничтожение.

Эта критика была по существу своему отрицательная, это была «критика недостатков». Романтики впервые выдвинули новый принцип критики — «критика достоинств». Уничтожены единые критерии оценки, единый «идеал красоты», уничтожена «шкала ценностей», на которой были распяты величайшие писатели мировой литературы. Раскрыты двери для всех национальных «идеалов» и гениев. Произведение понимается как явление особой национальной цивилизации, как этап в развитии человеческой культуры. Если сравнение еще сохранилось, то не для того чтобы превознести один памятник за счет другого, но чтобы глубже понять неповторимое национальное своеобразие каждого из них. Так, «Энеида» помогала наслаждаться «Освобожденным Иерусалимом», а «Илиада» позволяла оценить своеобразие исландских саг и «Песни о Нибелунгах». В литературе зазвучали «голоса народов», и мировая поэзия, вместо того чтобы тянуть в унисон, превратилась в хор бесконечной сложности, неисчерпаемый источник радости и поучений.

Синтетическое искусство Бальзака немислимо было бы вне этого нового течения мысли. «Ни одно произведение не походит на другое», — пишет он в программной статье о Китае, защищая национальное китайское искусство от пренебрежения европейцев. И в собственном своем творчестве он хотел вместить всю сумму человеческого искусства, откликнуться на все голоса, отразить всякое волнение и всякую мысль.

Несмотря на весь свой гений или благодаря ему (здесь это наречие вполне уместно), он не был деспотичен. Он восхищался Стендалем, отлично сознавая разделяющую их разницу. Но он понимал, что разница в политических взглядах не имела большого значения. Ведь политические взгляды Стендаля отразились в «Пармском монастыре» не больше, чем политические взгляды Бальзака в «Человеческой комедии». «Пармский монастырь», — писал он Стендалю, — великая и прекрасная книга; я говорю вам это без лести, без зависти, так как я не смог бы ее написать, а то, что выходит за пределы нашего ремесла,

можно хвалить искренно. Я пишу фреску, а вы изваяли итальянские статуи». В этих словах много критической чуткости. Нам не мешало бы иногда учиться у Бальзака критическому такту. Во всяком случае, таков урок, который мог бы преподать нам Бальзак.

Вышеизложенное отнюдь не исчерпывает все те выводы, которые могут быть сделаны на основе современного бальзаковедения. Мы остановились только на тех вопросах, которые в той или иной степени, явно или тайно, дискутируются или кажутся дискуссионными. Впрочем, даже и из этих дискуссионных вопросов мы выбрали те, которые могут представить интерес не только для бальзаковеда, но и для всякого интересующегося историей и теорией литературы.

К сожалению, и до сих пор история западноевропейской литературы, привлекающая к себе такое исключительное внимание читателей, критиков и литературоведов, специализирующихся в области русской литературы, не изобилует исследованиями. Между тем, многие принципиально важные теоретические вопросы — вопросы периодологии, отношения художественного творчества к «политике», вопросы частной эстетики,

наконец, характеристика отдельных литературных направлений — разрешаются у нас именно на материале западной литературы. За неимением сколько-нибудь научной литературы, критикам и теоретикам приходится обосновывать свои положения на материалах популярных статей и очерков, иногда весьма устарелых и отнюдь не стоящих на должной высоте, да никогда и не притязавших на научность.

Поэтому в интересах дела было бы печатать от времени до времени справочные статьи, в которых освещалось бы современное состояние науки о том или ином крупном авторе, направлении или литературной проблеме. Это повысило бы значение наших теоретических дискуссий, дало бы материал для более отчетливых выводов и ориентировало бы широкого читателя в целом ряде сложных литературоведческих проблем, подлинный смысл которых от него часто ускользает.

Впрочем, в заключение оговоримся, что настоящая статья ни в коем случае не ставит себе таких целей, ограничиваясь лишь некоторыми, наиболее спорными вопросами бальзаковедения. Наука о Бальзаке бесконечно богаче и сложнее, и, чтобы изложить «современное состояние» ее, потребовалась бы работа, значительно превышающая объемом эту небольшую статью.

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Григорьев и Н. Чуковский, «Крылатая Балтика». Военмориздат, 1940

«Крылатая Балтика» — одна из первых книжек, посвященных боям с белофиннами. В ней мы находим первый живой отклик на события, непосредственное запечатление боевых эпизодов, героических подвигов сынов нашей родины.

Книжка состоит из кратких рассказов летчиков, техников и политработников Балтийской авиации и их жен. Записали эти показания участники событий писатели Н. Григорьев и Н. Чуковский.

Первые страницы посвящены боевой учебе и воспитанию летчиков. Интересны здесь беседы с капитаном Каменским и батальонным комиссаром Жарниковым. Это их подразделение завоевало первенство в соревновании осенью 1939 года.

Успехи не приходят сами собой. Капитан Каменский получил для формирования части необлетанную молодежь. Нужно было положить много труда, проявить большое педагогическое умение, чтобы обучить и воспитать молодых летчиков, добиться боевой слетанности отряда. Но зато какой благодарный результат дала эта напряженная работа! Впоследствии в боях с белофиннами воспитанники Каменского проявили прекрасные боевые качества. Некоторые из них, как, например, летчик Савченко, стали Героями Советского Союза.

Да и как могло быть иначе, когда всеми и каждым владеет страстное желание как можно лучше послужить своей родине?

В дни напряженной обстановки у наших северо-западных границ одно стремление захватило балтийцев: «быть готовыми защищать подступы к городу Ленина, не дать противнику застать себя врасплох».

И вот получен боевой приказ:

«С рассветом 30 ноября самолетам подняться в воздух, перейти финскую границу, подавить огневые средства и живую силу противника...»

Невиданный подъем охватил людей. Тревожило только одно: не отменят ли вылет ввиду исключительно плохой погоды. Но разве могут какие бы то ни было препятствия помешать выполнению боевого приказа Родины? Сигнальная ракета взвилась. И славные соколы поднялись в воздух и смело ринулись в туман, в непогоду, вперед на врага.

Скупые, сдержанные сообщения, скромный перечень фактов, лаконичное: «цель перекрыта», «задача выполнена». . . За этими простыми словами кроются замечательные дела, великое патристическое горение советских людей.

Много изумительного искусства, вдохновенной отваги, мужественного упорства проявили балтийские летчики в борьбе с врагом.

Нужно разведать, где находится броненосец береговой обороны противника. И несмотря на то, что данных для поисков нет почти никаких, капитан Раков обнаруживает броненосец и даже доставляет его фотографический снимок.

Необходимо уничтожить крупный белофинский аэродром, охраняемый со всех сторон множеством зенитных батарей. И часть капитана Ракова блестяще осуществляет эту операцию. Советские самолеты залетают вглубь вражеской страны и внезапно обрушиваются на морской аэродром, откуда, откуда их совсем не ждут, — с суши, с тыла. Аэродром уничтожен.

Неожиданным нападением в условиях густого снегопада, когда враг и мысли не допускает о возможности налета, уничтожают бомбардировщики капитана Гусева береговые укрепления.

Бесстрашно пикируют истребители на зенитные точки, подавляя их огнем, расстреливая живую силу неприятеля.

Мы видим, как личные высокие качества летчиков сочетаются с организованностью, сплоченностью подразделений, как велика среди советских бойцов дружба, товарищеская взаимопомощь, взаимная выручка. Здесь нашло великолепное свое проявление единство советских людей, единство мыслей, чувств, цели.

У всех в сердце одно — Родина, Партия, Сталин.

Полковой комиссар Александров рассказывает: «Уже в первый день лучшие комсомольцы и беспартийные большевики наших авиачастей, отправляясь в бой, подали заявления о приеме в партию. . .»

Вот одно из заявлений:

«Прошу партийную организацию принять меня в кандидаты ВКП(б), так как я желаю пойти в бой и защищать Советский Союз преданным большевиком и драться до последнего дыхания за трудовой советский народ».

Спрашиваю:

— Вы чувствуете, что написали в заявлении?

Спокойный, уверенный, твердый ответ:

— «Так будет сделано, товарищ комиссар!»

«Так будет сделано!» И так делалось. Ибо нет для советского человека большего счастья, чем беззаветно служить делу укрепления мощи своей Родины. Эпиграфом к книге могли бы быть поставлены слова лейтенанта Григорьева:

«В жизни у меня были радостные дни. Но я не могу назвать более радостных, чем настоящие, в которые мне выпала великая честь громить зарвавшихся врагов».

Н. Васильев

В книге Алигер много хороших стихов. Алигер пишет отчетливо и умело. Книгу можно читать без опасения, что вдруг встретиться с безвкусицей, безразличными, ничего не значащими строчками, давно отработанными сравнениями, вялой рифмой, со всеми теми погрешностями, которые искажают подчас книги поэтических поэтов.

Книга не распадается на отдельные, не связанные одно с другим стихотворения. Видно, что она написана определенным человеком, поэтом, с особой его биографией, со свойственными только ему чертами. И этот поэт полон молодой уверенности в своей правоте, потому что он верит в правоту и силу советской действительности.

Советская действительность вырастила, воспитала, образовала его. Поэт знает, что в иных условиях вся жизнь его сложилась бы иначе:

Я могла б расти с тобою вместе,
Говорить на том же языке.
Если б родилась я тоже в Бресте,
Чистеньком и тусклом городке, —

обращается Алигер к еврейской девушке, встреченной ею в освобожденной советскими войсками Польше.

И жила бы и трудилась ради
Крошечного завтрашнего дня.

Но жизнь ей подарила инос. Завтрашний день для нее не «крошечный». «Мир огромен» и значителен. «Дальние пути» открыты. Всякая боязнь ей чужда.

«Люди должны быть такие, как мы», — с несомненной, гордой определенностью заявляет она в одном стихотворении. И это не личная гордость, это обоснованная гордость каждого советского человека. В такой гордости нет самоуспокоения. То, чем обладаешь сам, хочется передать другим. Гордость связана с активным желанием встретиться с враждебным социальным укладом, разрушить его, перестроить жизнь. Такое желание знакомо Алигер, и она хорошо о нем говорит:

Мы затем вступили в этот город,
Чтоб поверить в говорок певучий.
Мы затем вступили в этот город
С мирным сердцем, с песней боевой,
Чтоб нарушить бесконечный дождик,
Чтоб раздвинуть каменные тучи,
Чтобы вдохновенными руками
Небо приподнять над головой.

Волевые, решительные ноты слышатся обычно в голосе Алигер. Они очень уместны во всем небольшом, содержательном цикле, где идет речь об освобождении Западной Украины и Западной Белоруссии.

Эти же ноты звучат и в лирических, личных стихах Алигер. Стихи о любви она начинает со столь свойственного ее характеру слова «хочу»:

Я хочу быть твоею милой,
Я хочу быть твоею силой,
Свежим ветром,
насушным хлебом,
Над тобою летящим небом.

Это живое, выразительное, очень искреннее стихотворение кончается как заклатие, почти как приказ. Убежденность в правоте, в нужности такой любви для другого позволяет Алигер утверждать:

Я узнала тебя из многих,
Нераздельны наши дороги,
Понимаешь, мой человек?
Где б ты ни был, меня ты встретишь,
Все равно ты меня заметишь
И полюбишь меня навек.

При любом случае Алигер подчеркивает свое право на жизнь, на чувство. «Я не хочу, чтобы меня лишили какого-либо из возможных человеческих чувств», — как бы настойчиво объявляет она. «Даже на ревность я имею право». И одно из стихотворений действительно начинается так:

Не лишай меня права тебя ревновать.

И еще одна особенность лирических стихов книги: они не столько — описание самого чувства, его природы, его роста и развития, сколько — размышления по поводу совершившихся в прошлом событий, размышления, приводящие к практическим выводам, к окончательным, твердым формулировкам.

Мне раньше казалось, что наша любовь —
это дом
Под маленьким небом, поставленный нами
с трудом, —

размышляет она в первых строчках одного из стихотворений.

Потом я решила, что наша любовь — это сад.
Где ясные дни на коричневых ветках висят, —

продолжает она во второй строфе.

А третья строфа открывается заключающей предшествующие соображения мыслью:

Теперь я уверена: наша любовь — это путь,
Чуть видная тропка и снова большая дорога.

«И ничего не надо говорить о дрожи сердца, о твоей тревоге», — таково одно из заключений Алигер.

Лирика Алигер всегда аналитична. Всегда чувствуется в ней все взвешивающий, во всем разбирающийся рассудок. «Доподлинно известно мне» — вот одна из характерных для Алигер фраз.

От этого стихи не становятся менее человеческими и убедительными. Но все же именно здесь и подстерегает Алигер опасность. Свободолюбие, внутренняя независимость — прекрасные качества. Но во имя их не следует окружать себя излишними барьерами. Почему, собственно, «не надо говорить о дрожи сердца, о твоей тревоге»? Не суживает ли чрезмерной рассудительностью поэт свой диапазон? Ведь чувства — это не «камни и травы» с непреложной закономерностью их существования, и стоит ли рассматривать их только в омертвелом состоянии, когда жизнь их завершилась?

В какой-то момент необходимо отбросить заботы о «надо» или «не надо», и пусть чувство свободно хлынет в поэзию, чтобы мы увидели живой процесс, а не воспоминания о нем. И тогда стихи освободятся от некоторой присущей им сухости, от чрезмерной графичности, станут звучнее, богаче и живописнее.

В заключение следует отметить, что наименее удачным в книге является стихотворение о Мая-

ковском «Гендриков переулоч». Оно растянуто (кстати, сокращения не повредили бы и первым стихотворениям). Оно внешне и ничего не прибавляет к образу Маяковского.

И он стоял, большой, огнеупорный,
Ломая неуступчивую бровь, —

это сказано неуклюже, и «бровь» тут ни к чему.

О Маяковском Алигер сказать нечего. И здесь подстерегающая ее сухость омертвляет всю вещь. За сухостью тут не чувствуется скрытого огня, который, несмотря на сдержанность Алигер, пробивается наружу в остальных стихах, освещая и согревая их.

Сергей Спасский

С. Нагорный, «Седов».
Серия «Жизнь замечательных людей». Вып. 12, 1939¹

Жизнь Седова — это эпопея труда, упорства, мужества и смелости.

С. Нагорный в своих примечаниях сообщает, что «книг о Седове до сих пор не было». Это верно, но лишь отчасти. Правда, в замечательной книге Н. В. Пинегина «В ледяных просторах» рассказывается, главным образом, о Седовской экспедиции к полюсу, и сам Г. Я. Седов обрисовывается автором лишь попутно, в зависимости от тех или иных этапов героического предпринятия. Однако эти этапы все-таки являются главными и решающими в жизни Седова, и в этом смысле книга Пинегина сослужила немалую роль, как бы заменив на время биографию Седова.

Книга С. Нагорного восполняет этот пробел. Здесь дается уже более обширная биография великого русского полярика, которая еще когда-нибудь послужит благодарным материалом для создания большого художественного произведения. В зависимости от своего размера, эта биография достаточно полно и ясно сообщает много интересных и волнующих подробностей как о детстве и юности Седова, так и о годах учебы, о службе его в «гидрографии», о северных экспедициях на Колыму и на Новую Землю, не говоря уже о последней странице жизни этого замечательного человека, то есть об экспедиции на полюс, естественно являющейся одним из главных разделов книги.

Картины социальной жизни, личная жизнь Седова умело вплетены в ткань повествования, изображающего этого человека как национального героя, сосредоточенного на единой мысли — прославить свою родину и готового каждую минуту отдать за нее жизнь.

Автор не упустил ни одной детали. Он подметил все особенности той бюрократической, густой атмосферы, той министерской склоки и ненависти аристократических морских кругов к «выскочке», задумавшему нечто небывалое и фантастическое, равнодушие официальной царской России, в атмосфере которого Седову пришлось добиваться осуществления своей мечты.

¹ Это издание, помещенное на титульном листе 1939 годом, было подписано к печати 16/X 1940 года и только недавно разослано подписчикам. Издательству и редакции следовало бы более внимательно относиться к датам.

Тем трагичнее, тем сильнее на этом безрадостном фоне вырисовывается благородная смелость простых русских людей, решивших под началом Седова выполнить великое историческое дело.

У книги приятный, чистый, литературный язык: чувствуется разумная экономия в композиции отдельных частей. Работа эта достойна похвалы. Но, пользуясь этой книгой как поводом, хочется привести некоторые соображения, относящиеся к такого рода изданиям.

Надо сказать, что последняя серия «Жизни замечательных людей» выгодно отличается от предыдущей. Богата ее тематика. Попадают интересные выполненные книги («Пушкин» и «Курако»). Но поражает удивительное однообразие литературных приемов. Большинство книг, за исключением «Талейрана», написаны как будто одним человеком по одной и той же схеме, несмотря на то что материалы, затрагиваемые ими, необыкновенно различны. Эта авторская сухость и однообразие бедят серию: именно в силу своей «разности», каждая книга требует особых красок и, может быть, даже особого стиля.

Но авторы «серии» часто мало чем отличаются друг от друга, у всех один и тот же мало индивидуализированный стиль: у одного — более свободный, более легкий, у другого — более напряженный, но одинаково общий, безличный, в лучшем случае напоминающий по языку статью, вполне грамотную, вполне правильную, умело пересыпанную беллетристическими вставками и диалогом, но все-таки бесконечно далекую от живого, художественного очерка, а следовательно и от его обаяния.

Невольно вспоминаются очерки о людях Горького или Короленко. Одной метко схваченной чертой, метафорой, отступлением иной раз можно рассказать больше, чем публицистически поданным фактом.

Книги из серии «Жизнь замечательных людей» становятся любимым чтением. Нужно сделать их как можно талантливее, своеобразнее, свежее. О большом их культурном значении говорить не приходится.

Кстати, если сравнить книгу С. Нагорного с недавно опубликованной в «Звезде» (№№ 10, 11, 1940) первой частью романа-хроники «Георгий Седов» покойного Н. В. Пинегина, пальму первенства следует признать за последним.

Мы не пытаемся этим хоть чем-нибудь уменьшить значение книги С. Нагорного. Он написал ее так, как писалась вся серия. Но именно на этом примере видно, что преимущество следует отдать роману-биографии.

Первая часть «Георгия Седова», написанная Пинегиним, — талантливая вещь, и очень жаль, что она оборвалась как раз на главах, предшествующих эпопее «Фоки». Смерть помешала Пинегину закончить книгу.

Можно ли сказать про Пинегина, что он — «мастер письма», стилист, что он распоряжается языком как истый художник? Конечно, нет. Но, несмотря на это, пинегинские страницы, может быть бесхитростно, но образно рисующие весь материал, как благоприобретенный из дневников, воспоминаний и документов, так и сфантазированный, вместе с материалом лично пережитым и лично увиденным, полны настоящего, подлинного волнения.

Некоторые из сцен книги С. Нагорного и книги Пинегина совпадают чуть ли не буквально; видимо, оба они пользовались одними и теми же материалами. Но Пинегин всегда многообразнее и сильнее. Пинегин, плававший вместе с Седовым, конечно глубже знал его, знал суть этого человека, как не мог знать Нагорный.

Но не только это знание обеспечило ему более яркое, более впечатляющее описание. Ведь именно эту часть — то есть детство, юность, учебу, офицерскую службу, личную жизнь, — он принужден был «додумывать»: под руками у него было фактических сведений, наверно, не больше, чем у Нагорного. Но индивидуальный тон, художественная, «образная» разработанность сцен (возьмем хотя бы сцену в театре, на балете), где только литературный прием решает характер полученного впечатления, заставляет нас утверждать, что «романизация» материала, несомненно, является более сильным средством, и ею следовало бы пользоваться для создания книг этой серии.

Детальное знание материала, любовь к нему и вкус помогут автору беллетризовать его даже в том случае, если автор не считает себя художником. Такой особый литературный жанр, как роман-биография, разрабатывавшийся и русской литературой и, в особенности, западноевропейскими литературами, практически убеждает нас в том, что авторами этих произведений с успехом могут быть писатели, не принадлежащие к так называемому «первому ряду».

Живой показ всегда, во всех случаях будет увлекательнее и убедительнее описания.

Н. Н.

Алексей Лебедев, «Лирика моря». Вторая книга стихов. «Художественная Литература», Л., 1940

Советский военный моряк, молодой поэт Алексей Лебедев эпиграфом к своей второй книге стихов поставил слова Джека Лондона, — он назвал эти стихи «Лирикой моря». Знание моря, умение управлять сложными механизмами военных кораблей — такова профессия Алексея Лебедева. Знание дела, о котором пишет Лебедев, является отличительным свойством его точной, добросовестной поэтической работы. В лучших стихах книги живут страсть, беспокойство морехода, любовь к морской истории, к людям сегодняшнего флота, все то, к чему обязывает романтический эпиграф.

Очень хорошо стихотворение из цикла «Тень паруса», названное «Компасный зал». В этих стихах от описания картушки компаса, с которым дружило не одно поколение моряков, поэт переходит к очень конкретному рассказу о первых морях времен Петровых, о высоких традициях русского военного флота. Он вспоминает о славных флотоводцах, —

Кто славы морской для отчины хотел,
С кем флот проходил по пяти океанам,
Кто в битве с врагом не боялся потерь:
И шведы разбиты, и нет англичанам
Охоты соваться к Кронштадту теперь.

Интересны в этом цикле сюжетные стихотворения Лебедева, в которых он воссоздает образы штурмана Харитона Лаптева, героя Севастопольской обороны Нахимова. Умирающему Нахимову грезится русский флот, проходящий по морям с победой. Но он уже эти суда не поведет:

Пробивает кровь бияты тугие,
Врач подносит терпкое питье.
Видит флагман горькую Россию
И матросов — сыновей ее.
Стынет лоб его в предсмертной стуже,
Шепчет флагман в ветер ледяной:
«Старший друг мой, Николай Бестужев.
Это ты пришел сюда за мной!
Я иду». И падает в подушки
Голова, чтоб не подняться вновь.
... На Малаховом грохочут пушки,
День высок, и ветер сушит кровь.

Внутренняя связь образов Нахимова и Николая Бестужева, историографа русского флота, декабриста, приведшего моряков гвардейского экипажа на площадь перед Сенатом, их родство по духу не кажутся нам навязанными автором. Это поэтическое обобщение, основанное на фактах нахимовской биографии.

К числу наиболее удачных произведений относятся и стихотворение «Борнгольм», изображение чужой жизни, увиденной в походе сквозь стекло дальномера, рассказ о датском острове, на котором тучнеют от трав коровы, красна надежная черепица крыш. Но идиллия беспощадно разбивается: поэт видит, как выбрасывают жандармы из рыбацкой хижинки нищее добро, как ползает женщина, целуя руку ландрата.

Жаль только, что стихи не отделаны, рыхлы, что в них есть такие неуклюжие строчки, как, например, «с поклоном к губам поднесла на ходу ландратову черствую руку».

Несвободны от недостатков и многие другие стихи Алексея Лебедева. Так, есть невнятица в стихах «Гроза» — «Голос... зовущий и стремящий в бой»; выключая строчка в «Компасном зале» — «Кто видел в матросе товарища дела»; неудачна строка в «Янтаре» — «Пусть стану прахом, пеплом и песком». В этом же сонете, обязывающем к особой точности, Лебедев дает концовку, неоправданную поэтически, неверную и с точки зрения логики:

Но облак твой, чье пламенное имя
Вело меня дорогами морскими,
Навек в стекле стиха закаменей!

«Закаменеть» в стекле невозможно. Кстати сказать, эпитет «пламенный» по отношению к любимой Лебедевым употреблен и в других стихах, написанных позднее.

Неточности особенно нетерпимы в сонетах В этой трудной форме есть у Лебедева и несомненные удачи. Хороши, например, концовки сонетов «Медаль солдата» и «Керчь». «Серебряная с гривенник медаль» — таков итог жизни, полной горя и лишений, николаевского солдата. Точно так же строка «Белоколонный портик на горе» сразу дает рельефное изображение того, что видит моряк с корабля, подходящего к Керчи. Сонет «Керчь» напоминает мастерские сонеты о портах Черноморья, созданные Ильей Сельвинским.

Иногда Лебедев совершает неожиданный скачок от современного стиха к старомодной стилизации. Я имею в виду малоинтересную поэму

«Сказание о секстане», в которой среди скучного течения слов, напоминающего порой плохой пестовод, неожиданно сверкают строки подлинной лирики моря:

И в окна узкие всегда мне было видно:
Громадный порт, наполненный судами,
Сплетения дремучие снастей,
И девы моря в сомкнутых ладонях
Держали корабельные бушприты,
И флаги плавы в темной синеве.

Упрек в архаичности можно бросить и стихам «В XVIII веке» и «Ремесло».

В разделах своей книги «Вымпел» и «Океанская весна» Лебедев поместил стихи, посвященные Советскому Военно-морскому флоту. Это очень интересные по замыслу произведения о людях различных боевых профессий: минерах, командорах, наблюдателях.

К Лебедеву, знающему наш флот, его замечательных людей, высокую технику, мы вправе предъявить самые большие требования. Вот почему мы должны упрекнуть поэта в том, что в ряде стихов на современные темы он теряет естественность речи, воспекает труд в очень общих словах: «Тут двигайся так, чтоб работа кипела», «Сигнальное дело — хорошее дело» (стихотворение «Сигнальщики»); «Силу самой высшей пробы в этот вкладывая труд», «Руки делом накали» («Авральная-морская»).

Эти недостатки не перекрывают всего того, что достигнуто Лебедевым. Но от таких неудачных строк поэт должен в дальнейшем в первую очередь отказаться.

«Лирика моря» — книга более удачная и зрелая, чем предыдущий сборник. Но и та и другая — только подступы к поэзии, которая достойна во всей полноте и величии воплотить славные дела советских моряков.

Всеволод Азаров

Мирер, «Ахмет-Ахай Озенбашский». Первая книга сказок. «Советский Писатель», М., 1940

В Крыму существуют уголки, мало известные туристам. Так, у самого истока реки Бельбек расположены две деревни — Бююк (Большой) Озенбаш и еще выше — Кучук (Малый) Озенбаш. Самое название Озенбаш (или Узеньбаш) значит «голова реки» — исток.

Особенно живописен Малый Озенбаш, расположенный в горах, на границе, где сходятся с одной стороны, луга и поля, с другой — растущие по склонам сосновые леса. Отсюда начинается перевальная тропа, пересекающая Яйлу и спускающаяся в Ялгу.

То, что обе деревни расположены в конце длинной Бельбекской долины, явилось причиной особой репутации этих деревень, репутации, сложившейся в стародавние времена. Среди крымских татар на Озенбаш смотрят как на глухое место Крыма, и хотя теперь Озенбаш связан автобусным сообщением с Симферополем, крымский фольклор сохраняет богатый цикл анекдотов об озенбашцах, крымских пошехонцах. Озенбашцам по этим анекдотам отличаются крайним простодушием: они верят, что соль можно сеять, что

арбуз — это яйцо, из которого может вылупиться жеребенок. И многое другое рассказывают про озенбашцев.

Главным героем этих анекдотов является бедняк Ахмет-Ахай. В лице Ахмет-Ахая соединились черты простоватого глупца и в то же время лукавого мудреца. Неловкие поступки Ахмет-Ахая не всегда свидетельствуют о его крайней наивности; часто за его шутками скрываются изыскательный ум и редкая находчивость. В его вечных ссорах с муллами и кадиями он почти всегда остается победителем. За это он пользуется особыми симпатиями крымских рассказчиков.

По всему Востоку ходят сказки об одже Насреддине. Это тоже тип шута-мудреца. Много сказок о Насреддине проникло в крымский фольклор. Многие, что рассказывают о Насреддине, рассказывают и об Ахмет-Ахаве. Во многих случаях Ахмет-Ахай — только местный вариант Насреддина. Однако и анекдоты о Насреддине, перенесенные на Ахмет-Ахая, обрастают местными приметами и приобретают характерные черты озенбашского цикла анекдотов.

В книге Мирера собрано около ста анекдотов об Ахмет-Ахаве. Этот герой не впервые является перед русским читателем. В 1937 году в Крыму был выпущен фольклорный сборник «Анекдотов об одже Насреддине и Ахмет-Ахаве», подготовленный С. Д. Коцюбинским. Здесь было помещено 12 анекдотов об Ахмет-Ахаве; кроме того среди напечатанных там рассказов о Насреддине многие сочетаются и с именем Ахмет-Ахая.

Жанр анекдота принадлежит к наиболее свободным жанрам устного рассказа. Он более всего изменяется в передаче; анекдоты часто по прихоти рассказчика объединяются в циклы или даже в род авантюрных повестей. Анекдот может сводиться к одному острому слову, а иногда развивается в целую сказку.

Эта пестрота жанра оразилась и на сборнике Мирера. Автор сообщает, что публикуемая им книга — результат шестнадцатилетней работы собирательства. Собранный в разных обстоятельствах, в разных местах, от многих рассказчиков материал, естественно, должен был оказаться пестрым.

К сожалению, автор не указывает, где и от кого он слышал эти анекдоты. Между тем, это небезразлично, особенно для такого героя, как Ахмет-Ахай. В предисловии, писанном Гордлевским и Рошалем, отмечено: «Чем ближе к старому центру татарской культуры — Бахчисараю, чем ближе к Озенбашу, тем чаще рассказывают о нем как о глупце; чем дальше от Озенбаша — тем упорнее говорят о мудрости Ахмет-Ахая» (стр. 8). Вот почему локализация и датировка анекдотов были бы нелишними в данном сборнике.

С другой стороны, пестрота является следствием неразграниченности жанров. По существу, Ахмет-Ахай — герой бытового анекдота. Но популярность его имени привела к тому, что имя его прикрепляется и к настоящим сказкам, возникшим вне озенбашского цикла. Такова, например, первая сказка о жестоком хозяине Косе-бае, известная в крымском фольклоре и с другим именем героя; таковы сказки о семиголовом «дэве» (фантастическое существо), уже совершенно случайно связанные с Ахмет-Ахавем.

Вообще, у автора явное тяготение к распространённым формам анекдота и к циклам, едва ли характерным для Ахмет-Ахая. И возможно, что

это вызвано не записанным материалом, а личными вкусами автора. Об этом можно догадываться из его слов о том, что он «надеется в недалеком будущем оформить из всех этих материалов единый свод комического эпоса крымских татар».

Не все редакции приведенных анекдотов можно признать лучшими. Некоторые остроты Ахмет-Ахая, удачные в других редакциях, здесь иногда ослаблены вследствие излишних прибавлений, а иногда и выпадения отдельных звеньев повествования.

Местный крымский колорит автор передает сблизим не переведенных на русский язык татарских слов. Это не всегда мотивировано, а иногда создает затруднения при чтении, так как приложенный словарь явно неполон. Конечно, нет нужды заменять русскими словами названия предметов местного обихода («софра» — низенький столик, «бекмес» — густой сироп и т. д.), но вряд ли выпрывает анекдот, если в нем палка названа «таях», нож — «пчак», а считают не «раздва», а «бир-эки».

Изданная книга названа «Первой книгой сказок». Вслед за ней автор обещает еще два тома рассказов об Ахмет-Ахаете. Эти два тома значительно дополнят образ славного озенбаша.

Желательно, чтобы к этим томам было приложено краткое описание тех мест, в которых происходит действие анекдотов (верхняя долина Бельбека от Озенбаша до Коккоз, гора Бойка, отроги Яйлы). Многие в рассказах стало бы конкретнее для читателя. Ведь и то, что самый цикл приурочен именно к Озенбашу, в значительной степени вызвано условиями расположения деревни.

Ахмет-Ахай когда-то был известен только в пределах Бельбекской долины, от Сюрены до Коккоз; но молва о нем пошла по всему Крыму, и Ахмет-Ахай стал признанным сыном всего крымского народа. Он достоин еще большей славы. В ряду подлинно народных типов международного фольклора он, по достоинству, должен занять не последнее место. В этой популяризации крымского героя — несомненное положительное значение сборника Мирера.

Б. Томашевский

*Иван Евдокимов, «Левитан».
«Советский Писатель»,
М., 1940*

Читателю, незнакомому с творческой биографией Левитана, повесть Евдокимова дает чрезвычайно мало: в ней подробно рассказана внешняя жизнь художника и полностью утаена внутренняя лаборатория великого русского пейзажиста. Правда, в повести много и часто говорится о том, при каких обстоятельствах и когда именно создавались те или иные картины, но все эти страницы напоминают чем-то объяснения экскурсовода в музее; разница лишь в том, что объяснения Евдокимова более пространны и абстрактны.

Читателю, хорошо или хотя бы удовлетворительно знающему биографию и понимающему творчество Левитана, книга Евдокимова покажется очень несерьезной, компилятивной, дурно выполненной. В ней легко обнаруживается документ. Он всегда у Евдокимова лежит между

описаниями природы: кончается страница, посвященная лесу или реке, и сию же минуту выдвигается документ, в одном случае обеллетризованный богаче, в другом беднее. Кончается документ — немедленно же следует лирическое отступление.

Все эти лирико-описательные страницы весьма однообразны и бедны мыслью; в них присутствуют одна лишь созерцательность и — что обнаруживается особенно наглядно в последней трети повести, — неискusstный пересказ картин Левитана. Автору, видимо, хотелось создать в своей книге настроение, сходное с тем, какое внушают нам непосредственно полотна Левитана. Но это не удается Евдокимову; его описания левитановской природы перегружены деталями. В картинах Левитана очень мало деталей, но эти детали полны подробностей, и подробностям этим очень скупо и по-левитановски тонко дана краска.

Поражает беспомощность, с которой автор рисует человека. Если для реки, омута, большой дороги он находит впечатляющие образы и описание своему умеет сообщить картинность и движение, то портрет человека у Евдокимова расплывчат и абстрактен. Вот, например, как он пишет о Перове:

«Горячий и непреклонный ненавистник крепостнического строя, художник-обличитель общественных язв, страстный и яркий человек, Перов создал из школы молодое, живое учреждение. Здесь кипела художественная жизнь...» и т. д.

Эти бедные, стандартные одежды на большом человеке и мастере в памяти читателя не остаются вовсе. Об учащихся в Школе живописи, важная и зодчества Евдокимов пишет:

«... Был тот безудержный шум, какой умеет подымать только радостная молодежь, у которой вся еще жизнь впереди (кстати, слово «еще» стоит не на месте. — Л. Б.). Молодежь веселилась, как умела. Обнявшись, ученики расхаживали взад и вперед, громко разговаривали, смеялись. Собравшись толпой в углу коридора, ученики возлились, растрепанные и красные. На подоконниках сидели одиночки; они казались самыми скромными и спокойными, пока внезапно не срывались с места, чтобы присоединиться к остальным».

Можно подумать, что эти строки писал робкий, неопытный, начинающий беллетрист. Желая объяснить читателю технику Левитана, Евдокимов пишет:

«Опрямная работа в это останкинское лето принесла большую пользу художнику, техника его возросла, манера стала смелее, шире, глубже».

Это абстрактное, бесплотно рассуждение можно применить к творчеству и Шишкина и Репина, нужно лишь вместо останкинское лето вставить или петербургскую весну или волжскую осень.

Кстати, Евдокимов лишь мельком касается проблемы влияния на Левитана русских пейзажистов. В частности, творческий спор его с Шишкиным, преодоление Саврасова и создание собственной, своей, «левитановской» манеры — все эти важные и серьезные проблемы Евдокимов обходит. В повести есть Саврасов-человек, но Саврасов как мастер в повести само собой разумеется. Весьма примитивно объяснено основное свойство творчества Левитана, то есть то, что в картинах его отсутствует человек. История создания картины «Осенний день, Сокольники» вряд ли

объясняет вообще метод и мировоззрение Левитана.

Среда общественно-политическая в повести отсутствует. Давящая, мрачная эпоха царствования Александра III присутствует в книге лишь там, где автору необходимо напомнить, что Левитан — еврей.

Связи Левитана с Кувшинниковой отведено непомерно много страниц. Здесь особенно выпирает тот документ, которым пользовался автор повести, а именно воспоминания Марии Павловны Чеховой. Но пересказ этого документа выполнен небрежно, и, кроме того, он нарушил пропорции повести. Заключительные страницы ее написаны явно наспех.

Вся повесть сыра, не доработана. Интересно проследить, как определяет Евдокимов то или иное явление, тот или иной предмет. Во всех почти случаях он берет один эпитет и разжижает его двумя другими, сходными по существу, а потому лишающими определяемое наглядности. В других случаях автор просто конспектирует то, что должно быть показано. И в этом конспекте присутствуют три, а иногда и четыре эпитета. Вот примеры:

«Левитан смотрел вслед, счастливый, красный, растроганный».

«Пронеслась веселая, шумная, радостная молодежь».

«В хорошую, радостную минуту жизни снимался Саврасов, молодой, сильный, цветущий».

«Под Звенигородом леса, заливные луга, пригорки, а с них открываются зеленые, кудрявые, красивые дали».

«Над Саввиной слободой стояла шумная, журачащая, рокошущая ночь».

«Они оба любяли природу не просто, как любят многие, почти все люди, а с экстазом, упоением, наслаждением».

«В Саввиной слободе, тихой, уютной, красивой...»

«Барбизонны своим правдивым, искренним, реальным, тонким искусством...»

«Слух художника внезапно привлекли другие звуки, торжественные, клекочущие, зовущие».

«Шли домой по солнцу, дружные, довольные, все вокруг казалось еще красивее, чем было, одухотвореннее, глубже, значительнее, ближе».

«Была Волга плачущая, заурядная, некрасивая, мрачная».

«Чувство ее было глубоким, большим, мучительным».

«...впереди у него одни безоблачные годы, радостные, успешные, счастливые».

«Вечным, таинственным, великим посвято на художника».

«Левитан искал в русском пейзаже вечного, неизменного, непреходящего».

Примеры эти можно удвоить и утроить. В главе первой автор пишет, что сирень распустилась в самом конце мая:

«От холода она, даже и расцветшая, почти не пахла».

На следующей странице та же сирень в тот же час вдруг, по воле автора, «сильнее запахла». Если сильнее, значит она вообще не была лишена аромата, но почему же тогда она «почти не пахла»?

Что же, в сущности, представляет собой эта книга? Она — неискusstная, небрежная компиляция. Трудно допустить, что Евдокимов не любит, не

знает Левитана. И любит, и знает, и много прочел, прежде чем сесть за работу над повестью о великом поэте русской природы. Но все это предварительно прочитанное и узанное Евдокимов не переварил в своей творческой лаборатории, к работе своей он подошел ремесленно, забыв о том, что он — художник слова — пишет не статью, а повесть.

Поторопился Евдокимов, поторопился и редактор его книги.

Л. Борисов

Александр Коваленков,
«Процание». «Советский Писатель», М., 1940

Странное свойство у Коваленкова! К чему бы он ни прикоснулся, все под его рукой словно уменьшается и сжимается. Все становится комнатным, приятным, в меру раскрашенным, в меру теплым.

Вот природа, вот деревья. Как идиллически-благососпитанно они существуют в мирном соседстве друг с другом!

К боярышнику
Липа благосклонна,
Облокотясь
На кровлю и крыльцо,
Они беседуют,
И яблоня — влюбленно —
Заглядывает тополю в лицо.

«Черемуха становится ручной», — рассказывает в этом стихотворении Коваленков. Эта прирученность относится и к более суровым явлениям. Ручным оказывается и дуб. Правда, свойственны ему, по выражению Коваленкова, «непокорство и отвага». Но «непокорство» дубу не помогает. Дубу придется подчиниться:

Его за непокорство
И отвагу
Я к своему окошку
Приведу.

Река — «синеекая беглянка». Ей «наскучила тишина». Люди воздвигают над рекой электростанцию. Как же воспринимает Коваленков индустриальный пейзаж? «Кудель стремнин, веретено турбины», «гребень каменной плотины». Этим гребнем река будет причесывать «косы водорослей». «Прялка расписная», «веретено» — так оны определения электростанции. И строится она для удовольствия красавицы-реки, чтобы ей не было скучно. «Мы даем беглянке синеекой, что нужно ей».

Вот Крым. И в Крыму Коваленкова цветет та же безобидная, детская жизнь:

День такой,
словно сели
Мы с тобой
на качели

И летим,
замирая,
От земли
к облакам.

Аю-Даг — просто-напросто «медвежонок».

Спит Аю-Даг — как полагается
Спать медвежонку в летний день.

О Пушкине написано много стихов. Но Коваленков подходит к теме с неожиданной стороны:

Ни пальбой, ни барабаном
Не был мир оповещен,
Что в домишке деревянном
Новый житель был рожден.

Итак: на свет родился младенец в майский московский день:

Кто же тот, чья грудь не шире.
Чем у взрослого ладонь,
Тот, кому открылись в мире
Воздух, влага и огонь?
Он положен на подушки,
Несмысленнш с мокрым лбом.
«Александр Сергеев Пушкин» —
Запись в метрике о нем.

И дальше несколько строк о детстве:

Детство, милый беспорядок
Первых звуков, первых слов.

И первый проблеск поэзии:

Но уже возникла где-то.
Детский разум озарив.
Завязь музыки и света,
Первых ритмов, первых рифм.

Правда, следующее стихотворение говорит о Пушкине уже взрослом, об отъезде его из Одессы. Но и в нем, несмотря на большую глупину темы, та же легкость:

Уже не будет он во фраке
На Ришельевской щеголять
И в ресторации Дмитрики
Шампанским устриц запивать.

Более же серьезные и суровые строки о России при ближайшем рассмотрении оказываются отражением Блока:

Там губят молодость навеки
За скользкой стойкой кабака.
Кладут усопшему на веки
Два сбереженных пятака.

Есть на свете дружба, и поэту кажется, что он испытал ее:

Однажды к нам дружба пришла
и сказала:
«Не знать одиночества
вашим сердцам!
А если разлука
Вас ждет у вокзала,
Я верность пришло
В провожатые вам».

Такое бестревожное утверждение оправдывается последующими строками, и в заключение Коваленков сообщает, что и с дружбой на земле все обстоит хорошо:

Нет, видимо, дружба —
Люби не помеха.
Одна у них тыга
И сила одна.

Все к лучшему в этом лучшем из миров. Не более сложна и любовь:

Босоножка-любовь
Нам дарила
Ромашки и звезды.

В сказочном, благодушном миреке возрастает такая любовь:

Окружена
Болотными цветами,
На пенышке
Аленушка жила.
В ее уголья
Верными шагами
Моя любовь
Негаданно пришла.

И дальше в этом маленьком цикле Коваленков открывает возлюбленной свои затасанные желания:

Азбуке учи меня,
Заставь
Повторить таблицу умножения,
Чтоб еще яснее
Стала явь,
Чтоб не ждал я
К детству возвращения!

Непонятно только, почему изучение азбуки предохраняет от впадения в детство, а не способствует этому?

В беспечной, бездумной действительности Коваленкова единственным носителем сознания оказывается соловей:

Веселый странник — наш жилец.
Он помнил:
Есть рассудок.

Но и его мудрость тоже несколько неожиданна:

Он знал —
Меж любящих сердец
Бывает промезуток.

Если же случается, что Коваленкову не повезет и попадет он в район, населенный «незнакомыми людьми», и там не полюбит его «злая девочка с медленным взглядом», то все это — просто недоразумение. Коваленков отмахивается от окружающего. Он по ошибке, отправившись на прогулку, перепутал адрес:

Нет, должно быть, не тот переулок!
Номер дома, должно быть, не тот!

В переулке Коваленкова подобных досадных происшествий быть не может. Если прозвучит в нем «песенка на грустной ноте», «я для тебя другую сочинию», — утешает себя и возлюбленную поэт.

Главными бедами в жизни могут быть только дурные и невразумительные сны:

А в Москве, в многоэтажном доме,
Взбалмошная девушка моя
Видит сон, что в снежном буреломе
Белого медведя встретил я.

Или же тревога рождается по таким поводам:

Что, милая, темно тебе? Тревожно?
Платок не греет? Вечер не хорош?

Пустяки. «Хмурить брови — пустое дело», — уверен Коваленков. Да и в общем:

Хороший вечер был тогда!
Возьми его
на память!

Можно ли, однако, сказать, что стихи Коваленкова окончательно плохи? Нет, они достаточ-

но грамотны. В них попадаетея немало удачных строк:

Жеребец с пунцовыми ноздрями
Воду ключевую пьет дрожа.
У костра, лоя руками пламя,
Греются ночные сторожа.

Есть в них та непосредственная лиричность, та неожиданность сопоставлений, которые отделяют поэзию от прозы. Есть удачные определения, есть иногда звучность и плавность. Но что нам делать с этими элементами поэзии? Как применить их, что из них извлечь, чему научиться от соприкосновения с ними, если в книге нет ни подлинной радости, ни горя, ни страсти, нет мысли, нет взрослой человеческой жизни, нет всего того, что заставляет читателя откликаться, тревожиться, соглашаться, спорить и прежде всего запомнить книгу, а не пройти мимо нее? Из-за отсутствия таких качеств «приятность» стихов делается неприятной.

Тесно и душновато в умиротворенном переулке Коваленкова. И если он хочет создавать подлинные произведения искусства, пусть книга с не оправданным пока названием «Прощание» будет рубжом, пусть Коваленков расстанется с наивностью, с запоздалой детскостью и выйдет из закуповенной теплицы на большую и широкую дорогу современной, совсем не простой и не столь уж мирной и гладкой жизни!

Сергей Спасский

*Семен Гордеев, «Лрика».
Державе Літературне Видавництво, Київ, 1940*

То, что русская литература не ограничивается Москвой и Ленинградом, — азбучная истина, о которой, однако, часто забывают. С тем большим интересом и вниманием относись к книжкам, выходящим на Украине, в Белоруссии, в Сибири, ожидая прихода новых, свежих голосов. К сожалению, эти ожидания не так часто сбываются. Слишком много выходит еще слепых и беспомощных книг.

Книжка стихов Семена Гордеева не может быть отнесена к числу беспомощных — в ней есть профессиональная умелость, техническая грамотность, несомненная поэтическая культура. Но в то же время она доставит мало радости читателю — в ней нет ничего свежего, яркого, запоминающегося. Стих Гордеева слишком вял, образы невыразительны, словарь однообразен. Эта стилистическая тусклость не искупается обилием чувств и мыслей, ибо она — результат стереотипности поэтического мышления, отсутствия лирического переживания темы.

В сущности, в книжке Гордеева все как будто на месте: есть и оптимизм, и современная тематика, и обращение к фольклору, и лирическая тема мужественного восприятия жизни. Есть даже неплохие и культурные стихи, в которых в меру чувствуется и Пастернак и еще кое-кто из современных поэтов, но не чувствуется, к сожалению, своего внутреннего ритма, голоса самого Гордеева. Поэтому, вероятно, многие из его стихов кончаются сухой и наивной сентенцией.

Вот, например, поэт едет в поезде на север, любитса из окна вагона на свежий и ясный июльский день, на «наш до корок... зеленый мир», но его поэтические переживания возмуще-

ны равнодушием к природе трех соседей, играющих в домино и даже ни разу не поглядевших в окно. И поэт обращается к ним с упреком:

А я глажу в окно. Мне душно
От плоских и тягучих фраз.
Как много есть еще у нас
Людей, к природе равнодушных!

Конечно, нехорошо столь равнодушно относиться к природе, — в данном случае к пейзажу, видимому из вагонного окна, — но едва ли столь скучная и бесцветная сентенция в этом кого-либо убедит.

Вот, например, другое стихотворение с медицинским названием и темой — «Грипп», столь же поэтически-скудное. Больной гриппом лежит у открытого окна, до него доносятся голоса весны. И вот больной слышит оркестр, «где новое рождалось в песне слово», — и выздоравливает. Этот довольно надуманный сюжет изложен столь же бесцветными стихами:

На жарком лбу
согретый лед
растаял, —
Так на пригорке
тает дыхлый
снег...
Кончался грипп.
Гусей летела стая.
И к жизни
возвращался
человек.

Эти стихи портят стремление шегольнуть ложно понятой патетикой, глубиной мысли, на деле приводящее к сентенциям и пустой фразе.

Я привел эти примеры для того, чтобы показать, насколько мешает поэту желание во что бы то ни стало найти чуть ли не философскую тему, когда она им не пережита или ему далека.

Но даже и в чисто-лирических стихах Гордеева коробят безвкусице и неряшливо отдельные строк и образов. Так, например, в стихотворении «Весна 1912 года», — о пребывании Ленина в Париже, — стихи о поднимающейся на небе луне на редкость безвкусны:

Ильич глядел, как выкатился (1) шар,
Как быстро шел (1) он (?), в гору
поднимаясь...

Или о Днепре (в стихотворении «Днипро»):

Но зря старик сорвать стремится
Гранит береговых рубах.

«Береговые рубахи» — очень неудачный образ.

Дело не только в этих ляпсусах стиля, в погрешностях техники. Так же слажено восприняты и переданы Гордеевым и самые явления жизни. Поэтому так упрощенно-безвкусно рассказывает он о кузнице-стахановце Михайле Голловатом:

То разговор пойдет о цехе,
О плане, о делах больших,
То вдруг закатимся мы смехом,
Понятым только для своих.

Лучшие стихи книжки посвящены Грузии, — это цикл «Гори». В них есть проблески поэтического чувства и наблюдательности. Запомнится горийский гончар, делающий на память для

поэта простую глиняную чашу. Запоминается описание величественной панорамы горийских гор:

Должно быть, воины клинками
Прокладывали путь побед,
И дикий, выветренный камень
Еще хранил сражений след.

Однако этого еще мало, для того чтобы поучилась книжка стихов. Гордеев как-то не решается дать волю своему лирическому ощущению мира, подменяя его уже готовыми формулами или поучительными сентенциями.

Вторая часть книжки—«Шевченковский год»—содержит переводы из Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко, выполненные на хорошем техническом уровне.

Н. Степанов

Николай Вагнер, «Голубые земли». Гослитиздат, Л., 1940

Николай Вагнер пишет давно, но печатается очень редко. Объясняется это тем обстоятельством, что Н. Вагнер содержанием книг своих берет далекий, в смысле расстояния от местожительства автора, материал. Отбор впечатлений от продолжительных поездок, главным образом по Северу, внимательное, кропотливое изучение увиденного, услышанного и узанного непосредственно, вылеживание материала и длительность его беллетризации— вот, на мой взгляд, причины, которые не дают возможности этому бесспорно талантливому писателю появляться перед читателем чаще и полнее.

Но зато, появляясь перед ним, Вагнер всегда «в форме». Прежде всего, он отлично знает то, о чем пишет. Он обладает даром рассказчика. Из всех писателей, живописующих Якутию, Колыму и Кольский полуостров, Вагнер является рассказчиком-этнографом, в то время как одни основное внимание в работе своей отдают языку, другие—сюжету. Именно потому, что в рассказах Вагнера преобладает линия этнографическая и бытовая, книги его (и «Человек бежит по снегу» и, в особенности, новая—«Голубые земли») — книги познавательные.

В новой книге своей Вагнер знакомит читателя с людьми далекого Мурмана, их бытом и его особенностями. Он вводит читателя своего в мир больших страстей человека, принужденного с колыбели и до могилы бороться с неприветливой, суровой природой, закаляющей и отчасти формирующей его характер. Неторопливо и в подробностях Вагнер рассказывает о том, как пришла к обездоленным, угнетенным царским правительством народам Севера советская власть, как она приобщила эти народности к культуре, обстроила и сделала человечески-интересной их жизнь, а слезы и страсти отвела в русло разумного строительства совершенно нового для них быта.

В этом отношении «Терьерские повести», занимающие треть всей книги, наиболее интересны и примечательны. Именно в этой своей работе Вагнер,—впервые, может быть, для себя,—ре-

шает и задачи сюжетные и композиционные, и решает их интересно и с пользой уже не только для себя, но и для читателя.

Маленький, на шестидесяти пяти страничках, роман разбит автором на восемнадцать главок, и каждая такая,—в две-три странички,—главка представляет собой не повесть, конечно, а скорее рассказ, и в нем одно из многих звеньев истории рыбацкого люда. Вся эта история, весь этот крохотный роман представляет собой увлекательно и живо написанный сценарий. В нем, с чувством такта и соразмерности частей, автор ведет своих героев, братьев Матвея и Аристарха Куим, сквозь каторжный собственнический труд и преодоление препятствий, с трудом этим связанных, сквозь любовь и смерть близких, через все специфические свойства рыбацкой профессии к труду, освобожденному от рабства и эксплуатации.

«Терьерские повести» — самая интересная вещь в новой книге Николая Вагнера. В ней превосходно нарисованы люди. Особенно удался автору образ Марфы, женщины сильной и физически и нравственно. Скупое, но точно нарисован Матвей, продолжатель рода Куим, человек добрый, умный и талантливый. Превосходна диалогическая часть этого маленького по размеру романа.

Рассказ Вагнера о двух рыбаках, убитых белогвардейцами за то, что они, любя родину, выступают как честные и мужественные патриоты, сильно испорчен в конце резким переходом на газетно-фельетонную манеру. После сцен, насыщенных подлинным, убедительным драматизмом, после отлично поданных фактов и образов, Вагнер совершенно неожиданно, словно утомясь и не доверяя своим силам, обрывает голос и проспективно перечисляет все то, что произошло впоследствии:

«К полдню торпедное судно было обнаружено советским самолетом. Первым, открывшим пребывание торпедоносца, пилот взошел на него. То был известный пилот Димитрий Савельев. Команда была обезоружена. Командование судна отказалось от объяснений...»

Такая «проза» не к лицу Вагнеру.

В рассказе «Старик Сюярымбет» автор неожиданно преподносит читателю черновик:

«Но какая скрытая борьба тянется под внешним благополучием, какое сопротивление всяческой новизне! Все приходится вносить в этот дом с упорством, почти с насилием, которое стараются здесь то не заметить, то обезвредить».

Рассказ, открывающий книгу «Голубые земли», производит впечатление отрывка из романа или повести. В нем очень сложное, затрудненное множеством деталей начало, неожиданные, вовсе не мотивированные появления персонажей и, вместе с тем, замедленность повествования, так и не достигшего «голубых земель», которые, кстати сказать, воспринимаются как стертая от частых употреблений метафора. Язык этого рассказа безупречен по началу и явно испорчен интонацией фельетона в конце.

Следует пожелать Вагнеру появляться перед читателем и чаще и нагруженнее. Возможности для этого у него большие.

Л. Борисов

К материалу народных сказок А. Н. Толстой обращался и раньше. В 1910 году вышла его книга «Сорочьи сказки», а за год до этого несколько сказок появилось в литературном альманахе «Колосья», издаваемом журналом «Театр и Искусство». Цикл «Русалочных сказок» был включен А. Н. Толстым вместе с его ранними стихотворениями в сборник «Приворот» (1923). В этих книгах были собраны оригинальные сказки, написанные на основе мотивов и образов сказки народной. Наконец, знаменитая итальянская сказка о говорящей кукле была перевоплощена в образы одной из увлекательнейших детских повестей — «Золотой ключик или приключения Буратино».

Последняя работа А. Н. Толстого отличается от всех предыдущих тем, что в ней писатель поставил себе целью не создание новых произведений сказочного жанра, а лишь обработку бытующих и широко известных сюжетов. Задача эта продиктована и характером издания: его цель — дать читателям младшего возраста народные сказки в живой литературной обработке. При этом А. Н. Толстой указывает в предисловии, что он стремится не к введению в сказку книжного языка, а к сохранению в ней языка народного и к дополнению ее теми яркими языковыми оборотами и сюжетными подробностями, которые известны в других вариациях сказок.

Совершенно понятно, что за основу были взяты те тексты сказок, которые записаны известными русскими фольклористами и включены ими в монументальные сборники сказок. В ряде случаев писатель соединял несколько сюжетных вариантов одной и той же сказки, изменяя ее фабулу, композицию, язык.

Эта работа может быть прослежена на материале такой, например, сказки, как «Петух и жерновки». Сюжет ее позаимствован из классического собрания сказок А. Н. Афанасьева, причем в нее введены три новых эпизода: первый из них — встреча петуха с волком, медведем и лисой, второй — заключение петуха в гусиный хлев и коровий сарай и третий — съедение петуха и его чудесное исцеление. Все эти эпизоды взяты А. Н. Толстым из других вариантов сказки. В частности им могла быть использована запись известного русского фольклориста А. М. Смирнова, сделанная в Ярославской губернии, причем и по сравнению с этим вариантом в сказке есть ряд различий, так что не исключено использование и иных фольклорных источников, например в смирновской записи петух встречается только с медведем и волком, его бросают не в гусиный хлев, а в конюшню и т. д.

В ряде случаев задача писателя состояла в выборе того варианта сказки, который живее всего может быть воспринят читателем и который имеет ряд композиционных и художественных преимуществ перед другими известными текстами.

Так, например, из всех вариантов сказки о золотой рыбе избран тот, который зафиксирован А. Смирновым. В собрании Афанасьева этому сюжету соответствует сказка под названием «Жалная старуха», но в ней дается очень сложная цепь превращений (старик становится сперва бургомистром, потом баринном, потом полковником, генералом, царем), вместо птички (или рыбки) в ней фигурирует говорящее дерево, наконец в ней

менее выразительна концовка: старик и старуха, пожелавшие стать богами, превращаются в медведя и медведицу; в некоторых других вариантах (например, записки Красноярского подотдела Русского Географического общества, т. I, № 30) они становятся котом и кошкой, а у Смирнова — «старик приходит в село быком и видит старуху свиной». Этот вариант и использован писателем для литературной обработки.

Большинство других сказок — «Кузьма Скоробогатый», «Гуси-лебеди», «Мальчик-с-пальчик», «Лиса и журавль», «О щуке зубастой» и проч. — взято из сборников А. Н. Афанасьева, причем текст первой сказки избавлен от ряда мелких подробностей, вторая — дополнена новым эпизодом (разговор девочки с мышкой), а в третьей одна сценка (встреча мальчика с тремя ворами и совместная кража быков) выпущена вовсе. Во всех этих случаях писатель, надо полагать, стремился дать сюжет народной сказки в более выделенном, законченном, освобожденном от излишних подробностей виде.

Целый ряд измененный претерпел, в связи с этим, сюжет сказки «По щучьему велению». Источником ее послужила имеющаяся в собрании А. Н. Афанасьева сказка «Емеля-дурак». Однако сам Афанасьев позаимствовал эту сказку из лубочного издания, и в текст ее проник ряд характерных для лубочной литературы обставочных подробностей и книжных оборотов речи. Вероятно, отсюда — описание убранства королевского дворца с особым указанием на лжеев и придворных, отсюда же — стилизованная сценка встречи Емели с королем, выдержанная в псевдофольклорном духе. Все эти описания из сказки удалены.

Далее, самими комментаторами афанасьевских сказок было отмечено, что «мало правдоподобно для подлинной сказки собственное желание дурака сделаться умным и красивым (обычно это происходит помимо воли героя), да еще объясненное тем, что герой сравнивает себя с другими» (Афанасьев, т. I, стр. 635). А. Толстой подверг обработке и эту сценку; в его интерпретации Емеля становится добрым молодцем, писаным красавцем по желанию невесты, Марьи-царевны.

Наконец, афанасьевский текст в целом сильно сокращен, причем для сокращения использована другая запись той же сказки, сделанная Афанасьевым в Новгородской губернии. Она отличается предельной краткостью сюжета и скупостью внешних деталей.

Таков характер работы А. Н. Толстого над различными вариантами сказок. В некоторых случаях писатель вынужден был полностью обновлять язык сказки, если в ее первоначальной записи слишком сильным оказывался диалектологический элемент.

Иногда писатель ограничивается удалением из сказки бытовых и лексических архаизмов (вроде «да тем, кажись, и заговедся», «сотворила четный крест», «наскоро взголдыл» и т. п.) и заменой местных бытовых выражений общепринятой речью. Иногда из фразы удаляются неточные эпитеты, случайно попадающие в устную речь, иногда стилистической обработкой достигается более развернутый показ действия. Например, у Афанасьева: «взяла жерновцы и стала молотъ: ан блин да пирог» (т. II, № 188), у А. Толстого: «Старуха посадила петушка на ше-

сток, взяла жерновки и давай молоть: как по-вернет — оттуда блин да пирог» (стр. 135).

В некоторых случаях достигается точность в передаче времени: так, слова: «долго ли, коротко ли» из той же «Сказки о жерновках» перенесены с начала сказки, где между двумя действиями проходит очень короткое время, в последующий эпизод, где необходимо отметить время произрастания жолудя; таким же образом более точно обозначаются явления природы (с просьбой о том, чтобы выбросить бочку на берег, Емеля обращается не к морю, а к ветру).

Наконец, некоторые персонажи приближены к традиционным героям русского эпоса. Так, вместо царя Эмиулена (в сказке «Кузьма Скоробогатый») А. Толстой вводит Змея-Горыныча, вместо короля («По щучьему велению») — царя, вместо «королевской дочки» (там же) — «Марью-царевну».

В порядке стилистической доработки в текст вводятся характерные сказовые формулы, почему либо не использованные сказителями в дошедших до нас вариантах (например, после слов: «вводит их в палаты белокаменные», ставится: «и сажает их за столы дубовые, за скатерти браные», после слов: «избушка на курьей ножке», ставится: «об одном окошке», и т. д.).

Нужно заметить однако, что стремление «менять» и «дорабатывать» сказку иногда не оправдано и не вызывается ни соображениями художественного порядка, ни потребностями читателя. Следует, например, признать не вполне удавшейся переработку широко известной сказки «Колобок». Текст Афанасьева, нам кажется, мог быть без существенных изменений перенесен в новейшие издания сказок для детей. Отдельные стилистические поправки к тексту сказки представляются неоправданными. Вместо «пожелал да вдруг и покатился» писатель ставит «взял да и покатился»; вместо «катится-катится колобок» (формула, обозначающая длительность действия) ставится почему-то усеченное: «катится колобок», вместо «сядь ко мне на мордочку», — опять-таки непонятно, из каких соображений, — «сядь ко мне на носок», наконец вместо «колобок с дуру прыг лисе на язык» — просто «колобок прыг лисе на язык».

Таких неоправданных новшеств в рецензируемой книге немного, но они идут вразрез с теми принципами, которые были положены в основу переработки. Писатель абсолютно прав, когда он деканонизирует некоторые устаревшие записи, характерные для творчества определенных сказителей, для определенной местности бытования сказки, для известной речевой среды; отсюда — стремление использовать разные сюжетные вариации, достичь композиционного единства сказки, освободить ее от архаизмов, диалектизмов и т. д. Но это требовало более бережливого отношения к той части сказок, которые сохраняют все черты фольклорной изобразительности и ряд важнейших особенностей сказовой речи. Чем оправдана, например, перестановка фраз в сказке «Гуси-лебеди», где, вместо того чтобы сперва сообщить, что «гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили... и маленьких детей крадывали», а потом — что они унесли мальчика, писатель делает как раз наоборот? Почему из этой же сказки исчезла характеристика бабы-яги («морда жилиная, нога глиняная»)? Если даже предположить, что А. Толстой пользовался

другим, не-афанасьевским вариантом, то почему им оставлена в стороне эта типично-фольклорная, образная и языковая деталь? Зачем в сказке «Мальчик-с-пальчик» отрубленный палец падает не за печку, а... на лавку? В чем смысл этой замены?

Если признать правильность исходных принципов работы А. Н. Толстого и соблюдение этих принципов в большинстве сказок, то указанные примеры должны войти, по видимому, в число досадных исключений.

А. Толстой в предисловии к книге указывает, что «много было попыток переделывать русские народные сказки», но что, в отличие от других редакторов и интерпретаторов, он ставит своей задачей «сохранить при составлении сборника всю свежесть и непосредственность народного рассказа». Это совершенно справедливо, и тем более уместно отметить, что Издательство допустило ошибку, поставив фамилию писателя на переплете и на титульном листе, впереди названия сборника. Это может дезориентировать читателей, тем более читателей младшего возраста, к которым адресована эта полезная книга.

И. Эвентов

И. Воронин. «Новые данные о Болсжаеве». Изд. Мордовского Научно-исследовательского института языка, литературы и истории при СНК Мордовской АССР. Саранск, 1940

Несмотря на неказистую внешность, эта книжка должна порадовать советского читателя. Ценен уже тот факт, что в Саранске ведется дельная архивная работа. Следовательно бы и другим нашим местным архивам последовать этому отличному примеру. Можно смело поручиться, что в любом почти городе нашего необъятного Союза найдутся интереснейшие архивные материалы. Необходимы только порядок, умение ориентироваться в документах и, конечно, усердие искателя.

Прибалтийский генерал-губернатор ссылался в своем отзыве о Пушкине в 1826 году на «ведомости» о поведении поднадзорных, представлявшиеся ему периодически. Вероятно, и псковский губернатор получал подобные донесения. Наверно, писал ему и отец Пушкина, которому поэт был отдан под надзор, да и сам поэт. Обращался Пушкин и к нижегородским властям во время своего болдинского сиденья (он даже исполнил обязанности уполномоченного по борьбе с холерой). В пензенских архивах, несомненно, найдутся документы, относящиеся к Вяземскому (у него было там имя), к Сперанскому (он служил там губернатором в 1816—1818 годах), к Белинскому (он там учился), к Лермонтову (который там провел детство). В Симбирской губернии находилось «дворянское гнездо» Языковых. В Тамбовской провел детские годы Барятинский, а в Дмитровском уезде Московской — свои зрелые годы, и т. д.

Учитывая провинциальные связи замечательных личностей прошлого, наши местные архивы смогли бы обнаружить немало новых и ценных

материалов, исторических и биографических. Институт русской литературы и исторический Академии Наук могли бы направлять эти изыскания, сулящие неожиданные и богатые находки.

Работа И. Воронина в этом отношении — очень показательный и поощряющий случай.

Книга состоит из краткого предисловия редактора, обстоятельной статьи составителя, который скромно передает фактические выводы из разнотипных им документов, для биографии Полежаева, и самых документов числом 95, сгруппированных в пяти отделах. К сожалению, и оглавление и заголовки чересчур лаконичные: «Раздел I»: «Раздел II», а заголовки к отдельным текстам недостаточно вразумительны, — напр.: «Из Саранского земского суда в Саранский сиротский суд», «Марта 16 дня 1827 года», «Получено 14-го сентября 1811 года», «Подано декабря 22-го дня 1811 года», «Ноября 6-го дня, пяток», и т. п., — составитель просто выписывал ближайший к извлекаемому им отрывку заголовок дела. Сгруппированы документы не вполне логично. Кстати, отметим тут же пропущенную корректором курьезную опечатку на стр. 110: «91-го числа».

Содержание разделов следующее: I — документы по истории поместий Струйских, использованные ранее, но публикуемые впервые, II — выписки из сословных и метрических книг г. Саранска о семействе Полежаевых за 1782—1811 годы, неизвестные ранее; заключительная сводка дела об исчезновении Ивана Полежаева, 1809 год, неизвестная ранее; дело о буйстве Ивана Полежаева в усадьбе Струйского, 1808 год — неизвестное; дело по жалобе приказчика Струйского на И. Ф. Полежаева за подстрекательство к лжесвидетельству по делу об исчезновении Ивана Полежаева — 1810—1817 годы — неизвестное; выписка из метрической книги о бракосочетании Андреянова (принадлежащая по существу следующему разделу), 1809 год — неизвестная; III — документы об опеке над малолетними Полежаевыми, 1810—1827 годы — неизвестные; IV — заключительная сводка дела об избении Струйским приказчика, приведшем к смерти, 1817 год, и заключение Сената и Государственного Совета по этому делу, 1820 год — использованы были отчасти ранее; V — решение суда о взыскании долга в пользу малолетних Полежаевых, об оценке дома должника, об окончании дела и выписка из дворянских книг г. Саранска с адресами должника — документы неизвестные.

Следовало бы еще поискать, не найдено ли описание усадьбы, где провел детство Полежаев. Наверно, оно давалось не раз в актах о вводе в наследство, в купчих, в страховых описях и т. п. Оставляя в стороне землевладельческие и уголовные моменты, составляющие лишь фон для биографии Полежаева, что могут, казалось бы, дать для последней сухие казенные документы сиротского суда, метрических и «обывательских» книг и т. п.? Но тем удивительнее, когда они открывают неожиданно-яркие просветы в темноту, которой до сих пор покрыты детские годы Полежаева. Что нам было известно о них в 1940 году, через сто слишком лет после смерти поэта, несмотря на усилия исследователей, в особенности В. В. Баранова, использовавшего для своей превосходной биографии Полежаева не только все печатные материалы, но и

архивные документы, и семейные предания Струйских, и живой фольклор деревни?

Полежаев был незаконным сыном владельца деревни Покрышкино Леонтия Струйского, 23 лет, и Аграфены Ивановны, дворовой девушки его матери, помещицы деревни Рузаевка. Роман длился недолго. Когда Аграфена забеременела, Струйская-мать дала ей волюнию и выдала замуж за сына городского мещанина Ивана Федоровича Полежаева, тоже Ивана. При этом за старика Полежаева был, повидимому, внесен «гиблейский сбор», необходимый для зачисления в купеческое сословие. Больше ничего не было известно, кроме того, что Аграфена умерла в 1810 году в Покрышкине, что у нее как будто был и второй ребенок от Струйского, что младшая сестра ее, Анна Ивановна, выдана была замуж за дворового Струйского — Андреянова, и что в 1816 году Струйский отъезжал в Москву и поместил во французский пансион, и что в 1820 году ему минуло 15 лет и он официально значился круглым сиротой.

Теперь мы узнаём кое-что о Полежаевых. Иван Федорович родился в 1752 или 1753 году, он был из цеховых (ремесленных) и носил фамилию Максимов, как и его отец. Женится он в 1783 году, а 29 августа родился Иван Иванович, будущий муж Аграфены. Вел он «торг разно-мелочный, перекупной» и значился мещанином к 1800 году. К 1805 году он уже числится купцом и называется Полежаевым.

К 1807 году относится первое документальное сведение о поэте; в «Книге домовладельцев города Саранска» за 1805—1807 годы записано: «Иван Федорович Полежаев, 53 лет, старожилый, женат на экономической дочери Анне Яковлевой, 39 лет; у них дети: Иван 22 (лет), Евграф 20 (лет), Семен 13 (лет). Иван женат на отпущенной на волю г-на Струева девке Аграфене Ивановой 20 (лет), у них сын Александр 2 (лет)».

Эта запись свидетельствует о том, что Аграфена с сыном проживала у свекра в Саранске и что брак ее, очевидно, вовсе не был фиктивным, как предполагалось. А затем (в том же 1807-м или в начале следующего года) она с мужем и сыном поселилась в собственном доме (стоимостью, примерно, в 500 рублей), вероятно купленном на средства Струйских. Здесь родился второй ребенок (21 мая 1808 года), законный сын Полежаева, Константин. Полежаев пускали жильцов, а часть дома сдавали под портновскую мастерскую.

О занятиях мужа ничего неизвестно. Он часто напивался и тогда буйнил. Но жили, повидимому, не бедно, так как держали работницу. 2 ноября 1808 года Полежаев явился в усадьбу Струйского в пьяном виде и скандалил. Его избили и свезли в земский суд, но через три недели дело было прекращено. Не прошло и месяца после этого дня, как он вдруг пропал без вести. Старик Полежаев заподозрил, что сына его извел или куда-то сплавил приказчик Струйского Вольнов. Но свидетели, указанные Полежаевым, говорили только, что видели исчезнувшего в трактире вместе с Вольновым, а затем выяснилось, что Полежаев поощрял свидетелей обещаниями денег и ситца, и следствие закончилось постановлением «предать дело суду и воле божией».

Года полтора спустя после исчезновения мужа Аграфена продала свой дом за 500 рублей и переехала к сестре, выданной 9 сентября 1809 года за сапожника Андреянова, дворового Струйского, в Покрышкино, и тем же летом (16 июня) умерла после длительной болезни.

Дети остались на попечении Андреяновых, которые жили в особой «Сосновой избе», при усадьбе, вместе с некоторыми другими дворовыми. Старик Полежаев пытался было отобрать детей, очевидно позарясь на наследство. Он к этому времени проторговался и вынужден был продать свой новопостроенный дом, возвратиться в мещанство и заняться малярным ремеслом. За малолетними же числилось изрядное имущество (имеется любопытная опись), да еще 500 рублей, вырученных за проданный дом. Все тот же приказчик Вольнов судился с ним от имени Андреяновых. Вероятно, много значила поддержка Струйского. Но решающим было, очевидно, завещание Аграфены, составленное сельским священником «за неумением ее грамоте».

Знаменательно, что в этом завещании выказано явное предпочтение Александру. Умирающая, «чувствуя себя в долговременной болезни и в ежедневном истощении сил», завещает сестре и ее мужу воспитать детей, а «наипаче старшего сына моего Александра, которого я тебе, сестре моей, по великой твоей любви ко мне и по особенной твоей к сему ребенку привязанности, словом вместо матери тебе его препоручаю». Она даже соглашается, если «паче чаяния» пожелаали бы Полежаевы взять Константина к себе на воспитание, отдать им его, «буде в них, Полежаевых, незаметно будет приверженности к горячим напиткам», «и притом с надлежащею детскою одеждою и с награждением 25 р. денег».

Зарегистрировано завещание было только 23 июля, через 10 дней после подачи жалобы Полежаевым, и составлено священником, который либо боялся Струйского, либо старался ему угодить. Думается, что и оговорки о пьянстве деда и бабушки и о 25 рублях вряд ли принадлежат умирающей матери. Тем не менее, завещание по существу составлено, очевидно, в духе желаний матери. Конечно, она мечтала сделать сына барченком, да и надеялась на попечение Струйского.

Настоящим опекуном ее детей и стал Струйский. Впоследствии Андреянов официально заявил, что взял опеку по требованию барина и что отчеты по опеке только подписывал (составлял их, очевидно, тот же приказчик Вольнов, фактотум Струйского). Эти отчеты, скрупулезно перечисляющие расходы на мальчиков, довольно любопытны. С 1811 года добавлялось, что Александр «обучался российской грамоте читать и писать», а затем и арифметике и истории.

Судя по отчетам, содержались оба мальчика одинаково. В 1816 году Константин был отчислен от мещанского общества города Саранска для определения его «в канцелярское звание или по ученой части». Это было сделано, повидному, для того, чтобы обоим мальчикам поместить в учебное заведение. Однако этим документом не пришлось воспользоваться, так как в феврале 1817 года Константин умер. Александр же Струйский осенью 1816 года сам отъезжал в Москву.

Поэт вспоминает в «Сашке», что его поместили во французский «модный пансион» Визара, упоминает он о нем и в «Эрпели». Известно было однако только то, что он его не окончил. Между тем, в отчете за 1817 год значится «обучение разным наукам в Московской губернской позднейшей гимназии». Это объясняет, между прочим, позднейшую связь Полежаева с революционным кружком братьев Критских: один из них учился в той же гимназии.

Переход из пансиона в гимназию объяснялся, вероятно, трагическим поворотом судьбы Струйского. Подверженный не то белой горячке, не то припадкам ярости, Струйский избил своего верного Вольнова так, что тот через сутки умер. Попытка его затушить это дело или отгрезить от всего привела, напротив, к более строгому осуждению — он был приговорен к ссылке в Сибирь. Андреяновы за пособничество в стараниях скрыть преступника и за упорное заpiresательство на суде были приговорены к трехлетнему церковному покаянию.

Тем не менее, Полежаев не был покинут. Невверно заключение И. Д. Воронина, будто Струйские от него отшатнулись. Содержала его сначала бабушка Струйская, потом дядя Александр, о котором он отзывается в «Сашке» с некоторой симпатией. Можно думать даже, что скорее Полежаев был враждебен Струйским, а не они к нему.

Обстановка детских лет, полная раздражающих и угнетающих контрастов и трагических событий, не могла не вызвать в пылом юноше глубокого протеста против крепостнической среды и не толкать его к новым людям, смело звавшим к борьбе с этим отвратительным режимом. Что за люди окружают его детские годы? Что за нравы? Это подлинно власть тьмы. Дикое самоуправство, гнусная приниженность, преступление, порок, подлоги, лжесвидетельства, — кошмар, который кажется выдумкой «романа ужасов».

Конечно, Полежаев многого не знал, не понимал, не помнил. Он как будто думал, что родился и рос в усадьбе отца (так он говорит в «Сашке»), он не сомневается, что Струйский — его отец. Все отношение последнего с Полежаевым могли остаться ему непонятными, все тягости и обиды его собственного положения не были ясны ребенку в полной мере; 11 лет он уже оказался один в Москве. И все же какие-то роковые, тяжелые следы эти детские годы должны были оставить на его личности, не меньше чем дурная наследственность. И благодаря новым данным мы сможем глубже и полнее понять в Полежаеве и поэта и человека.

Б. Казанский

К. Случевский, «Стихотворения». Ред. и вступ. статья А. В. Федорова. Л.-М., «Советский Писатель», 1941 («Библиотека поэта». Малая серия).

Малая серия «Библиотеки поэта» насчитывает уже свыше шестидесяти книжек и близится к завершению. В целом, она является как бы грандиозной антологией русского поэтического наследия. Здесь, наряду с крупнейшими поэтами, со-

сравнением до наших дней свою художественную действительность, советский читатель знакомится и с восторженными поэтами, получая широкое представление о путях и перепутьях русской поэзии.

«Библиотека поэта» уже познакомила советского читателя с рядом незаслуженно забытых поэтов прошлого, интересных «лица необщим выраженьем». С незаурядным и оригинальным поэтом знакомит и новый выпуск серии.

Деятельность Случевского падает, в основном, на 80—90-ые годы, на время, достаточно безвременное для русской поэзии. Если не говорить о ветеранах, допевавших свои песни, — Фете, Полонском, Майкове, Плещееве, — и о дебютантасимволистах, эта эпоха характеризуется именами Надсона, Апухтина, Фофанова, Случевского.

Из них Случевский, который шире и самобытнее других, наименее известен. Может быть потому, что это — поэт трудный, непесенный, немелодичный, с шероховатым стихом, с оскорблявшим вкус современников «прозаическим» словом.

По бедной классификации современников, Случевский, не будучи «гражданским» поэтом, приписывался к школе «чистого искусства». Но попытки реакционной критики толковать Случевского как «жреца чистой красоты» наталкивались прежде всего на его «непоэтические» обороты речи. Критики приписывали их недостатку вкуса. Между тем, прозаизмы Случевского — признак особой художественной системы.

В эпигонскую эпоху Ратгауза и Аполлона Коринфского, эпоху господства обедненной эстетики условной «красивости», Случевский сделал попытку вырваться из узкой сферы «красивого», прорваться сквозь признанные слова, мысли и темы. Он выдвинул «прозаизм» вместо «поэтизма» как признак полной искренности, отсутствия какой бы то ни было условно-поэтической поэмы. Никто из его современников не мог бы сказать:

Мои мечты — что лес дремучий
Вне климатических преград.

Или:

Одна лишь проволока стонет
С пронумерованных столбов.

Случевский освобождает от условной поэтичности слова и, — что гораздо важнее, — стоящие за ними мысли. Он может сказать, описывая Волгу:

Для полноты и резкости сравнения
С младенчеством культуры бытовой,
Стучат машины высшего давления
На пароходах с топкой нефтяной.

Он точен и «научен» и в фантастике. Мефистофель у него сообщает о своем пребывании в мире такими словами:

Означаюсь струей в планетарных парах,
Содроганием звезд на старинных осях.

Любовь к спецификации видов, к научной терминологии роднит Случевского с Пастернаком:

Коронки всех Иван-да-Марий,
Вероник, кашек и гвоздик
Идут в стога, в большой гербарий,
Утратив каждая свой лик.

И, как у Пастернака, как было ранее у Фета, точность деталей у Случевского сочетается с импрессионистической манерой описания.

Художественная система Случевского открыла возможности значительной оригинальности в сравнениях и сближениях, в ходах поэтической мысли, достаточно сложной и всегда обнаруживающей определенный склад мышления.

Поэзия Случевского глубоко-пессимистична. Ряд стихотворений (преимущественно сатирических) показывает, что поэт остро чувствовал социальное неблагополучие современной ему действительности, но это чувство не приводило его к революционным выводам, так как он на всю вообще человеческую историю смотрел как на роковую, неизбежную цепь жестокостей и несправедливостей. В основе его поэзии лежит космический пессимизм, с опорой преимущественно на Шопенгауэра. С этим связаны специфический «демонизм» поэзии Случевского и необычайная сосредоточенность ее на проблеме смерти. Тема смерти характерна вообще для упадочной поэзии, для западного и русского декаданства, но, кажется, ни у кого из европейских поэтов эта тема не превалирует в такой степени, как у Случевского.

Это впрочем не значит, что поэзия Случевского однообразна. Напротив, значительная свобода художественной идеологии Случевского обеспечила возможность большого жанрового разнообразия. Отметим прежде всего философскую лирику, «снижающую» традиции этого жанра введением прозаизма:

У передохнувших химер
Займу образчики творенья
Каких-то новых, диких вер
Непечатого откровения!

Смешаю я по бытию
Смрад тленья с жаждой идеала;
В умы безумья расую,
Дав заключение до начала!

(«Рецепт Мефистофеля»)

К философской медитации примыкает лирика природы, часто впрочем обрачивающаяся и весьма рельефным, конкретным и, так сказать, беспритязательным пейзажным описанием.

Интересны два цикла путевых очерков, очень добросовестных географически и этнографически. См., например, стихотворение о лове трески в Мурманском крае (стр. 128), оканчивающееся таким наблюдением:

И завтра то же, вновь... В дому помору хуже:
Тут, как и в море, вечно сир и нищ,
Живет он впроголодь, а спит во тьме и стуже
На гнойных нарах мрачных становищ.

Рядом с большим количеством чисто лирических стихотворений, среди которых попадаются, несомненно, замечательные, у Случевского есть и сатирические стихи, эпиграммы, сентенции на актуальные жизненные темы, вроде следующего четверостишия:

Свобода торговли, опека торговли —
Два разные способа травли и ловли:
Всегда по закону, в угоду купцу,
Стригут, так иль этак, все ту же овцу.

Отбор лирических стихотворений для небольшого сборника (поэмы и стиховые драмы Случевского)

чевского в сборник «Библиотека поэта» не вошли), осложнен не только жанровым разнообразием лирического наследия Случевского, но и его объемом. В сборник включено лишь немногим более четверти всех лирических стихотворений Случевского. К тому же, Случевский не издавался уже 40 лет, а сборника избранных его стихотворений, который дал бы общее представление о творческом лице поэта, до сих пор вообще не было. Все это делает отбор стихотворений Случевского особенно ответственным.

Отбор, сделанный А. В. Федоровым, надо признать в общем удачным, хорошо демонстрирующим Случевского разных периодов и жанров. Странен, правда, пропуск некоторых выдающихся стихотворений (как, например, «Край, лишенный живой красоты», «Песня луного луча», «На старый мотив», «Где бы ни упало подле ручейка», «Условно все») при наличии стихов довольно аморфных. Но, когда надо выбирать одно стихотворение из четырех, отбор неизбежно будет в значительной степени субъективным.

Неуместными представляются данные в виде приложения ранние редакции четырех вошедших в сборник стихотворений. Эти редакции, правда, значительно отличаются от основных, но ведь кардинальные переделки есть и у Баратынского, и у Тютчева, и у Фета, однако редакторы сборников этих поэтов в «Малой серии» не включали стихотворений в двух вариантах, понимая, что место подобного рода приложений — лишь в полных собраниях сочинений.

В дельной, очень сжатой вступительной статье А. В. Федорова читатель находит литературную биографию и характеристику творчества Случевского. Характеристике можно сделать упрек, относящийся впрочем ко многим вступительным статьям в изданиях классиков: она недостаточно исторична, недостаточно уясняет место Случевского в истории русской поэзии. Случевский не показан как один из основных предшественников русского декадентства, не упомянуто даже о его несомненном влиянии на Ф. Сологуба и Ин. Анненского.

В ранних опытах Случевского А. В. Федоров находит «попытку смелого обновления выразительных средств», «даже предвещающую футуризм». В другом месте статьи он называет в качестве «близкого к поэзии символизма и даже футуризма» раннее стихотворение Случевского «Ходит вечер избобась». Но в чем автор видит близость Случевского к футуризму (да и к символизму), он, к сожалению, не поясняет.

Совершенно снят вопрос об эволюции Случевского. Автор ссылается на неясность хронологии стихотворений Случевского. Но вряд ли все же хронология произведений поэта, выпускавшего сборники и немало печатавшегося в периодической прессе, может быть до такой уж степени неясна, чтобы нельзя было поставить никаких вех на его полувековом литературном пути.

Б. Бухштаб

Л. Тимофеев, «Теория стиха». М., 1 39

Проф. Л. М. Тимофеев известен как специалист по вопросам поэтики, в частности, теории стиха. Он является автором ряда научных и научно-популярных монографий и учебных посо-

бий по этим вопросам, пользующихся широким признанием.

Вопросы теории литературы и поэтики, в частности проблемы стиховедения, составляющие преимущественный предмет интересов проф. Тимофеева, несомненно имеют большую актуальность для советской литературы. Изучение поэтической формы в течение ряда лет находилось целиком в руках представителей так называемой «формальной школы» литературоведения. К сожалению, вместе с «формализмом» фактически сошли со сцены в нашем литературоведении и проблемы формы, столь существенные для понимания специфики литературного произведения и для живой художественной практики советской литературы.

Проф. Тимофеев принадлежит к числу немногих советских литературоведов наших дней, работающих над разрешением этих проблем на новом методологическом основании. Основательная выучка в этих вопросах, полученная проф. Тимофеевым в школе «формалистов», остается несомненной, несмотря на полемически подчеркнутые им разногласия, но она не помешала ему выйти на вполне самостоятельный, методологически более правильный путь исследования.

Основной методологический интерес работ проф. Тимофеева, посвященных вопросам теории стиха, заключается в борьбе за «содержательность формы» («Теория стиха», стр. 86). В этом смысле он считает задачей своей книги изучение сущности стиха в свете «того закона единства формы и содержания, вне которого немислимы вообще анализ художественно-литературного творчества» (стр. 88).

«Только в том случае, — справедливо утверждает проф. Тимофеев, — если мы будем анализировать стих как выразительное целое, во взаимосвязи всех его элементов, мы сможем подойти к пониманию его выразительного смысла, его художественной мотивированности, его эстетической значимости» (стр. 119).

Формалистическому рассмотрению отдельных свойств стиха, взятых изолированно друг от друга и тем самым независимо от содержания и смысла, автор противопоставляет «изучение стиха как целостной художественной формы, определяемой в своей структуре общими свойствами литературы, ее основными тенденциями» (стр. 179).

Эта общая точка зрения проф. Тимофеева не остается декларацией, — она кладется им в основу конкретного анализа частных вопросов теории стиха. Так, проблема интонационного единства и интонационной структуры стиха, положенная автором в основу изучения стихотворной речи (гл. III), последовательно исходит из понимания стиха как «выразительного единства», в котором «самая интонация слов есть часть их смысла, часть содержания» (стр. 86). Другое, не менее существенное указание автора на необходимость изучения стиха как явления стиха в связи с общим развитием литературы получает осуществление в кратком очерке главы IV, посвященной развитию различных жанров русского стиха (в стихотворной драме, поэме и лирике).

Существенным недочетом книги является ее недостаточная исторический характер. Самый метод автора, который предлагает рассматривать стих как явление литературного стиля, требует дополнения его исследования более развернутой

исторической главой, ориентированной на историю, по крайней мере, русского стиха. Однако общие проблемы стиховедения не могут получить правильного разрешения без широкого привлечения сравнительно-исторического материала из других языков и литератур.

Своим материалом автор избирает стих Пушкина: «Законы стиха обнаруживаются в нем с такой ясностью, что изучение стиха Пушкина имеет методологическое значение, то есть обнаруживает законы стиха, его теорию вообще» (стр. 13).

К этому автор еще добавляет в примечании: «Оговоримся сразу же, что мы будем рассматривать стих Пушкина в наиболее совершенных образцах, оставляя в стороне вопрос о его эволюции».

Такое рассмотрение проблем стиха автор почему-то называет «единством общего и исторического» (стр. 11), тогда как на самом деле оно представляется скорее отрывом теории от истории.

Особенно категорически отрицает проф. Тимофеев какую-либо необходимость для теории стиха заниматься вопросами генезиса стиховой формы, «ее первичной связи с пляской» и т. п. (стр. 11). Установив происхождение стиха литературного из стиха напевного, автор категорически запрещает сопоставление этих двух стадий одного явления:

«В силу этого аргументы от напевного, точнее музыкально-речевого стиха по поводу изложенного выше понимания стиха были бы неправомерны, так же как было бы неправомерно распространение этого понимания на напевный стих» (стр. 103).

Для понимания проблемы ритма, который древнее поэзии (по крайней мере, поэзии книжной), такой метафизический разрыв между прошлым и настоящим стиха представляет непреодолимое препятствие.

В основе общеэстетической концепции книги проф. Тимофеева лежит защищаемое им и в других работах учение об «изображении человеческих индивидуальностей, характеров», как об «основе художественности» и главной задаче литературы. Эта теория подтверждается ссылкой на «Эстетику» Гегеля («Характер есть истинное средоточие искусства») и на известное высказывание Энгельса о создании «типических характеров в типических обстоятельствах» (стр. 15).

Однако ни Гегель, ни Энгельс не делают из своих высказываний тех универсальных выводов, которые делает из них автор, приводя их вне соответствующего контекста. В частности, высказывание Энгельса по поводу рассказа мисс Гаркнесс совершенно не заключает утверждения, приписываемого ему проф. Тимофеевым, будто задачей литературы является изображение характеров. Подмена изображения действительности, как цели искусства, изображением характеров не была свойственна ни Гегелю, ни Энгельсу; она характерна для натуралистического «психологизма» буржуазного романа второй половины XIX века и для «психологизма» позитивистической эстетики того времени.

Автор различает две системы «изображения характера»: «объективированную» (эпос) и «субъективированную» (лирика).

«В первом случае характер дается читателю как объективно существующий и изображаемый

автором со стороны, как непосредственный жизненный факт» (стр. 76). «При этом сюжет служит «раскрытию характера» (стр. 79).

Если с этой точки зрения подойти к античному эпосу или к «Нибелунгам», согласившись с автором, что сюжет служит здесь «раскрытию характеров» Ахилла, Гектора, Зигфрида и т. п., мы впадем в совершенно неисторическую модернизацию народного эпоса с точки зрения эстетических принципов новейшего буржуазного «психологического романа». Но даже роман XIX века на стадии высокого, классического реализма (Бальзак, Стендаль, Диккенс и др.) никогда не ограничивал задачи изображения социальной действительности «изображением характеров».

Еще менее удачно определение лирики как «самораскрытия характера» через субъективное переживание (стр. 76 и 82), объясняющее, с точки зрения автора, субъективно-эмоциональную окраску языка лирики, ее эмоциональную выразительность. Лирика в таком понимании становится натуралистическим выражением частных биографических эмоций поэта:

«Определенный тип человека, — пишет проф. Тимофеев, — определенное его состояние обуславливают и тип его речи, характер его эмоциональности, количество и качество пауз, структуру интонационных периодов, темп ее, ошутимость ее звуковой организованности» (стр. 150).

Все это в основном справедливо о бытовой речи и о бытовых эмоциях человека, но достаточно далеко от эмоциональной экспрессивности художественной лирики.

Существенный повод для недоразумений подает и учение проф. Тимофеева о «характерности» языка художественной литературы, в которой он усматривает «основной признак» этого языка (стр. 58):

«Язык для писателя. — по мнению проф. Тимофеева. — есть прежде всего средство изображения характера: мы чувствуем за языком конкретную индивидуальность говорящего. Рисуя данного человека, писатель, естественно, должен обрисовать его при помощи типичного для него языка, так как в нем обнаруживается характер» (стр. 80).

И это утверждение автора представляет слишком поспешную универсализацию очень поздних особенностей литературы нового времени. Характеристика индивидуальной речевой манеры героев отсутствует не только, например, в гомеровском эпосе или в трагедии Софокла (можно ли говорить об индивидуальном языке Ахилла?), но даже во многих романах XVIII века (например, в «Жиль Блазе» Лесажа), в «Ифигении» Гете и мн. др. Вообще «характерность» языка не есть универсальная эстетическая категория: она связана с исторически-определенными особенностями литературного стиля.

Другой существенный принцип, положенный проф. Тимофеевым в основу его теории стиха, — это отнесение стиха к «Субъективно-эмоциональному типу речи» (стр. 91). Стих, по мнению автора, есть форма типизированного обобщенного выражения эмоциональной речи (стр. 107). Литература создает в стихе «типические формы речевого выражения эмоционального характера» (стр. 107).

В особенностях эмоциональной речи автор пытается найти основу важнейших конструктив-

ых признаков стихотворного языка: экспрессивный интонационный строй, интонационную самостоятельность слова, эмоциональные паузы, эмфатический характер речи и связанную с ним тенденцию к звуковому повторам, замедленный темп. Все эти признаки он рассматривает как «целостный и неразрывный выразительный комплекс» (стр. 42—43). Постановка этого вопроса, которому посвящена вся глава I («Выразительная природа стиха», стр. 21—74), представляет несомненную заслугу разбираемой работы.

Однако вряд ли можно признать убедительным утверждение проф. Тимофеева об «интонационной самостоятельности слова» как «общем свойстве стихотворной речи» (стр. 53) — утверждение, которое очень напоминает учение «формалистов» о «слове как таковом» и которому автор придает универсальное значение на основании таких частных и нетипичных примеров, как стихотворение Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека» или Пушкина: «Швед, русский — колет, рубит, режет» (стр. 52—55).

Мне не представляется также убедительным определение «переноса» (enjambement) как «эмоциональной паузы в конце строки» (стр. 48). Функции переноса (то есть несовпадения метрического и синтаксического членений) могут быть очень различны. В частности, обилие переносов в «Медном всаднике» в частях, связанных с Евгением, по сравнению с частями, посвященными Петру (стр. 51—52), объясняется вовсе не «резко-эмоциональной интонацией» первых, а их повествовательной, разговорной, бытовой «интонацией», в противоположность высокому пафосу, риторической эмфазе (то есть как раз повышенной эмоциональности) отрывков, посвященных теме Петра.

Более существенное значение имеют некоторые принципиальные возражения против «эмоциональной» теории. Утверждая, что «художественная функция стиха состоит в изображении эмоциональных сторон человеческого характера в их экспрессивном выражении» (стр. 104), проф. Тимофеев, в сущности, приходит к отождествлению стиха (иначе говоря — поэзии) с лирикой. Если драма в своей лирически-экспрессивной стороне еще может быть подведена под такое определение, то эпос, по утверждению автора, «чувствуется стиха и тяготеет к прозе» (стр. 20). Это странное утверждение проф. Тимофеев повторяет еще раз:

«В эпических повествовательных произведениях мы, наоборот, не встречаем стиха. Изображение действительности не через субъективное восприятие ее человеком, а в широких картинах, рисующих ее объективно, саморольное развитие, естественно, требует и иных речевых форм, удельный вес эмоциональности в них снижается, а роль констатирующей, логической речи значительно повышается. Здесь стих уступает место прозе» (стр. 91).

Правда, для античного эпоса и русских былин проф. Тимофеев делает исключение, оправдывая их особенности тем, что мы имеем в них дело с «музыкально-повествовательной (в широком смысле слова) системой» (стр. 95), которая, по его мнению, «требует много осмысления и много анализа сравнительно с интересующим нас здесь стихом литературным (то есть не напевным)» (стр. 103). Однако, даже признав подобие метафизическое разграничение, порочность которого

была отмечена выше, можно без всякого труда привести большое число эпических произведений на всех языках мира, которые никогда не пелись и, тем не менее, написаны стихами: например, «Нибелунги», «Шах-Намэ» Фирдоуси, средневековые рыцарские романы о Тристане и Парсифале, поэмы Ариосто и Тассо, «Потерянный рай» Мильтона и мн. др. Относить эти произведения в раздел лиро-эпических поэм, за которыми автор «сохраняет право на стихотворную форму» (стр. 215—220), нет никаких жанровых оснований.

Наиболее принципиальное возражение против разбиваемых автором концепций заключается однако в том, что хотя все элементы стиховой структуры (интонация, паузы, эмфатические повторения и т. п.) действительно встречаются в эмоциональной речи как определенный «выразительный комплекс», однако свою художественную организацию, представляющую принципиально новое качество, они получают только под влиянием музыкального ритма, как художественно-организующего фактора. Существенное значение именно с этой точки зрения имеет проблема генезиса стиха и конкретных его форм. Вообще, без учета этого нового качества стихотворной речи «эмоциональная теория» получает тенденцию в сторону натурализма, и проблема ритма стиха как особой разновидности музыкального ритма не может найти правильного разрешения.

В вопросах теории стихотворного ритма проф. Тимофеев, в соответствии с общим направлением своей работы, исходит из по существу правильного положения о необходимости найти ритмическую единицу, связанную со смысловой и интонационной организацией самой речи (стр. 69). Такой ритмической единицей, по его мнению, является не слог или стопа, а стих (стр. 66) — точка зрения, выдвинутая в советском стиховедении Ю. Н. Тыняновым («Проблема стихотворного языка», 1924). Исходя из стиха, как смысловой и интонационной единицы, проф. Тимофеев по-новому освещает интонационную структуру стихов различного типа, в связи с многообразием их смысловой экспрессивности (вопрос, впервые намеченный проф. Б. М. Эйхенбаумом в его «Мелодике стиха», 1920). Однако самое пестрое стиха остается недостаточно выясненным.

Стих определяется автором как «относительно самостоятельное смысловое и интонационное целое» (стр. 70). «Признаком законченности этого целого является замыкающая строку пауза» (стр. 70). Ясно, что такое определение еще недостаточно: «относительно-самостоятельное интонационное целое», замыкающееся «паузой», встречается и в прозе, как предложение или фраза. Необходимы какие-то особенности внутренней структуры стиха, отличающие его от прозы, «те или иные характерные для ее строения элементы», которые «оказываются настолько устойчивыми, что повторяются в строении и других строк» (стр. 70).

В определении этих «устойчивых элементов» проф. Тимофеев проявляет однако некоторую робость и непоследовательность. С одной стороны, он признает, со ссылкой на французского исследователя Тавернье, что «основным признаком ритма является прежде всего закономерная повторяемость однородных явлений» (стр. 58). С другой стороны, боясь впасть в «формализм», он

полемизирует с автором настоящей рецензии, который считал основой стихотворного ритма «последовательность сильных и слабых слогов» (стр. 60). Он признает (стр. 152), что ямба — это «размер, в котором ударения ложатся через слог», и в то же время он готов согласиться (стр. 153) с Н. В. Недоброво, который утверждает, что четырехстопный ямба имеет обязательное ударение только на восьмом слоге, отождествляя его с силлабическим восьмисложником.

В конце концов, выход проф. Тимофеев находит в признании, что «ритм стиха возникает в результате чередования однородных, но не тождественных строк, соизмеримых, но не совпадающих» (стр. 156), «благодаря соотносительности этих строк друг с другом» (стр. 157). Однако эта «соизмеримость» или «соотнесенность» (Б. В. Томашевский в свое время говорил в том же смысле о «совместности» стихов — ср. «Русское стихосложение», 1923, стр. 44) есть лишь выражение более общей закономерности ритмического строения, согласно которой в русском ямбе, например, ударения стоят на четных слогах. Метрическая схема стиха и является выражением этой закономерности, без которой не было бы конкретного ритма стиха.

В этом вопросе страх перед «формализмом» метрической схемы приводит проф. Тимофеева к полному отказу от изучения метрической формы стиха, различных систем стихосложения и т. п., то есть, в сущности, к последовательной ликвидации вопросов метрики. Находя в виршах Симеона Полоцкого отдельные ямбические строчки и среди произведений Маяковского отдельные стихотворения, «написанные точно выдержанным хорсом» («На смерть Есенина»), сближая расположение ударений в стихах Маяковского и в силлабической «Истории о царе Давиде», проф. Тимофеев приходит к отрицанию качественного своеобразия основных типов русского стихосложения: силлабического, силлабо-тонического и тонического, иными словами — стиха Кантемира, Пушкина и Маяковского (стр. 182 сл.).

Неправильность этой теории, уничтожающей вместе с «формализмом» и всякое понятие о метрической форме, легко могла бы обнаружить по-

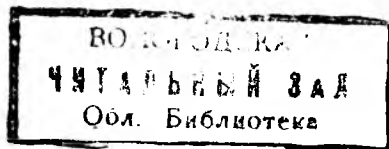
верка поэтической практикой: если бы и будь поэт попробовал писать стихи, руководствуясь только «Теорией стиха» проф. Тимофеева, эти стихи, при всей своей «эмпиричности» и «содержательности», ничем не отличались от прозы, так как поэт не нашел бы в книге никаких указаний на метрическую форму, отличающую стих от прозы и разный типы стиха друг от друга.

Проф. Тимофеев сохраняет только слабую связь между «количественным» и «качественным» стихосложением, но и здесь, минуя вопросы метрической структуры стиха, он объединяет в группу «количественного» или «музыкального» стиха — античное стихосложение и русский народный стих, рассматривая их как «определенный этап стихотворной речи, предшествующий речевому стиху, то есть стиху, использующему средства только речевой выразительности» (стр. 182).

Проф. Тимофеев при этом как будто и не знает, что античное стихосложение сохраняет же количественный принцип (чередование длинных и кратких слогов) и независимо от музыки во всей более поздней греческой римской поэзии, тогда как стихосложение в европейских народов уже с самого начала, же в свой наиболее ранний «музыкально-речевой» период (народные песни, древнегерманский антитематический стих, песни трубадуров и миннезингеров и т. д.), строилось на принципе акцентно-«качественном» (чередования ударных и неударных слогов). На этом принципе строится и русский народный «музыкально-речевой» стих.

Все отмеченные выше недостатки касаются прозов дискуссионных и не умаляют большого интереса книги проф. Тимофеева. Напротив, значение книги именно в том, что, написанная на высоком научном уровне, она открывает возможность подобной дискуссии по спорным вопросам теории стиха, за последнее десятилетие редкое точно привлекавшим к себе внимание советского литературоведения.

Проф. В. М. Жирмунский



Редакционная коллегия: И. А. ГРУЗДЕВ, В. А. КАВЕРИН, П. О. КАПИЦА, Б. А. ЛАВРЕНЕВ, Н. В. ЛЕСЮЧЕВСКИЙ, М. А. СЛОНИМСКИЙ, Н. С. ТИХОНОВ

Восемнадцатый год издания. М4921. Подписано к печати 29 III 1941 г. Тираж 20000 экз. Авт. л. 22.6. Печ. л. 12. 71 т. тираж: 1 в одном печ. листе. Цена 5 р. Заказ № 874.

Типография № 2 Управлений издательств и полиграфии Исполкома Ленгосвета. Ленинград, Социалистическая, 14.

Адрес редакции: Ленинград, 194, ул. Воинова, 13, Тел. Ж-287-89